

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2016

№ 4 (42)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук", Высшей аттестационной комиссии



*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

*Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)

M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Долгушина Л.В. Особенности ранних славянских переводов с греческого языка (на материале сборника «XIII Слов Григория Богослова»)	5
Домосилецкая М.В. Пчеловодческая лексика в болгарском говоре села Гега (по материалам Малого диалектологического атласа балканских языков)	12
Калиткина Г.В. «Стара, вот и расскажy всё...» Дискурсивный корпус традиции и жанр «передача традиционной этики»	22
Нестерова Н.М., Наугольных Е.А., Поздеева Е.В. Оказиональное слово как результат авторского словотворчества: границы переводимости	44
Попова Т.Г. Лексические единицы с начальным компонентом <i>благо</i> в языке древнейшей русской рукописи Лествицы Иоанна Синайского	59
Россихина М.Ю. О динамике лексико-семантических процессов в немецком молодежном социолекте	64
Суляк С.Г. О языке славяно-молдавских грамот XIV–XVII вв. (к историографии вопроса)	73

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Баль В.Ю. «Гоголевский текст» в романе М. Шишкина «Письмовник»	98
Говорухина Ю.А. Фантомная самоидентичность эмигрантов четвертой волны (по материалам публицистики журналов «Литературный европеец» и «Мосты»)	114
Козлов А.Е. Нарративная организация романа В.А. Слепцова «Трудное время»: проблемы «тайнописи»	124
Никонова Н.Е., Ковалев П.А., Серягина Ю.С. «И клич об нем и слава мрачного философа летела отовсюду»: Ф. Ницше в зеркале сибирской дореволюционной периодики	139
Радионова А.В. Темы «вселенная», «мир», «мироздание» в поэзии и философии АФ. Лосева	157

ЖУРНАЛИСТИКА

Ершова В.Е. Образ жителя Сибири в медиапространстве Томска и Северска (на материале телевизионных выпусков и радиосообщений)	168
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	181
----------------------------------	-----

CONTENTS

LINGUISTICS

Dolgushina L.V. Some features of early Slavic translations from Greek (on the material of the collection <i>Thirteen Homilies of St. Gregory of Nazianzus</i>).....	5
Domosiletskaya M.V. Beekeeping terminology in the Bulgarian dialect of Gega (based on <i>The Small Dialectological Atlas of the Balkan Languages</i>).....	12
Kalitkina G.V. “Old I am, so keep telling everything”: the discursive corpus of tradition and the genre “communication of traditional ethics”.....	22
Nesterova N.M., Naugolnykh E.A., Pozdeeva E.V. The nonce word as a product of individual word creation: boundaries of translatability.....	44
Popova T.G. Lexemes with the initial element <i>blago</i> in the language of the oldest Russian manuscript <i>The Ladder of Divine Ascent</i> by John Climacus.....	59
Rossikhina M.Yu. On the dynamics of lexical-semantic processes in the German youth sociolect.....	64
Sulyak S.G. About the language of the Slavonic-Moldavian documents of the 14th–17th centuries.....	73

LITERATURE STUDIES

Bal V.Yu. “Gogol’s text” in the novel <i>Pismovnik</i> by Mikhail Shishkin.....	98
Govorukhina Yu.A. Phantom self-identity of emigrants of the fourth wave (on the basis of publicistic texts of the <i>Literaturnyy evropeets</i> and <i>Mosty</i> journals).....	114
Kozlov A.E. Narrative organization of V. Sleptsov’s <i>Hard Times</i> : some problems of cryptography.....	124
Nikonova N.E., Kovalev P.A., Seryagina Yu.S. “And the word about him, and the fame of a gloomy philosopher was heard from everywhere”: Friedrich Nietzsche in the mirror of Siberian prerevolutionary periodicals.....	139
Radionova A.V. Themes “universe” and “world” in the poetry and philosophy of Aleksei Fedorovich Losev.....	157

JOURNALISM

Ershova V.E. The image of Siberians in the media of Tomsk and Seversk (television and radio broadcasts).....	168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	181
--------------------------------------------	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.163.1+271.2-4

DOI: 10.17223/19986645/42/1

Л.В. Долгушина

ОСОБЕННОСТИ РАННИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «XIII СЛОВ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА»)

На основе изучения греческих заимствований в текстах гомилий сборника «XIII Слов Григория Богослова» в статье делается вывод, что гомилии, включенные в сборник, отличаются и по количеству используемых в текстах грецизмов, и по качеству перевода. Сравнение греческих текстов гомилий с оригинальными славянскими произведениями выявило определенное сходство в использовании грецизмов в переводных и оригинальных памятниках: выделено две группы грецизмов в славянских памятниках – инвариантные и вступающие в варианты отношения со славянскими лексемами.

Ключевые слова: перевод, сборник, заимствование, грецизм, Григорий Богослов, славянская письменность, варианты.

Начало славянской письменности тесно связано с переводом на славянский язык греческих текстов. В процессе перевода с греческого на славянский язык обогащался большим количеством новой лексики, как напрямую заимствуемой из греческого языка, так и создаваемой по греческим моделям.

К этому раннему этапу существования славянской письменности относится и перевод произведений Григория Богослова. Сборник «XIII Слов Григория Богослова» представлен единственным русским списком XI в., который хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и был опубликован А.С. Будиловичем [1].

Перевод Слов, входящих в этот сборник, был выполнен, по всей видимости, в Болгарии, но вопрос локализации перевода и его принадлежности к той или иной переводческой школе (Охридской или Преславской) до сих пор окончательно не решен. Более того, по мнению ряда исследователей (например, Е. Коцевой и Л.Я. Петровой), рукопись «XIII Слов Григория Богослова» неоднородна по составу и содержит переводы, выполненные в разное время в разных местах. Греческий прототип сборника «XIII Слов Григория Богослова» до сих пор не обнаружен. Так, А.М. Бруни, работы которого посвящены изучению древнеславянских кодексов Григория Богослова и их византийских прототипов, утверждает, что греческая традиция знает следующие типы сборников Слов св. Григория:

- 1) полная коллекция из 47 или 52 произведений (44 Слова плюс послания, стихи) – около 100 экземпляров;
- 2) литургическая коллекция из 16 Слов – около 355 экземпляров;
- 3) коллекция нечитаемых в богослужении Слов – 53 экземпляра;

4) литургическая коллекция с дополнением конвоя некоторых нечитаемых Слов – 94 экземпляра [2. С. 39–40].

Как видим, славянский сборник «XIII Слов Григория Богослова» не соответствует ни одному типу греческих сборников. А проведенное А.М. Бруни сопоставление славянской рукописи «XIII Слов Григория Богослова» с рукописями не только греческой, но и сирийской, арабской, грузинской традиций показывает беспрецедентный порядок и отбор гомилий в славянском сборнике. В итоге, как считает исследователь, «манускрипт приобретает черты частичной греческой полной коллекции, расположенной по оригинальной или особо редкой аколупии, как, впрочем, часто бывало в византийской традиции» [2. С. 46].

В то же время другую точку зрения на возможный греческий прототип рукописи высказал А.М. Молдаван. В своей недавно изданной работе А.М. Молдаван доказывает, что прототипом для сборника «XIII Слов Григория Богослова» является греческая коллекция из 16 Слов, уже на славянской почве дополненная пятью нелитургическими гомилиями, которые «представляют собой цельный блок, находящийся в середине рукописи... эти пять Слов, имевших какую-то свою рукописную историю, были единым блоком механически вставлены в середину рукописи. Образовавшийся конволют из славянских рукописей и послужил антиграфом для Q («XIII Слов Григория Богослова». – Л.Д.)». [3. С. 9–10]. Однако, по мнению А.М. Молдавана, и перевод коллекции 16 Слов не был создан одним человеком, а складывался постепенно. Это утверждение исследователь подкрепляет ссылками на работы предшествующих ученых [3. С. 13–14].

Практически все занимавшиеся рукописью исследователи сходятся на неоднородности перевода 13 гомилий, входящих в сборник «XIII Слов Григория Богослова» Так, Е. Коцева сравнивает сборник «XIII Слов Григория Богослова» с Супрасльской рукописью и утверждает, что сборник «имеет черты постепенной редакторской и стилистической обработки, постепенного комплектования, которое можно допустить и для Супрасльского сборника» [4. С. 246]. Л.Я. Петрова делает выводы о неоднородности перевода гомилий: «...в списке объединены два древнеславянских перевода различного происхождения» [5. С. 71]. В своих выводах исследовательница опирается в основном на результаты изучения разночтений в «повторяющихся отрывках» «Слова на Пасху» и «Слова на Рождество». В греческом тексте этих двух гомилий содержится повторяющийся фрагмент, который, возможно, был дважды переведен на славянский язык, что дает возможность Л.Я. Петровой использовать лингвотекстологический метод исследования, который «является основным при изучении памятников письменности... сохранившихся, как правило, в многочисленных списках, написанных в разное время и в разных местах» [6. С. 111].

Достаточно интересные результаты для подтверждения или опровержения мнения о неоднородности переводов в сборнике «XIII Слов Григория Богослова» может дать и изучение текстов гомилий в отношении использования грецизмов в славянских текстах Слов.

В настоящей статье рассматривается употребление грецизмов в следующих гомилиях: «Слово надгробное Василию», «Слово на Святую Пятидесят-

л. 333α), ἀδᾶαὐὶ ἅ («δράχημη» л. 352γ), ἀεὲί ὑπὸαῖ ἅαὸε («ἐλλινίζω» л. 32γ), Ὁδὲ-
 ἡδὶ ἡύ («Χρίστος» л. 352α).

В «Слове на Святые Светы» употреблены грецизмы: ὀδὲί ἱᾶύ («τρίποδος» л. 3δ), ἀπὸδὶ ἱῖ ἔу («αστρονομία» л. 4α), Ὁδὲἡδὶ ἡύ («Χρίστος» л. 8β, 10α, 12α, 12β, 15γ, 18α, 18β), ἀῖ ἱ ἡδὶ ἔу («ἀπόστολος» л. 10α), ἀεуᾶῖ ἔу («διάβολος» л. 11α), ἄῖ ἄуἔу («ἄγγελος» л. 12α).

В «Слове на Святую Пятидесятницу» употреблены следующие заимствования из греческого языка: ἡуᾶῖ ἄᾶἔἡδὶ («εὐαγγελίστης» л. 370α), ἱᾶῖ ὀεἔῖ ἡδὲу («Πεντηκόστης» л. 361α), Ὁдὲἡдὶ ἡу («Χρίστος» л. 359γ, 361α, 361γ, 362δ, 364β, 367β), Ὁдὲἡдὶ ἡῖ ἡу («Χρίστος» л. 361δ, 366γ), ἄῖ ἄᾶἔу («ἄγγελος» л. 361β), ἀеуᾶῖ ἔу («διάβολος» л. 363δ), ἀῖ ἱ ἡдὶ ἔуἡἔу («ἀποστολικός» л. 364β).

В тексте «Слово на Рождество» содержатся грецизмы: ἄῖ ἄᾶἔу («ἄγγελος» л. 154γ), ἄῖ ἄᾶἔуἡἔу («ἄγγελικός» л. 153α), ἄᾶдὶ («ἄηρ» л. 156β), ἀἔдῖ ἡὑпὸᾶἔ- («ἄκροβυστία» л. 159δ), ἔᾶῖ ὀεἔ («λέντιον» л. 158β), ἀеуᾶῖ ἔу («διάβολος» л. 155δ), ἀδᾶαὐὶ ἅ («δράχημη» л. 158α), ἀεὲί ὑпὸаῖ ἅаὸе («ἐλλινίζω» л. 152γ), ἔἔῖ-
 ῖᾶ («εἰκών» л. 156δ), Ὁдὲἡдὶ ἡу («Χρίστος» л. 157γ); также грецизмом по происхождению является первая часть сложного слова ἔᾶῖ ἔῖ ἡеуᾶῖ ἔ- («εἰδωλοατρία» л. 156δ),

При рассмотрении выявленных в текстах пяти гомилий грецизмов отметим, что все эти грецизмы могут быть условно разделены на две группы:

1. Грецизмы «оказиональные», встречающиеся только в одной из гомилий. Греческие слова, которым соответствуют грецизмы этой группы, вступают в варианты отношения со славянскими по происхождению словами, могут быть переведены и славянскими лексемами. Например, греческая лексема «λέντιον» переведена в «Слове на Пасху» как ἱῖ ἱ ὑᾶᾶ (л. 352δ), в «Слове на Рождество» мы встречаем грецизм ἔᾶῖ ὀεἔ (л. 158β). Поэтому грецизмы этой группы можем также назвать «вариантными». Отметим, что такие грецизмы составляют небольшую часть от общего числа употребляемых в тексте заимствований из греческого языка.

2. Грецизмы, встречающиеся во всех или в большинстве гомилий. С этой чертой коррелирует другая – это заимствования, не вступающие в варианты отношения со славянскими по происхождению лексемами. Так, Ὁдὲἡдὶ ἡу никогда не переводится как «Помазанник», ἄῖ ἄᾶἔу – как «вестник», ἀῖ ἱ ἡдὶ ἔу – как «посланник», ἄῖ ἔἡἔῖ ἱ ῖ – как «надзиратель» и т.п. Грецизмы этой группы можно было бы назвать «инвариантными».

Следует отметить, что эти же грецизмы (2-й группы) мы можем обнаружить и в оригинальных, непереодных славянских памятниках, таких как «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, Житие Феодосия Печерского, Сказание о Борисе и Глебе по Успенскому сборнику [10]. Все грецизмы 2-й группы (или инвариантные грецизмы) – это слова, имеющие отношение к сфере христианского вероучения и церковной терминологии.

Примечательно, что в оригинальных славянских текстах мы можем встретить почти исключительно инвариантные грецизмы. Например, вот

полный список грецизмов «Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона (приводится по изданию [11]):

Грецизмы в «Слове о Законе и Благодати»:

āāāēú 171a19 189622 16868 17064172a2 17669

āī ñēú 188612 190a13 193612 16967

āī ñēñēàà 187a15 169611

āðōāāāēú 19263

āðōāāāēñēú 191614

āīāēī í ú 187a13

āāāāāēñōú 175617

āāāēüñēú 187a16 āāāēüñēúè 18065 18163 187a3 17963

āāāēīā 180a2 16863

ēāī ēú 187a5 180a18 182a3

ēāī ēī ñēóæāī tā 193615

ēāī ēī ñēóæèðāēü 181a4

ēāī ēüñēúè 186621 169a12 187614 19062 18567 181a22 174613 168a18
181611

ēēī í à 187a6 193a18

ēōāè 174616 17366 172618 172a15 и др.

ēēèðī ñú 187a13

ì āī āñōúðú 187a18

òēī iāí ú 180620 187a17 193a20

ōāú 190a4 174a12 ððēñōī āú 181a15 16965 и др.

ððēñòèàí iè (прилагательное) 172620 173619 и др.

ððēñòèàí ñēú 18266

ððēñòèàí ñòāī 193 a17 172613

ððēñòèàí ú 17361 173a10 и др.

ððēñòī ñú 16967 171610 и др.

Сравнивая тексты гомилий сборника «XIII Слов Григория Богослова» и ряда ранних славянских непереводаемых памятников, мы можем утверждать, что грецизмы выступают в этих текстах как семантически маркированная лексика, имеющая отношение к сфере сакрального. Грецизмы, имеющие другую семантику, составляют лишь небольшой процент от общего числа заимствований из греческого языка и встречаются далеко не во всех памятниках. Конечно, отдельный пласт заимствований составляют слова, которые не могли быть переведены в силу отсутствия в славянском языке соответствующих лексем: это имена собственные, топонимы, этнонимы. Эта лексика осталась за рамками нашей статьи. Сравнение переводных и оригинальных памятников дает возможность проследить, какие именно грецизмы были усвоены славянским языком в первую очередь и оказались наиболее востребованными в творчестве древнерусских авторов.

Изучение лексических заимствований в текстах гомилий сборника «XIII Слов Григория Богослова» подтверждает также выводы предшествующих исследователей о неоднородности перевода гомилий, о том, что сборник мог формироваться постепенно, при участии переводчиков и редакторов раз-

ных переводческих школ. Гомилии действительно демонстрируют разный уровень перевода как в отношении количества использованных в тексте грецизмов, так и в отношении их освоенности и оформления в соответствии с правилами грамматики славянского языка.

Литература

1. Будилович А.С. XIII Слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рук. ПБ XI в. СПб., 1875. 285 с.
2. Бруни А.М. Теологос. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы // Россия и Христианский Восток. Библиотека. Вып. 6. СПб., 2004.
3. Молдаван А.М. О составе сборника 13 Слов Григория Богослова // Лингвистическое источниковедение и история русского языка (2012–2013). М., 2013. С. 5–16.
4. Коцева Е. Най-ранният кирилски препис от слова на Григорий Богослов // Българско средновековие: Българо-съветски сб. в чест на 70-годишнината на проф. И. Дуйчев. София, 1980. С. 240–252.
5. Петрова Л.Я. К вопросу о древнеславянском переводе «Слов» Григория Богослова // Славяноведение. 1991. № 4. С. 70–75.
6. Щеглова О.Г. О лингвотекстологическом изучении памятников древнерусской письменности (на материале списков стихного Пролога) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: история, филология. 2013. Т. 12, № 2. С. 111–116.
7. *Gregoire de Nazianze*. Discours 38–41 introduction, texte critique et notes par Claudio Moreschini, trad. par P. Galley. (Sources chretiennes № 358). P.: Les editions du Cerf, 1990. P. 88–149.
8. *Migne J.P.* Patrologiae cursus completus. P., 1886. Т. 35, 36.
9. Thomson F. The Works of St. Gregory of Nazianzus in Slavonic // II Symposium Nazianzenum. Paderborn, 1983. P. 119–125.
10. *Успенский сборник XII–XIII вв.* / под ред. С.И. Коткова. М., 1971. 769 с.
11. Молдаван А.М. «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Киев, 1984. 240 с.

SOME FEATURES OF EARLY SLAVIC TRANSLATIONS FROM GREEK (ON THE MATERIAL OF THE COLLECTION *THIRTEEN HOMILIES OF ST. GREGORY OF NAZIANZUS*)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 5–11. DOI: 10.17223/19986645/42/1

Lyudmila V. Dolgushina, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: l.v.dolgushina@mail.ru

Keywords: translation, collection, borrowing, Greek loanword, Gregory of Nazianzus, Slavic writing, variant.

The collection *Thirteen Homilies of St. Gregory of Nazianzus* is preserved in one codex of the 11th century which is stored in The National Library of Russia in St. Petersburg. This codex has the earliest collection of St. Gregory's works translated into the Slavic language. The translation was probably made in the 10th century in Bulgaria. The selection and the order of the homilies are different from any Greek codex. Attempts to find a Greek prototype of the collection were recently made by A.M. Bruni and A.M. Moldovan, but the results of their study of the subject are quite opposite. A.M. Bruni thinks that the full Greek collection is the prototype of the Slavic codex; A.M. Moldovan supposes that the collection of 16 homilies is the desired prototype. Scholars (Kotseva E., Petrova L.) who studied the language of the Slavic codex do not consider that one person translated all the homilies of the collection; they insist on its gradual formation. In some homilies there are features which indicate that they were translated earlier, than the others. The translations were probably made in different translation schools (possibly in Preslav and in Ochrid). The study of Greek loanwords in the Slavic texts of the homilies also shows differences in the translations. The homilies in the collection differ not only in the number of Greek borrowings, but also in the quality of the translation. For example, the translation of the Funeral Oration on the Great S. Basil, Bishop of in Caesarea Cappadocia, is sometimes erroneous and there even are occasional transcriptions of Greek words in Slavic letters. The

translations of the Orations on Easter, On Holy Lights, on Pentecost and on Christmas have better texts. The comparison of the texts of the homilies with the original Slavic texts, such as The Sermon on Law and Grace by Metropolitan Hilarion, shows the similarity of using certain Greek loanwords in the original and translated texts. Prominent among them are words reflecting biblical realia and Christian terms. As a result of the research, the author distinguishes two groups of Greek loanwords in early Slavic texts – variant and invariant. The results of the work also prove the opinion of previous researches about the gradual formation of the collection *Thirteen Homilies of St. Gregory of Nazianzus*.

References

1. Budilovich, A.S. (1875) *XIII Slov Grigoriya Bogoslova v drevneslavyanskom perevode po ruk. PB XI v*. [Thirteen Homilies of Gregory of Nazianzus in the Old Slavonic translation by PB 11th-century manuscript]. St. Petersburg.
2. Bruni, A.M. (2004) *Teologos. Drevneslavyanskije kodeksy Slov Grigoriya Nazianzina i ikh vizantijskie prototipy*. [Theologos. Old Slavic codes of Homilies of Gregory of Nazianzus and their Byzantine prototypes]. *Rossiya i Khristianskiy Vostok. Biblioteka*. 6.
3. Moldavan, A.M. (2013) O sostave sbornika 13 Slov Grigoriya Bogoslova [On the composition of the collection of Thirteen Homilies of Gregory of Nazianzus]. In: *Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriya russkogo yazyka (2012–2013)* [Linguistic Chronology and History of the Russian language (2012–2013)]. Moscow: Drevlekhranilishche.
4. Kotseva, E. (1980) Nay-ranniyat kirilski prepis ot slova na Grigoriy Bogoslov [The earliest Cyrillic copy of the Homilies of Gregory of Nazianzus]. In: *B'lgarsko srednoviekovie: B'lgaros'vetski sb. v chest na 70-godishninata na prof. I. Duychev* [Bulgarian Middle Ages: Bulgarian-Soviet collection in honor of the 70th anniversary of Prof. I. Duychev]. Sofia.
5. Petrova, L.Ya. (1991) K voprosu o drevneslavyanskom perevode "Slov" Grigoriya Bogoslova [On the question of the Old Slavonic translation of Homilies of Gregory of Nazianzus]. *Slavyanovedenie*. 4. pp. 70–75.
6. Shcheglova, O.G. (2013) About linguotextological study of old Russian manuscripts (based on lists of stishnoy Prolog). *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: istoriya, filologiya – Bulletin of Novosibirsk State University. Series: History & Philology*. 12:2. pp. 111–116.
7. Gregoire de Nazianze. (1990) *Discours 38–41 introduction, texte critique et notes par Claudio Moreschini (Sources chretiennes № 358)* [Homilies 38–41. Introduction, critical text and notes by Claudio Moreschini (Christian Sources N 358)]. Translated by P. Galley. Paris: Les editions du Cerf.
8. Migne, J.P. (1886) *Patrologiae cursus completus* [Complete Corpus]. Vols 35, 36. Paris.
9. Thomson, F. (1983) The Works of St. Gregory of Nazianzus in Slavonic. *II Symposium Nazianzenum*. Paderborn. pp. 119–125.
10. Kotkov, I. (ed.) (1971) *Uspenskiy sbornik XII–XIII vv.* [Assumption Collection of the 12th–13th centuries]. Moscow: Nauka.
11. Moldavan, A.M. (1984) "Slovo o Zakone i Blagodati" Illariona [Sermon on Law and Grace by Hilarion]. Kiev: Naukova dumka.

УДК 811.163.2

DOI: 10.17223/19986645/42/2

М.В. Домосилецкая

ПЧЕЛОВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В БОЛГАРСКОМ ГОВОРЕ СЕЛА ГЕГА (ПО МАТЕРИАЛАМ МАЛОГО ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ)¹

В статье, основанной на неопубликованных полевых материалах «Малого диалектологического атласа балканских языков» (МДАБЯ), дано комплексное описание пчеловодческой лексики болгарского села Гега (Пиринский край). Разобраны все лексические лакуны, случаи неразличения понятий, проведен анализ синонимии, полисемии, приведены результаты сплошного этимологического анализа всех 119 лексем данной тематической группы. Сделаны выводы о степени приспособленности этой диалектной терминосистемы к нуждам местного пчеловодства.

Ключевые слова: «Малый диалектологический атлас балканских языков» (МДАБЯ), пчеловодство, болгарские говоры, Гега, лексические неразличения, этимология, заимствования, синонимия, полисемия.

Настоящее исследование основано на неопубликованных экспедиционных материалах «Малого диалектологического атласа балканских языков» (МДАБЯ), хранящихся в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, куда они были переданы анкетаторами в 2009 г. после соответствующего описания, осуществленного при финансировании РГНФ. Экспедиция в болгарское село Гега была проведена в июле 1998 г. и осуществлена силами следующих эксплораторов: В. Жобов (Софийский университет, Болгария) и Е.С. Узенёва (Институт славяноведения РАН, Москва).

Полевая работа в селе Гега велась в рамках «Балканской экспедиции» РАН и базировалась на лексическом вопроснике МДАБЯ [1]. Раздел «Пчеловодство» в данной программе представлен 128 вопросами.

Село расположено в исторической области Пиринская Македония (на пересечении границ с Грецией и Республикой Македония) на крайнем западе района Петрич (в 30 км от центра этой общины) на горе Огражден на высоте 600 м над уровнем моря. Интересно, что название горы нашло отражение в одном из самоназваний жителей поселения – *огражденцы*. Этот катоиконим соседствует с другим – *геговцы*, а также с этническими параллельными именованиями *болгары* и *македонцы*. Последний факт может объясняться тем, что Гега была присоединена к Болгарии относительно поздно – после Первой балканской войны в 1912 г. [2. С. 43]. Хотя село расположено близко к границе Македонии, население его совершенно однородно, приток пришлых жителей из других районов Болгарии отсутствует [2. С. 44]. Говор села, отно-

¹ Данная работа написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-04-00008 (а) «Малый диалектологический атлас балканских языков. Серия лексическая. Пчеловодство».

сящийся к юго-западноболгарским (пиринским) говорам, по первым наблюдениям участников экспедиции, сохранил свою чистоту и самобытность. «Несмотря на бедность природных условий, жители с. Гега обладают сильным чувством собственного достоинства, которое подкрепляется, главным образом, представлением о своем трудолюбии, что, надо отметить, абсолютно справедливо. По этой причине местный говор не стигматизирован и пользуется высоким престижем. В нем отсутствует влияние говора Петрича, а литературный язык для тех, кто им владеет, считается подходящим только для школы. Поэтому даже молодежь в совершенстве владеет родным говором и, общаясь между собой, пользуется именно им» [2. С. 49].

Как отмечают полевые исследователи, основные занятия столь работающих жителей Геги – разведение мелкого рогатого скота, садоводство и трудоемкое земледелие террасного типа (кукуруза, рожь, табак). Подчеркивается, что пчеловодство в селе является «сравнительно новой профессией» [2. С. 47]. Из литературы удалось выяснить, что главной причиной забвения пчеловодства в Геге стал массовый мор пчел из-за распространения в 30-е гг. XX в. опасного бактериального инфекционного заболевания расплода – американского гнильца [3. С. 91]. Вероятнее всего, вследствие этого, а также в связи с наложившимися более чем трудными обстоятельствами Второй мировой войны на несколько десятилетий пчеловодство в районе было заброшено, старые традиционные приемы ремесла были подзабыты. Вновь возрожденное в конце XX в. пасечное хозяйство уже базировалось на более современных европейских приемах.

С последним фактом, скорее всего, и связано довольно большое количество **лакун**, обнаруженных при ответах на вопросы раздела «Пчеловодство», – 29 из общего числа 128 (около 23%). Естественно, что в селе уже незнакомы с древними видами сбора меда и с архаическими способами ведения подобного хозяйства. Это и привело к записи в анкетах ответов в такой формулировке, как «нет практики, нет слова»: ‘дикое пчеловодство (охота за медом и воском, когда пчелиные соты разыскиваются в дуплах деревьев)’ (8.022)¹, ‘бортовое пчеловодство (содержание пчел в дуплах деревьев для получения меда и воска)’ (8.023); «нет реалии, нет слова»: ‘сноз (крест для укрепления сотов внутри дупла)’ (8.026), ‘должея (продольная выемка в бревне/стволе для сбора меда из дупла)’ (8.027), ‘круглый плетеный из соломы улей, часто обмазанный глиной’ (8.033)², ‘вертикальный улей-стояк (улей, где для расширения гнезда пчел сверху основного корпуса ставят корпусные надставки)’ (8.043).

Большая часть лакун (23) имеет помету «нет слова». Этот факт говорит, по всей видимости, о том, что информанты в принципе *поняли*, о чем идет речь, однако данная реальия или понятие не имеют в говоре четкого лексикализованного оформления. Носители говора не смогли дать ответы, к примеру, на такие вопросы: ‘пчела-кормилица (пчела, ухаживающая за пчелиными личинками)’ (8.005), ‘куколка рабочей пчелы и трутня’ (8.009), ‘пчелиный рас-

¹ Здесь и далее – порядковый номер по лексическому вопроснику МДАБЯ [1], где первой цифрой «8» обозначен сам раздел «Пчеловодство».

² В литературе еще 35 лет назад отмечалось наличие тогда в районе таких ульев, обмазанных как снаружи, так и изнутри коровьим навозом и покрытых сверху ржаным снопом – *вик* [3. С. 91].

плод (молодое поколение пчел в пчелиной семье)' (8.011), 'молодая пчела' (8.013), 'безматочный улей' (8.045). То есть, обладая такими лексически оформленными понятиями, как: 'пчела матка' (*maika*), 'личинка пчелы' (*crve, pilinca* pl.), 'расплодное гнездо в улье' (*pilo*) и под., пчеловодческая лексика Геги тем не менее «не заточена» на обозначение всех деталей процесса размножения пчел. Нет особых именовании для дифференциации подвидов мёда: 'мед цветочный' (8.061), 'мед падевый' (8.063), 'смешанный мед' (8.064) – при наличии обозначения 'чистый мед (несмешанный, лучшего качества)' *čis met, bisar met* (8.067). «Плохо» обстоит дело с обозначением понятий, так или иначе связанных со временем, – отсутствуют слова для наименований: 'взятки (мед, собранный пчелами за известный период времени)' (8.065), 'медосбор как процесс сбора меда пчелами за сезон' (8.020), 'медосбор как время сбора пчелиного меда' (8.021). Довольно скудно лексически представлено микрополе «Рамка с сотами (в улье)», в нем отсутствуют слова для называния: 'корпус улья с рамками' (8.042), 'маломедная рамка' (8.049), 'многомедная рамка' (8.050), 'маточник роевой (маточник на ребрах сота)' (8.074)¹, 'пчелиные ячейки сот (ячейки, где живут рабочие пчелы)' (8.076), 'трутневые ячейки сот' (8.077), 'переходные ячейки сот'² (8.078). Не нашли отражения в пчеловодческой терминосистеме Геги и некоторые болезни пчел, причем весьма распространенные. Вызывает сомнение, что пчеловоды данной местности с ними не встречались. Это 'паралич пчел' (8.114)³, приводящий к повальной гибели всего семейства, и 'браулез пчел' (8.115) – болезнь насекомых, вызывающая их слабость, при этом матки теряют способность откладывать яйца, нередко гибнут. Интересно, что само название браул (пчелиная вошь *Braula coeca*) – *krl'eš* – в говоре присутствует, но, по всей видимости, гововцы не видят связи между этим паразитом и вдруг возникшей слабостью роя. (Заметим, что название болезни *гнилец* (*gnil'ec*) в говоре присутствует – настолько, видимо, сильно в Геге воспоминание о повальном пчелином море 30-х гг.!)

Проведенный системный семантический анализ пчеловодческой лексики болгарского села Гега позволил также сделать важные выводы относительно ментального и языкового членения носителями говора окружающей действительности. Речь пойдет прежде всего о ряде случаев **лексических неразличений** пчеловодческих понятий. Их относительно немного – 8, что может

¹ Для роста маточной личинки пчелы сооружают особое «помещение», обычно на краю сота, внешне напоминающее висящий концом вниз желудь. Удивительно, что пчеловоды села Гега не понимают его функционального назначения и полагают, что это «недоброкачественная пчела».

² Ячейки *неправильной* формы, которые пчелы строят при переходе от трутневых к пчелиным ячейкам.

³ Острое вирусное заболевание, при котором пчелы лишаются хитинового покрова, чернеют и массово гибнут. Интересно, что и в других пунктах МДАБЯ это заболевание пчел если и отражается в местной терминосистеме пчеловодства, то исключительно самыми «общими» словами, при наименовании используется гипероним. Сравнение терминосистем обнаруживает следующее: в говоре арумьского села Кранья / Турья в горном массиве Пинд – *amur'asku* 3 pl. букв. 'подыхают' (< балк. лат. **ammortire*) [4. С. 399]; в западном македонском говоре Пештани – *boles* 'болезнь' [архивные данные экспедиций МДАБЯ, хранящиеся в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН], т.е. «балканским» сознанием это заболевание воспринимается просто как повальный неизбежный мор, при этом характерные признаки болезни не выделяются, считаются уже нерелевантными.

свидетельствовать о стремлении местных пчеловодов к специализации этой сферы лексики, несмотря на ее относительно позднее становление в Геге.

Итак, в говоре не различаются: 'искусственная борть (искусственное, выдолбленное человеком в дереве дупло с сотами)' (8.025) и 'долбленный из колоды улей, неразборный, поставленный стоймя на подставку или прямо на землю' (8.031) – *štubl'e, štubel'*; 'плетенный из веток кустарника конусообразный улей, часто обмазанный глиной' (8.034) и 'коробка, корзина, в которую собирают рой' (8.058) – *pros košer* букв. 'обыкновенная плетеная округлая емкость'; 'улей из досок, современный разборный улей с подвижными рамками' (8.036) и 'горизонтальный улей-лежак' (8.044) – *sandak*¹; 'мед, разведенный водой, служащий для подкормки пчел' (8.118) и 'сахарный сироп, служащий для подкормки пчел' (8.119) – *sirop*; 'вощина (пустые пчелиные соты, неочищенный воск)' (8.086), 'воскотопка' (8.090) и 'отходы от воска' (8.091) – *voština*.

Частичное лексическое неразличение встретилось в микрополе «Подставка», где два ответа (8.032 'подставка под колоду' и 8.047 'подставка под улей') полностью совпадают за счет употребления одной и той же лексемы *ploštica* – с пометой «плоский камень». Однако 8.047 в плане выражения обладает, помимо нее, также ситуативным синонимом *daska* букв. 'доска', что, несомненно, указывает на два вида разных по материалу подставок, используемых при установке дощатого улья современного типа². Конкретность мышления геговцев здесь довлеет, и представления о двух объектах воплощены не в виде указания на родовое означение, а в виде соозначения, т.е. сопровождаются обязательным указанием на их отличительные свойства.

Интересна языковая сегментация комплекса, связанного с обозначением зимовки пчел. В говоре нет общего именованного помещения для содержания пчел зимой (8.108). На данный вопрос получены две лексемы *grlo* и *plodnik*³, не являющиеся синонимами, но служащие для обозначения релевантных, с точки зрения носителей говора, признаков этого помещения, а точнее – его составных частей: верхней перегородженной (поэтому *узкой, как горло*) части улья, которая оставляется на улице, – *grlo* и нижней – *plodnik*. При этом *grlo* называет также соломенную прокладку на зиму в улье (8.109) – метонимия по смежности⁴, а *plodnik* – маленький улей для *разведения* маток (8.046), а именно для искусственного их выведения или сохранения запасных маток «вне клуба». Последнее слово вполне ясно мотивируется *plod* и подразумевает обязательное нахождение там плодной матки, особо охраняемой пчелами зимой в естественных условиях улья «внутри клуба».

¹ Получается, что для жителей Геги вообще неважно различать современные типы ульев по их конструкциям. Все данное микрополе покрывается гиперонимом «улей (общее название)», которым обозначают и ульи горизонтального типа, где гнездо расширяют добавлением рамок *внутри основного корпуса*. А вертикальные ульи (где для расширения гнезда пчел *сверху основного корпуса* ставят корпусные надставки), как уже сказано выше, в селе вообще не существуют.

² В литературе отмечается, что в Пиринском крае каменные подставки под ульи используются в естественных условиях – когда пасека расположена на горных склонах, на скалах [З. С. 91].

³ В русскоязычной статье считаем целесообразным приводить разъяснение мотивировок болгарских слов только в тех случаях, когда они не совсем прозрачны для читателя.

⁴ Что привело, в частности, к полисемии данного слова в говоре, см. также по имеющемуся в нашем распоряжении материалу Геги: *grlo* 'горло – полость позади рта, заключающая в себе начало пищевода и дыхательных путей' (3.062).

В пчеловодческой лексике села Гега также обнаруживается и некая **синонимическая парадигма**, однако довольно узкая. 1. ‘кусать друг друга (о пчелах)’ (8.018): *tepat se* 3 pl. (ср. болг. литер. *menam* ‘валать (сукно)’; болг. диал. ‘бить, колотить’) = *davat se* 3 pl. (ср. болг. литер. *давя* ‘душить; топить’); 2. ‘леток (отверстие для пролета пчел в улье)’ (8.037): *vрати́чка* = *procep* (ср. болг. литер. *процен* ‘дышло; щель, трещина’); 3. ‘старый рой’ (8.054): *star roiak* = *lanski roiak* (ср. болг. литер. *лански* ‘прошлогодний’); ‘ловить рой’ (8.059): *lova roiak* 1 sg. = *faštam roiak* 1 sg. (ср. болг. литер. *хващам* ‘брать; хватать, ловить’; ‘чистый, лучшего качества (о меде)’: *čis met* = *bisar met* (ср. болг. литер. *бисеп* ‘жемчуг’); ‘маточник (наиболее крупная ячейка сот в улье, куда помещают матку)’ (8.073): *cicinka* = *maičiniк*; ‘печатный – о меде (содержащийся в еще закрытых сотах)’ (8.082) *zapečatan met* = *uzreial met*; ‘ройливые – о пчелах’ (8.125): *silna čela* = *plodna čela*¹.

В качестве синонимов не будем, естественно, рассматривать словообразовательные дублеты: *čelno ml'eko* и *čelno ml'ečice* для 8.014 ‘пчелиное «молочко», маточное «молочко»»; *osil* и *osilče* для 8.015 ‘пчелиное жало’; *štubl'e* и *štubel* для 8.025 ‘искусственная борть’.

Что касается ответов на вопрос 8.099 ‘бочка для хранения меда’, то полученные анкетаторами слова никак не могут являться в системе говора синонимами, а свидетельствуют, прежде всего, о некорректной формулировке самого вопроса (следовало бы использовать ‘емкость’ как отражающее более универсальное, родовое понятие). Сами респонденты своими ответами наглядно проиллюстрировали конкретный этнографический бытовой сегмент – в какие емкости в Геге можно собирать мед и в чем его держать: *bukol* ‘деревянный конусообразный сосуд’, *g'um* ‘металлический сосуд, бидон’ и *burkan* ‘стеклянная банка’.

К сожалению, имеющийся в нашем распоряжении языковой материал села Гега предоставил ограниченную возможность обнаружить там слова, относящиеся к локальной пчеловодческой терминосистеме, в иных их значениях и тем самым установить семантический объем некоторых лексем говора. Можно констатировать все же, что несколько лексем обладают определенным диапазоном многозначности и позволяют проследить цепочку становления в говоре **полисемии**. Это существительные: *maika* ‘пчела-матка’ и ‘взрослая овца (в возрасте 3,5–4 лет)’; *pilo(-e)* ‘цыпленок’ и ‘расплодное гнездо в улье’; *pil'ince (-a pl.)* ‘цыпленочек (неоперившийся)’ и ‘личинка пчелы’; *dno* ‘дно, почва под водой реки’ и ‘нижняя часть рамочного улья, дно’; *cadalnik* ‘цедилка для отжимания сыра’ и ‘металлическая сетка для процеживания меда’. Особо интересно остановиться на существительном *l'evokar*, обозначающем, с одной стороны, человека-левшу (4.117), а с другой – злобных пчел (*l'evokarka* sg.) (8.126). Если вспомнить, что под злобными понимают пчел агрессивных, несколько «неудобных» для пчеловода, «неправильных» (от букв. ‘ходить налево’), то метафорическая связь с понятием «левша» становится достаточно ясной.

¹ Мотивация данных наименований в говоре Геги (*sil-*, *plod-*) вполне очевидна: под ройливыми пчелами понимают активные, склонные к размножению и делению семьи; в таком рое обычно много молодых пчел.

Более интересные семантические переходы можно наблюдать при анализе прилагательных. Лексема *silen* распространяется на сильный рой и на косо падающий дождь (т.е. обильный, сильный дождь); *slab-* может характеризовать: маленькую, тощую скотину; постное, нежирное мясо; слабенького цыпленка; слабый рой пчел и незлобивых пчел. В последнем случае народным сознанием четко подмечено, что обычно злобивые пчелы, о которых шла речь выше, более активны, продуктивны, лучше поддерживают чистоту в ульях, т.е. воспринимаются как более *сильные* по отношению к *слабым* незлобивым. Однако понятие «*сильные*» (*siln-*) применимо в Геге по отношению не к злобивым, а исключительно к ройливым пчелам, т.е. имеющим тенденцию часто и обильно делиться на отдельные семьи, плодиться, а также к плодовой курице, к курице, высидевшей цыплят более одного раза.

Интересно семантическое развитие в говоре лексем *bisar* и *sugaref*. *Bisar met* ‘чистый мед (несмешанный, лучшего качества)’ (8.067) < болг. *bисер* ‘жемчуг’ (произв. *bисерен*) < др.-болг. *бисъръ*, *бисъръ*, *бисерь* – немногочисленный осколок протоболгар. (тюрк. *büsrä*) < араб. *busr* ‘бусина из непрозрачного стекла’ [5. Т. 1. С. 122]. Имеем дело с развитием прилагательного-эпитета с явно выраженной оценочной окраской: ‘жемчужный’ > ‘красивый’ > ‘самый лучший’ > ‘чистый, несмешанный’. В качестве одного из ответов на вопрос ‘названия видов меда’ (8.062) анкетаторы получили прилагательное *sugaref*. В болгарских диалектах *сугарин*, *сугарен* и под. имеют значение ‘поздно родившийся ягненок, цыпленок’ [5. Т. 7. С. 548–549]. Скорее всего, здесь мы имеем дело с нейтрализацией соотнесенности с детенышем-*сосунком* домашнего скота или птицы (< вост. ром. *a suge* ‘сосать’ < лат. *sūgere* ‘id.’) [6. С. 451]¹, с дальнейшим развитием семантики, расширением до ‘поздний, осенний’, т.е. *sugaref met* – ‘осенний мед’. Правда, с каких растений его получают в Геге, осталось пока неясным, притом что весенне-летние сорта меда вполне четко названы по их растительному источнику: *kestenof* ‘каштановый’ (т.е. весенний), *bilkof* ‘цветочный’, *akacief* ‘акациевый’.

Еще шире семантический диапазон глагольной лексики: *čuvam* 1 л. ед. ч. ‘содержать скот, ухаживать за скотом’ и ‘разводить пчел’ (ср. болг. литер. *чувам* ‘беречь, хранить; стеречь’); *tuškam* 1 sg ‘гнать скот на пастбище’ и *tuškat* 3 л. мн. ч. ‘изгонять из улья осенью трутней – о пчелах’ (экспрессивный слав. корень, ср. серб. *тушнути* ‘науськать, натравить, подзадорить’); *topi se* ‘таять (о снеге, льде)’, *topa* 1 л. ед. ч. ‘топить масло’ и ‘топить воск, добывать воск из вошины’; *lova roiak* 1 л. ед. ч. ‘ловить рой’ и описательное *son ne me lovi* ‘страдать бессонницей’, букв. ‘сон меня не ловит’; *seka* 1 л. ед. ч. ‘резать на куски (пищевые продукты)’ и ‘подрезать соты, вынимать медосодержащие соты путем надрезки’; *cadī* 1 л. ед. ч. ‘процеживать свежесцеженное молоко через что-либо фильтрующее’ и ‘цедить мед, пропуская через сетку для очистки’. Процесс возникновения таких семантических переносов и расширение семантического объема лексем вполне прозрачны и вопросов не вызывают. Все эти глаголы в конкретных терминологических значени-

¹ В основе мотивировки ‘сосать > сосунок > поздно родившийся’ лежит яркий отличительный признак подобного детеныша, а именно: он является *сосунком* в то время (осень, начало зимы), когда все остальные детеныши стада уже отлучены от маток.

ях суть специализация, приспособление самого общего значения (типа «топить, растапливать», «ловить», «резать, сечь», «цедить» и проч.) к конкретному прагматическому сегменту.

Важно заметить, что в пчеловодческой терминосистеме Геги *совершенно нет описательных конструкций*, что, наоборот, характерно, для других терминосистем иных уже описанных пунктов МДАБЯ. Особенно много таких описательных многословных ответов получено при опросе в южноарумынском говоре села Кранья / Турья [4.] и западномакедонском говоре села Пештани – соответственно 55 и 16 ответов из 128 вопросов.

Сплошной **этимологический** анализ всей представленной в говоре пчеловодческой лексики (119 лексем) показал ее славянское происхождение на 90%. Лишь 10% лексем можно полагать заимствованиями¹. См. прежде всего лексемы романского происхождения для обозначения емкостей для хранения меда: *bukol* (деревянный конусообразный сосуд) < итал. *boccale* ‘кружка, кувшин’ [5. Т. 1. С. 98] и *burkan* (стеклянная банка) < рум. *borcan* ‘банка’ < венг. *borcan* ‘кувшин для вина’ < *bor* ‘вино’ + *kan* ‘кувшин’ [5. Т. 1. С. 91]. Было обнаружено также 5 слов турецкого (тюркского) происхождения: *sandak* ‘горизонтальный улей-лежак’ (8.044) и ‘современный разборный улей из досок с подвижными рамками’ (8.036) < тур. *sandık* ‘ящик, сундук’; *kapak* ‘верхняя часть рамочного улья, крыша’ < тур. *kapak* ‘крышка’; *g’um* ‘металлический сосуд для хранения меда’ (8.099) < *gügüm* ‘медный кувшин’. Часть турцизмов Геги – собственные болгарские суффиксальные производные на основе турецких корней. Прежде всего, это *torbički* pl. ‘щеточки на задних ножках пчелы для переноса пыльцы’ (8.123) < тур. *torba* ‘мешок, сумка’. Существенно отметить, что мировосприятием пчеловодов Геги точно подмечена и выражена в метафоре характерная и очень важная особенность задних ножек пчелы: на голени имеется окруженное длинными изогнутыми волосками углубление-*корзиночка*, в которую пчела укладывает комочки пыльцы во время ее сбора на цветках. То есть при ответе на этот вопрос в центре внимания респондентов оказались *не волоски* для сметания пыльцевых зерен, а именно самое крупное, хорошо видимое невооруженным глазом утолщение, внешне сходное с торбой, сумкой, функциональное назначение которого для носителей говора совершенно ясно. И наконец, см. уменьшительное образование *koremče* ‘брюшко пчелы’ (8.124), произошедшее, скорее всего, не от тур. *karın* ‘живот, нутро, утроба’, а от древнего тюркизма **qärin* ‘живот’ (ср. еще в древнеболг. **koryть/*kьръть*) [5. Т. 2. С. 633]².

Оговоримся, что к 90% мы также *условно* отнесли пять древнейших общеполгарских лексем иноязычного происхождения, которые никак в рамках данного говора нельзя полагать лексическими инновациями: *kačul’ka* (8.101) ‘сетка, надеваемая на голову пасечника’, а также ‘капюшон’ < балкан. субстрат [kačula] ‘капюшон, хохолок’ [1. С. 73; 7. С. 338]; *daska* ‘подставка под

¹ Интересно, что ровно такой же «расклад» (90 и 10%) получаем и при анализе исконной и заимствованной лексики раздела «Пчеловодство» в селе Пештани (Македония). Для сравнения приведем соответствующие цифры для арумынского села Кранья / Турья – 50 и 50% [4].

² Важно заметить, что бессуффиксальное *korem* встретилось в соматической лексике иных тематических разделов словаря данного говора: ‘живот человека’ (3.007), ‘желудок человека’ (3.115), ‘брюхо скота’ (6.514).

улей' (8.047) < др.-болг. < герм. *tisc* или балк. лат. **disc-* < *discus* [5. Т. 1. С. 416, 466]; *iskarvat* 'доставать рамки с медом из улья' (8.051) (ср. болг. литер. *изкарвам* 'выгонять; выводить; вынимать') < (предположительно) балк. лат. глагол движения **carriare* < *carrus* 'повозка' [5. Т. 2. С. 235–236]; *pita* 'соты' (8.071) < др.-болг. < греч. *πίττα*, *πίττα* 'пирог'; *kil'iika* 'ячейка сот' (8.072) – производное от *килия* < др.-болг. < греч. *κελλίον* < лат. *cella* 'клетка' [5. Т. 2. С. 363].

В пчеловодческой лексике села Гега явно выражено влияние литературного языка, принесшего в говор (вместе с модернизацией самого пчеловодства и, вероятно, в новейшее время, с популярными брошюрами по пчеловодству) ряд лексем книжного происхождения из современных европейских языков: *ramka* 'рамка с медом в улье' (8.048); *nektar* 'нектар растений' (8.069); *centrifuga* 'медогонка' (8.094); *sirop* 'мед, разведенный водой, служащий для подкормки пчел' (8.118) и 'сахарный сироп, служащий для подкормки пчел' (8.119).

Итак, весь представленный материал позволяет сделать следующие выводы.

1. Пчеловодческая терминосистема говора Геги подтверждает то, что сама данная отрасль хозяйства в настоящее время *возрождается* и является в селе относительно *новой*. Об этом говорит и большое количество лакун при обозначении реалий древних видов пчеловодства, и отсутствие лексической детализации процесса размножения пчел и названий, так или иначе связанных со временем, и др. Недостаточную специализацию этого раздела лексики подтверждают и случаи полного и частичного лексического неразличения ряда понятий. Они свидетельствуют о своеобразном отношении местных пчеловодов к некоторым тонкостям ремесла, которые, с их точки зрения, нерелевантны и не стоят особого обозначения.

2. О невысокой специализации пчеловодческой терминосистемы Геги говорит и полисемичность входящих в нее компонентов, связывающих ее с иными тематическими сферами. В особенности это справедливо для глагольной лексики. Тем не менее, с другой точки зрения, почти полное отсутствие описательных конструкций одновременно демонстрирует достаточную терминологичность данной профессиональной лексической сферы с. Гега.

3. Пчеловодческая лексика Геги обнаруживает высокую устойчивость к проникновению заимствований. Данный болгарский говор собственными исконными средствами (либо с помощью древнейших заимствований общеполгарского периода) практически полностью может описать такую «хозяйственную нишу», как местное пчеловодческое хозяйство.

4. По наблюдениям участников экспедиции, районный центр Петрич расположен довольно далеко от села, и поэтому в языковом отношении город влияет только на детей, которые там постоянно учатся [2. С. 44]. Однако анализ материала, напротив, демонстрирует некоторое влияние на данную сферу лексики литературного языка, что связано опять же с поздним (или повторным) вхождением пасечного хозяйства в быт села и с новыми для него пчеловодческими реалиями.

Литература

1. Домосилецкая М.В., Жугра А.В., Клепикова Г.П. Малый диалектологический атлас балканских языков: Лексическая программа. СПб., 1997. 76 с.
2. Жобов В., Узенёва Е.С. Отчет об экспедиции в юго-западную Болгарию (с. Гега, Петричская община, Софийская область) // Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы третьего рабочего совещания, Санкт-Петербург, 18 декабря 1998 г. СПб., 1999. С. 43–54.
3. Пирински край: етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София: Българска академия на науките, 1980. 688 с.
4. Бара М., Каль Т., Соболев А.Н. Южноарумынский говор села Турья (Пинд): Синтаксис. Лексика. Этнолингвистика. Тексты. München: Biblion Verlag, 2005. 490 с.
5. Български етимологичен речник. Т. 1–7. София: Изд-во на Българската Академия на науките, 1971–2011.
6. Домосилецкая М.В. Албанско-восточнороманский сопоставительный понятийный словарь: Скотоводческая лексика. СПб.: Наука, 2002. 620 с.
7. Соболев А.Н. Малый диалектологический атлас балканских языков. Пробный выпуск. München: Biblion Verlag, 2003. 358 с.

BEEKEEPING TERMINOLOGY IN THE BULGARIAN DIALECT OF GEGA (BASED ON THE SMALL DIALECTOLOGICAL ATLAS OF THE BALKAN LANGUAGES)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 12–21. DOI: 10.17223/19986645/42/2

Marina V. Domosiletskaya, Institute for Linguistic Studies (ILI), Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: marinaling@mail.ru

Keywords: Small Dialectological Atlas of the Balkan Languages (SDABL), beekeeping, Bulgarian dialects, Gega, lexical indistinctions, etymology, loanwords, synonymy, polysemy.

The paper is based on the unpublished field materials of *The Small Dialectological Atlas of the Balkan Languages* (SDABL), the dialectological expedition of 1998, and describes the beekeeping terminology of Gega, a southwestern Bulgarian dialect of Pirin region.

The beekeeping vocabulary of Gega is presented by 119 lexemes. The author carries out a thorough examination of the lexical lacunae (23 % of responses to 128 questions): *wild honey harvesting*, *cross-fixed frame*, *mud and clay hive*, *vertical hive* etc. and offers some good explanations for these lexical gaps. The beekeepers of Gega do not focus their attention on the details of the reproduction process of bees (*queenless hive*, *nurse bee*, *worker bee* or *drone bee larva*), their diseases (*braulosis*, *bee paralysis disease*), on some time concepts (*honey flow*), etc. The micro-field “Frame with Honey Comb” segmentation is also very poor. 10 cases of lexical indistinctions (e.g. *pros košer* ‘skep made of coils of straw or branches’ = *pros košer* ‘basket for a caught bee swarm’, *voština* ‘empty comb without honey’ = *voština* ‘wax melter’ = *voština* ‘meltings’) demonstrate the peculiarities of the conceptualization of the information about environment in the Gega dialect. The lack of multi-word terminological expressions is emphasized. All the cases of nominal and verbal polysemy (*maika*, *pilo*, *silen*, *slab*, *biser*, *sugaref*, *topi*, *seka* etc.) are analyzed. Despite the limited amount of Gega lexical material, some attention is devoted to the development of polysemy in the dialect (e.g. *pilo(-e)* ‘chicken; brood nest in a hive’, *pil'ince* ‘fledgling chicken; larva’, *levokar* ‘left-handed person’ and *levokarka* ‘aggressive bee’).

All the 119 lexemes of beekeeping terminology are examined from the etymological point of view. 90 % of them occurred to be native Slavic words. A special group is formed by words borrowed by Old Bulgarian: *daska* (< Germ. *tisc* or Balk. Lat. **disc-*), *iskarvam* (< Balk. Lat. **carriare*), *pita* (< Gr. *πίττα*, *πίττα*), *kil'iika* (< Gr. *κελλίον* < Lat. *cella*) and *kačul'ka* (an inherited Balkanian substratum word). There were found only two late Romance borrowings (*bukoł* < Ital. *boccale*; *burkan* < Rum. *borcan*) and five words of Turkic or Turkish origin (*sandək*, *kapak*, *g'um*, *torbički*, *koremče*). The late influence of modern European languages (through standard Bulgarian vocabulary) can be observed in *ramka*, *nektar*, *centrifuga*, *sirop*. This is an uncommon case of standard Bulgarian to impact the Gega dialect, which is quite isolated from its influence.

Beekeeping terminology in the Bulgarian dialect of Gega reflects adequately the situation when the apiculture is being revived now on an “upgraded” level after several decades of decline.

References

1. Domosiletskaya, M.V., Zhugra, A.V. & Klepikova, G.P. (1997) *Malyy dialektologicheskiy atlas balkanskikh yazykov. Leksicheskaya programma* [Small Dialectological Atlas of Balkan Languages. Lexical program]. St. Petersburg: Nauka.
2. Zhobov, V. & Uzeneva, E.S. (1999) [Report about the expedition in South-Western Bulgaria (v. Gega, Petrichskaya Community, Sofia Region)]. *Malyy dialektologicheskiy atlas balkanskikh yazykov* [Small Dialectological Atlas of Balkan Languages]. Materials of the third workshop. St. Petersburg, December 18, 1998. St. Petersburg: Nauka. pp. 43–54.
3. Bulgarian Academy of Sciences. (1980) *Pirinski kray: etnografski, folklori i ezikovi prouchvaniya* [Pirin region: Ethnographic, folklore and language studies]. Sofia: B'lgarska akademiya na naukite.
4. Bara, M., Kal', T. & Sobolev, A.N. (2005) *Yuzhnorumynskiy govor sela Tur'ya (Pind). Sintaksis. Leksika. Etnolingvistika. Teksty* [South-Rumanian dialect of village Turia (Pind). Syntax. Vocabulary. Ethnolinguistics. Texts]. München: Biblion Verlag.
5. Bulgarian Academy of Sciences. (1971–2011) *B'lgarski etimologichen rechnik* [Bulgarian etymological dictionary]. Vols 1–7. Sofiya: Izdatelstvo na B'lgarskata Akademiya na naukite.
6. Domosiletskaya, M.V. (2002) *Albansko-vostochnoromanskiy sopostavitel'nyy ponyatiynny slovar'. Skotovodcheskaya leksika* [Albanian-East-Romance comparative conceptual dictionary. Cattle-breeding vocabulary]. St. Petersburg: Nauka.
7. Sobolev, A.N. (2003) *Malyy dialektologicheskiy atlas balkanskikh yazykov. Probnyy vypusk* [Small Dialectological Atlas of Balkan Languages. A Trial Edition]. München: Biblion Verlag.

УДК 811.161.1' 28
DOI: 10.17223/19986645/42/3

Г.В. Калиткина

«СТАРА, ВОТ И РАССКАЗУЮ ВСЁ...» ДИСКУРСИВНЫЙ КОРПУС ТРАДИЦИИ И ЖАНР «ПЕРЕДАЧА ТРАДИЦИОННОЙ ЭТИКИ»

В статье рассматривается дискурс традиции – один из механизмов поддержания и воспроизводства идеальных ценностей и социальных установлений. В дискурсивном корпусе традиции выделен речевой жанр, транслирующий этические категории долга и идеала. Правомочность его обособления обоснована в результате анализа основных концептов и своеобразия репрезентации времени и пространства. Выявлена специфика картины мира, возникающей в рамках жанра передачи этики, на фоне миромоделирования содержательно близких меморатов, литаний и жалоб.

Ключевые слова: *традиция, традиционная культура, диалект, дискурс, речевой жанр, этика.*

1. Традиция. Задолго до институционального оформления антропологии феномен традиции уже привлекал внимание Г. Зиммеля, А. Бергсона, О. Шпенглера. Во второй половине XX в. традиция оказалась важнейшим объектом исследования для всех гуманитарных дисциплин. К ней обращались этнографы, фольклористы, литературоведы, историки, социологи, философы, психологи, специалисты по коммуникации, коллоквиалистике и пр. При этом объем понятия «традиция» менялся, а сам термин постепенно размывался почти до операциональной ничтожности. Сегодня он указывает и на материал культуры, и на некий процесс его трансляции, и на способ этой трансляции, и на фактор, обеспечивающий устойчивость культуры.

В качестве внеприродных субстанций общество передает не только материальные средства и ресурсы своего воспроизводства, шаблоны поведения, но также предельные значения символического универсума, обобщенные представления о своих целях, идеалах, нормах, императивах и т.д. В передаче перечисленных аспектов культурной традиции удельная доля речи соответственно нарастает. Тем не менее первоначально изучение горизонтальной (синхронной) и вертикальной (диахронической) трансляции бесписьменной культуры практически не опиралось на исследовательский аппарат языкознания.

2. Дискурсивная трансляция традиции. Только к середине прошлого века представители многих отраслей знания согласились с неновым в общепроизнесенном тезисом, что человек живет в мире, формируемом и предъявляемом ему посредником – языком. «Лишь небольшая часть нашего знания о мире рождается в нашем личном опыте. Большая его часть имеет социальное происхождение, передана мне моими друзьями, родителями, учителями и учителями моих учителей», – утверждал в 1962 г. А. Шютц [1. С. 16]. Идея учета языковых факторов при объяснении экстралингвистических явлений и феноменов оказалась созвучной и сторонникам «лингвистического переворота», и

постструктуралистам, и когнитологам, осваивавшим все более широкие области гуманитарной науки¹. А в аналитической философии, изначально уделявшей внимание противопоставлению дискурсивного и эмпирического знания², стала актуальной проблематика «knowledge by description», или, как обозначает ее И.Т. Касавин, «познавательной коммуникации», «знания-сообщения», «знания понаслышке».

Дискурсивная передача идеальных элементов традиционной культуры³ (а эта форма культуры во многом воспринимается как концентрирующая в максимальной степени национальные черты) в восточном ареале *Pax slavica* все еще предстает в «диалектном одеянии», если использовать метафору С.Е. Никитиной.

В отечественной литературе уже устоялся термин «диалектный дискурс», и все же диалектная коммуникация обладает рядом черт, препятствующих однозначной квалификации обозначаемого феномена. В результате исследователи предпринимают попытки его дальнейшей стратификации: «Все диалектное речевое пространство может быть обозначено как общий дискурс, особенности которого реализуются в частных дискурсах (например, гендерном, ритуальном, темпоральном и т.д.)», – настаивает Н.В. Большакова [4. С. 8]; см. также: [5].

В трактуемом подобным образом диалектном дискурсе на пересечении бытовой, моральной и фольклорной зон есть все основания увидеть область функционирования корпуса традиции – уже некогда созданных, создаваемых и потенциально возможных текстов, объединяемых указанной содержательно-смысловой общностью. Далее она будет обозначаться как «дискурс традиции». Парадоксальным образом этот полуинституализированный дискурс организован вокруг размытой смысловой области «наивного» сознания, среди многочисленных имен которой нет имени *традиция*. В народной речевой культуре ее обозначают диалектно-просторечные ЛСВ общерусских имен и собственно диалектные номинации (иногда в их включенности в связанные выражения) *мода, модель; повер, поверье, вера; обычай, обычае, завычина, завычка; порядок; заведение, заведь, заведёнка, заведённое, завидье; закон* и др. [6].

Дискурс традиции – это тот «словесный компонент поведения» (в терминах ранних работ М.М. Бахтина) или «массив языковой практики» (по

¹ Ср. с позицией Е.С. Кубряковой, сформулированной в 2004 г.: «Хотя с информацией о мире мы сталкиваемся постоянно, а получение ее осуществляется всеми органами чувств, все объяснения и об объектах, и о чувствах мы получаем благодаря языку – через дискурс, общение, тексты. Подавляющее большинство необходимых сведений о мире (прежде всего научных и теоретических) мы постигаем не в ходе нашей чувственной, предметной, практической деятельности, какой бы важной и базовой она в нашей жизни ни являлась, но в ходе деятельности, опосредованной языком» [2. С. 43].

² «Сегодня <...> в аналитической философии конкурируют три основных подхода: редукционизм, дуализм и кредулизм. Согласно первому всякое знание, полученное путем коммуникации с другим, является вторичным, поскольку, в конце концов, может быть редуцировано к индивидуальному опытному знанию. <...> Согласно второму подходу, коммуникационное сообщение является таким же фундаментальным источником знания, что и личный чувственный опыт индивида, и не может быть сведено к последнему. Третья позиция состоит в утверждении приоритета коммуникативного знания: коммуникация – источник и условие опыта, всякого познания вообще» [3. С. 50].

³ В этом же значении отечественные авторы используют термины «народная культура», «крестьянская культура», «традиционная сельская культура», «традиционно-бытовая культура».

М. Фуко), который является коррелятом социокультурной деятельности по поддержанию иерархии идеальных ценностей и социальных установлений. Термин «поддержание», как представляется, подразумевает не только трансляцию этих воззрений и норм новому поколению во избежание их крушения и исчезновения с уходом стариков. Одновременно он учитывает и непрерывное (вос)производство данных идеальных объектов, поскольку традиция не наличествует в мире как раз и навсегда созданная сущность, а постоянно конструируется, переписывается на языке сегодняшнего дня.

Для передачи символических ценностей люди используют разнотипные социальные практики (см. работы Ж. Батая, П. Бурдьё, Ж.-Ф. Лиотара, П.С. Сангрена, К. Марч, М.К. Петрова, Д.Б. Зильбермана и др.), и дискурс – лишь один из механизмов культурной репродукции. Вместе с тем Н. Рис, находясь в позиции внешнего наблюдателя¹ русской лингвокультуры, настаивает на том, что «у русскоговорящего сообщества речевое общение представляет собой главную арену производства социальных ценностей. <...> Разговор – это не та деятельность, которая описывает процесс создания ценностей, а та деятельность, в РАМКАХ КОТОРОЙ, в ХОДЕ КОТОРОЙ и ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОЙ на деле создаются социальные ценности» [7. С. 55]. Таким образом, вопреки установке психолингвистики на разделение речевой коммуникации и социальной интеракции [8] в данном случае происходит совмещение этих феноменов. Полагаем, что это касается дискурса всех идеальных ценностей, сформированных русской культурой.

Поскольку анализ дискурса предусматривает учет психологических, социальных, национально-культурных, прагматических и подобных факторов, сделаем два замечания такого рода. На нынешнем этапе исследования можно утверждать, что тексты, порождаемые дискурсом традиции, встраиваются в рамки отчетливой гиперструктуры диалога. Он протекает в условиях неравноправия участников: чужак, или неофит, или «младший» в иерархии социальной группы задает вопросы признанному (легитимному) носителю традиции и получает его ответы. И хотя повседневностью обусловлено неинституциональное объединение субъектов этого дискурса, свободная мена названных коммуникативных ролей им принципиально не свойственна.

3. Речевые жанры, предназначенные для передачи традиции. Всякая дискурсивная формация – это несколько аморфное единство «тематически общих» текстов, агломерация, которую исследователи для удобства описания стремятся структурировать на разных основаниях, в том числе разделяя на жанры² – модели организации формальных средств и структур того или иного речевого события и речевого произведения. В свое время М.М. Бахтин резюмировал: «Номенклатуры устных речевых жанров пока не существует, и пока даже не ясен принцип такой номенклатуры» [10. С. 259]. И несмотря на то, что сегодня выделены уже 295 жанров [9], практически во всех подверг-

¹ Любой внешний наблюдатель выделяет какую-либо содержательную или формальную характеристику чужой культуры прежде всего на основании отрицания ее в культуре собственной.

² «Наибольшее число работ, посвященных данной проблеме, находим, как ни странно, не в собственно жанроведческих исследованиях, а в чрезвычайно многочисленных и неоднородных по принятым концепциям и используемым методам исследованиях по дискурсу, посвященных классификации т и п о в д и с к у р с а на разных основаниях», – констатирует в 2010 г. В.В. Дементьев [9. С. 157].

шихся исследованию дискурсивных массивах речежанровая сегментация далека от завершения по причине, названной тем же М.М. Бахтиным. Она заключается в неисчерпаемом разнообразии социального взаимодействия, в неизбежно возникающих новых его видах, вызываемых к жизни изменившимися условиями, в которых существуют люди. Так, например, упоминавшаяся выше монография Н. Рис [7] посвящена многочисленным (от традиционно описываемых до оставшихся за рамками всех существовавших на тот момент классификаций) жанрам вновь сложившегося «катастрофического дискурса», который сопутствовал резким преобразованиям в области политики, экономики и права в эпоху поздней горбачевской перестройки и распада СССР.

Тем не менее вполне определились противоположные позиции, с которых лингвисты¹ предлагают разграничивать и обозначать элементы жанрового поля.

Ряд авторов разделяют убеждение А. Вежбицкой в том, что выработанные лингвокультурой речевые жанры (или же их компоненты типа речевых стратегий и тактик, речевых действий) язык непременно маркирует («типизирует») лексически. «Отнесенность конкретной речевой деятельности к тому или иному речевому жанру определяется способностью носителей языка идентифицировать его и назвать как таковой. <...> Разумеется, при описании конкретного речевого действия носитель языка может и ошибиться (например, принять совет за просьбу или приказ) или употребить неточное обозначение – важна принципиальная возможность идентификации речевого жанра в данном языке», – отмечают Е.Я. и А.Д. Шмелевы [12. С. 194–195]. Вследствие такого подхода, первоначально выделенные и удовлетворительно описанные к настоящему времени жанры соотносятся с глаголами и именами речи, которые обозначают «наивные» интенции говорящего.

Не опровергая тезиса, что речевой жанр – это форма выражения коммуникативного намерения, другую позицию достаточно афористично сформулировал в 2014 г. В.В. Дементьев: «Часто наличие названий в коммуникативном концепте² (жанров, речевых актов, стратегий, тактик, ролей, типажей) признается определяющим фактором, хотя, как известно, при изучении концептов в целом лексический компонент – исключительно важный, но далеко не единственный» [14. С. 31]. Не раз был высказан и более радикальный взгляд. Например, Н. Рис, настаивая на том, что человек, воспитанный и сформированный русской лингвокультурой, так же тонко чувствует «непопадание» в русский речевой жанр, как и в русскую грамматику, полагает, что он

¹ Кроме собственно лингвистических концепций речевого жанра, в рамках широкой теории словесности разработаны строгие подходы, применяемые в литературоведческих и медийных исследованиях. Прочие гуманитарии, например социологи, психологи, этнометодологи и др., более свободны в своих классификациях речевых действий. Прочитав К. Трейси и Дж. С. Роблз, американских «специалистов по коммуникации», занимающихся дискурс-анализом (качество перевода этой книги, впрочем, оставляет желать лучшего): «Упреки – это термин, используемый, чтобы назвать «семейство» речевых актов, путем которых один человек поднимает вопрос о ценности, разумности или приемлемости действий другого человека <...>. Повседневные термины, которые используются, чтобы назвать упреки, включают (лексемы. – Г.К.) «критиковать», «делать выговор», «придираться», «обвинять», «ставить под вопрос чье-либо суждение или решение», «требовать объяснения» и «вступать в противоречия» [11. С. 147].

² В этом значении используется также термин «метаконцепт» [13].

при этом «затруднится **назвать** (выделено мною. – Г.К.) жанр собранных ею текстов «катастрофического дискурса» [7. С. 77–78].

Дискурсивный корпус традиции предсказуемо предстает разножанровым пространством. Принимая вторую точку зрения и опираясь на степень директивности (категоричности) и стереотипности подачи информации в текстах данного функционального типа, на нынешнем этапе исследования можно вычленить в нем такие речевые жанры, как «передача эстетики традиции (категории прекрасного)»¹, «передача этики»² традиции (категории долга, нормы), «передача мотивировки традиции (категории причины)»³, «передача технологий традиции (категории норматива)». В данном перечне директивность возрастает «слева направо», и поучения в текстах последнего жанра носят наиболее безапелляционный характер, так как отход от выработанной и утвердившейся технологии чаще всего влечет за собой немедленные негативные материальные последствия.

Вопрос об объеме и границах конкретного текста, воплощающего речевой жанр, с одной стороны, активно никогда не обсуждался, а с другой – все же стоит на повестке дня (см. работы Т.И. Стексовой, Н.В. Большаковой, Г.Г. Москальчук и др.). Закономерной кажется большая ясность границ письменных жанровых реализаций, где а priori строже соблюдается «информативная модель». Письменные тексты, подвергающиеся сегодня речеведческому анализу, нередко имеют значительный объем. В качестве же устных речевых произведений большинство авторов рассматривают микротексты (две-три реплики диалога). В принципе такой подход – это родимое пятно смежной с жанроведением (генристикой) теории речевых актов [16, 12]: ее сторонники работают прежде всего с «первичными», «элементарными», «одноактными» короткими высказываниями, не ставя вроде бы под сомнение существование речевых актов «больших форм». И хотя А. Вежбицкая, М.Ю. Федосюк, В.В. Дементьев, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова и др. подчеркивают, что дело не в количественной стороне и жанроведение должно сосредоточиваться на иных аспектах текста, безусловно, настала пора обратить внимание на жанровую специфику пространных континуитетов уст-

¹ Подробнее см. [15].

² Имя *этика* так же чуждо для рассматриваемого корпуса текстов, как и *традиция*. Кроме того, выделенный жанр однозначно и резко отличается от тех, которые функционируют в стереотипно понимаемом Н. Рис русском «моральном дискурсе»: «Ряд распространенных дискурсивных жанров можно отнести к преимущественно женской рубрике «об общественном порядке», фокусируемой на соблюдении правил поведения, с одной стороны, и на поддержании традиционной системы культурных отличий – с другой. <...> Русские часто говорили, что женщины с помощью сплетен, упреков, отчитываний, нотаций и других имеющихся в их распоряжении дискурсивных механизмов, а также через свои должностные посты (чиновницы, педагогические, медицинские) сдерживают и контролируют мужчин, остальных женщин и, разумеется, детей. <...> Часто женские упреки, порицания и наставления бывают построены так, что в них содержатся указания на определенные поведенческие нормы (а следовательно, и на желательность их выполнения)» [7. С. 133–134].

³ Ср. позицию фольклориста А.Б. Мороза, который в 2004 г. вычленил специфический функциональный тип текста, назвав его «мотивировка этнографического факта»: «В сущности, мы имеем дело с особым жанром. <...> Тексты-мотивировки не столько объясняют его (этнографического факта. – Г.К.) истинную цель или происхождение, сколько интерпретируют исходя из сиюминутного понимания этнографического факта носителями традиции в целом, отдельными социальными, возрастными или половыми группами или просто индивидами. В ряде случаев мы имеем дело даже с импровизациями» [16. С. 175].

ной речи. Объективная трудность решения этой задачи обусловлена тем, что спонтанный устный речевой поток с его тематическими повторами, разрывами, лакунами и под. нелегко сегментировать на целостные смысловые участки с верифицируемыми границами.

4. Запись приведенного ниже довольно объемного (286 знаменательных слов) текста, который воплощает жанр передачи традиционной этики, сделана в 1974 г. в с. Гынгазово Шегарского р-на Томской обл. от Анны Ильиничны Головачевой (1912 г.р.). Два вопроса диалектологов и информация поясняющего характера даны в квадратных скобках. При переводе аудиозаписи в письменную форму отражены собственно диалектные и диалектно-просторечные явления фонетического (включая акцентуацию) и грамматического уровня, общерусские черты переданы в соответствии с нормами орфографии и пунктуации литературной подсистемы.

Текст для удобства его метаописания разбит на условные тематические фрагменты – участки, где сохраняется единство темы. Даже при отсутствии в нем явно эксплицированного зачина и концовки, т.е. утвердившихся в лингвокультуре инициальных и финальных формул, можно говорить о достаточной цельности его содержания.

<p><i>А я счас одна живу. А тут вся семья была раньше. Много нас, детей, было у родителей. И родители тут помёрли и две сестры. А тоды я с сестрой жила вдвое [вдвоём]. А таперь сестра в Томским живёт, это подыскался её какой-то старик из [села] Бабарыкина. А ему в Томским брат ли сын какой-то дом купил, то ли коператив, то ли ешо как-то. Вот её туды и позвал. Она на год старше меня, но чё ей не ехать, али дети её держали, али хозяйство како? Не было у её детей-то. Муж у её на фронте убитый. А она так и осталась одна. Последне время мы так и жили вдвое с ней.</i></p>	1-й тематический фрагмент
<p><i>[– А у вас детей тоже нет?] Мои дети поразъехались кто куда. Вот я и одна таперичка. Никому не нужная. Да, много кому я таперь нужная... А таперь стара. А так живу одна, уж и помирать Господь скоро заставит. Господи, скорей бы уж. Дети есь, да какой от их прок?</i> <i>[– А почему вы говорите, что проку нет?] А хто куды разъехались. Разе оне спросят у меня басловения [благословения]? Нет, таперь не таку дети пошли, как раньше. Тоды во как родителей боялись! А этим разе охота со старой матерью жить? А раньше? Старики-родители жили до самой смерти со мною, а померли оне в [19]50-х годах. Мать раньше, а отец ешо долго потом-от-ка жил. А мои дети хто где. Аж страино становится. По свету раскиданы, как кукушки. Младший сын в армии служит. Таперь уж скоро прийтть [должен]. А прийтть чё? Обженится, а хто ему запретит? Года подошли – женись. А другой сын на лектростанции в Томским работат.</i></p>	2-й тематический фрагмент
<p><i>Не-е, я на их жалуюсь, стара, вот и рассказую всё. Живёт сын хорошо, правда безденежно, да таперь все так в городе живут. Говорила ему: приезжай суды, корову заведёшь, свиней, да и жили бы припеваючи. А чё? Нет. Потому что сноха городска кака-то. Ехать в деревню не хотит. Она суды-то придет с ним на отбых и то боится переломиться. Мало что поможет [делать по хозяйству]. Хоть бы побелила в избе. А пол мыть начнёт – срам единый. Я уж ему говорила, что [она мне] говорит: «Мамаша, у нас какая-то палка», – там у их есь, вот они и моют палкой пол. С ума посживали люди. [И]ли может, я стара, сумасшедша становлюсь. Ну глаза бы мои не смотрели на их работу. На коленак пдзат – пол моет, ну ладно, хыть моет, а то друзи и этого не дождутся. А так чё? Живу. Изба у меня есь, дрова зимой есь, еда есь. И деньги государство за работу платит – 20 рублей.</i></p>	3-й тематический фрагмент

5. Универсальные черты дискурса традиции. Итак, носитель традиционной культуры предьявляет точку зрения и глубину осознания темы, приущую не теоретику, исследователю или эксперту, а «рядовому человеку», от чьего интереса почти всегда ускользает интерсубъективно разделяемая стабильная норма – иначе говоря, практикуемая часть традиции, актуальная на текущий день конфигурация ее элементов, ее нынешняя основа. Безусловность исполнения заставляет воспринимать эту часть как рутину. Привычное, обыкновенное, рядовое, постоянное, однообразное, стереотипное, стандартное почти не привлекает внимания и не становится предметом непрофессиональной рефлексии.

В зону непосредственного жизненного интереса и, как следствие, в фокус коммуникации регулярно попадают те звенья традиции, которые метафорически могут быть названы ближней периферией поля традиции. Такая практика вчерашнего дня еще вполне помнится, осознается, но уже не претворяется в жизнь. В результате коммуникативно разрабатывается лишь мотив «умаления», «ослабления», «исчезновения», «ухода» и даже «забвения» традиции или же ее «искажения», «нарушения», «разрушения». Наличный материал, собранный этнографами, фольклористами и диалектологами, заставляет предполагать, что для дискурса традиции не существует мотива творческого развития¹, так сказать, мотива благотворной изменчивости: прежде всего в нем педалируется неизменность, стабильность, связанная, впрочем, с модулем «должного»², но отнюдь не «наличного» состояния мира.

Дискурсивная практика передачи традиции сопровождается процессом конструирования идентичности субъектов дискурса во имя ее поддержания или изменения. Ролевая (интеракциональная) идентичность³ отвечающего участника диалога оказывается двойственной: он предстает в своих собственных глазах более сведущим по отношению к вопрошающему собеседнику и одновременно выступает всего лишь «свидетелем», «передатчиком» истины (конструкция *расскажу всё* в 3-м тематическом фрагменте как раз эксплицирует роль «транслятора»), но не ее «знатоком», «источником». Эта же идентичность выводится и из имплицатуры *а кто ему запретит?* (2-й тематический фрагмент). Дискурс традиции зиждется на той аксиоме, что подлинный знаток, равно как и источник традиции, никогда не наличествует в реальном бытии «здесь и сейчас». Для придания этим абсолютам высокого авторитета они исключены не только из конкретного акта трансляции, но даже из профанной «мы-группы» равных транслятору-рассказчику⁴.

¹ Показательно, что стабильность vs. вариативность традиции, ее ориентация на сохранение vs. развитие – это тема острой теоретической полемики во второй половине XX столетия, см. работы Э. Шилза, Ш. Айзенштадта, Я. Ассмана, П. Нора, А. Кребера, Э. Гиденса, С.А. Шандыбина, А.К. Байбурина и др.

² Семантические компоненты ‘должен’, ‘надо’, ‘необходимо’, ‘следует’, ‘надлежит’, ‘подобает’ представляют ситуацию не осуществленной в прошлом и не осуществляемой в настоящем.

³ Единой типологии идентичностей нет. Здесь используется трехуровневая схема К. Тейси и Дж.С. Роблз [11]. Отечественные авторы сосредоточены главным образом на базовых идентичностях первого уровня, которые принято считать относительно стабильными от ситуации к ситуации (см. работы М.Н. Губогло, С.С. Савоскула, Г.И. Солдатовой и др.).

⁴ Ср. записанные в разное время типичные высказывания, где авторы подчеркивают свою роль транслятора материала культуры, но не его знатока (записи извлечены из Среднеобского диалектного архива Томского госуниверситета): А.В. Серебrenикова (1901 г.р.): *Иван-Купала, значит. А накануне*

Указанные моменты – *status rerum* для всего дискурса традиции в его жанровой диверсификации. Предстоит выяснить, каковы же черты, обнаруживающиеся собственно в жанре передачи этики в отличие от смежных жанров (см. п. 3), становящиеся сигналами жанровой принадлежности? Каковы, наконец, те признаки (параметры), что отделяют его от неоднократно к настоящему моменту проанализированных диалектологами меморатов? Последний термин покрывает тексты, близкие по своей содержательной ориентации, – это и изустные свидетельства очевидцев, и воспоминания, и автобиографии, другими словами, рассказы людей, некогда лично и эмоционально вовлеченных в описываемые события. Некоторая содержательная и формальная общность меморатов с приведенной записью ставит задачу резче очертить границы между этими функциональными типами текстов.

6. Жанровое своеобразие передачи традиционной этики.

6.1. Концептуальная насыщенность. Сама по себе вербальная трансляция традиции, безусловно, не исключает сосредоточенности участников на любом из ее звеньев от материальных средств и способов действий (обычаев) до идей и базовых ценностей, но заметной коммуникативной выделенностью отличаются основные концепты традиционной культуры, представляющие «крестьянские начала» русского мира. При этом они детерминированы не только бытием, но и бытом, не только экзистенциальными, сущностными, духовными, но и витальными, плотскими потребностями человека (см., например, работы Л.Г. Гынгазовой о картине мира носителя традиционной культуры В.П. Вершининой (1909–2004)).

В 2004 г. Г.Г. Слышкиным [13] была высказана мысль о «концептуальной насыщенности жанра»: миромоделирование, вершась в определенных жанровых рамках, чаще всего опирается на один-два системообразующих концепта и ряд конкретизирующих их частных. Независимо от этой идеи диалектологи, смотрящие на речевую эмпирию с иной стороны, неоднократно указывали на то, что «базовыми», «стержневым», «ключевыми» для диалектной коммуникации и особенно для жанра меморатов являются концепты ЖИЗНЬ и РАБОТА. Их статус косвенно доказывает и то обстоятельство, что они не только «мыслятся» и «переживаются», но обрели устойчивый этический компонент и ценностно ориентированы на фоне почти полного отсутствия в дискурсивной практике диалектоносителей метафизических концептов БЛАГО, ДОБРО, ДОЛГ, ЧЕСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, МОРАЛЬ и т.п. Стоит, впрочем, подчеркнуть: хотя концепт максимально эксплицируется в тексте, все же любой текст воплощает лишь «часть» или же «версию» концепта, обусловленную типом дискурса и жанра.

Итак, для анализируемой записи «образующими» являются концепты ЖИЗНЬ, РАБОТА и СЕМЬЯ. Именно они формируют ее содержательно-

Аграфена-Купальница была. Пошто говорят так, не знаю. (Кем. Юрг. Вар., 1970); П.С. Овсянникова (1909 г.р.): *Это ешио наши деды говорили, а мы это не знам.* (Кем. Юрг. Новором., 1972); В.П. Вершинина (1909 г.р.): *Волосья седь да страины да. Хожу как болудница. [– Так скажут, если без платка?] Ну, ну. Либо скажут «баба-яга». [– Это нечистая сила?] Чё-то так. Худь чё-то. [Так говорила мать:] «Болудница. Заплети хоть расчеши голову-то, как болудница!» А кака болудница – я не знаю.* (Том. Том. Верш., 1986); М.Е. Приходько (1931 г.р.): *Вот я даже не могу вам [это слово] чисто объяснить. Это вот отец бы покойничек был, он бы объяснил. А я-то всё путанно.* (Том. Колп. Сар., 1984).

тематическое ядро, при этом их текстовая реализация возникает благодаря совокупности значений целого ряда лексем. Столь многообразная репрезентация – признак важности для конкретного автора разворачиваемого концептуального содержания.

Постоянная апелляция к ЖИЗНИ характерна для всех тематических фрагментов текста. Планом выражения концепта, «входами» в него становятся оппозиты *жить* (11 актуализаций) и *помирать, смерть, убитый* (5 актуализаций). Частота обращений к РАБОТЕ и СЕМЬЕ соответственно нарастает / снижается от 1-го к 3-му фрагменту. Апелляция к концепту РАБОТА носит еще более дисперсный характер, чем в рассмотренном выше случае: эту функцию, помимо лексемы *работа*, реализуют единицы *хозяйство, отдых, помогает*, а также номинации конкретных видов деятельности или ее объектов (*побелить, мыть, на коленках ползать, корова, свиньи*), которые устойчиво ассоциируются с трудом вообще или же с постоянными крестьянскими заботами. Номинация *семья* вновь актуализована лишь в самом начале текста, но оязыковляющие далее это концептуальное содержание 23 лексические единицы оказываются более «однотипными», поскольку все они репрезентируют слот ‘члены семьи’: *родители, мать, отец, дети, сестра, брат, сын, муж, мамаша* ‘свекровь’, *сноха*.

На первый взгляд выявленный «концептуальный набор» не позволяет говорить о различиях между меморатами и передачей этики. Принципиальным, однако, представляется факт обращенности заявленного жанра к еще одному ментальному образованию. Идеальное мироустройство в традиционной культуре связано с этическим концептом, который известен под именами СТАРИННЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ЛЮДИ, СТАРИКИ [18]. К нему отсылает номинация *старики-родители*: ее возрастная маркированность во 2-м тематическом фрагменте на фоне нескольких немаркированных обозначений *родители* как раз «стирает» референцию к конкретным матери и отцу и актуализует концептуальное содержание ‘носители смыслообразующей матрицы мира’.

6.2. Категория времени. Наряду с отсылкой к жанрообразующему концепту маркер «старики» высвечивает особую значимость для жанрово же обусловленной картины мира параметра времени. А в чем проявляется своеобразие трактовки времени на других уровнях организации данного текста?

Прежде всего, стоит вернуться к особенностям построения и подтверждения идентичностей автора. Бросается в глаза, что именно спекулятивное, умопостигаемое время, принимая личину возраста, позволяет нарратору создавать нетождественные идентичности. В границах текста его возрастное самоопределение резко видоизменяется, коррелируя с противопоставленными личностными аспектами «Я».

Пока он конструирует свою идентичность с детьми, исполняющими законы семейного общежития (*Много нас, детей, было у родителей; Старики-родители жили до самой смерти со мною*), социальный лик окружающей действительности соответствует матрице-традиции: *А тут вся семья была раньше; много детей; Тоды во как родителей боялись!* Смена коммуникативного фокуса приводит к тому, что нарратор выстраивает свою идентичность уже с возрастной когортой профанных стариков (*таперь стара; стара вот; уже и помирать Господь скоро заставит*), а состояние «жизненного

мира» осмысливается им как извращенное, нарушающее разные – а может быть, все? – аспекты традиции: *одна таперичка; живу одна; никому не нужная; рзе охота со старой матерью жить; рзе оне спросют у меня басловения.*

Весьма показательна настойчивая (дважды во 2-м и дважды в 3-м тематических фрагментах) актуализация темпорального самоопределения *старая*, хотя на момент записи рассказчику нет 62 лет, т.е. «старость» в данном случае – это ситуативная оценка, опирающаяся, впрочем, на каноны традиционной культуры¹. Согласно им именно старость обуславливает накопленное духовное богатство – знание и опыт, именно старость дает право (эту установку культуры прямо выражает поговорка: *чем старше, тем правее*) учить и поучать, т.е. передавать знания и опыт молодым². А в определенных обстоятельствах право оборачивается своей противоположностью, превращаясь в нравственный долг. Автор провозглашает максимум соблюдения этой нормы: *стара, вот и рассказую всё.*

Жанрообразующий мотив, который разрабатывает транслятор традиции – это обусловленное временем изменение, искажение тех нравственно аргументированных обычаев и норм межпоколенческих взаимоотношений, которые образуют этическую категорию «долг». В крестьянской семье эта трансформация коснулась не только младшего поколения (сын, младший сын, дети, сноха – это основные субъекты отрицательно оцениваемых новаций), но даже ровесников нарратора, входящих в старшую возрастную когорту (сестра).

Безусловно, в дискурсивных практиках роль категории времени не исчерпана построением идентичностей субъектов и объектов коммуникации. Временная перспектива диктума, по мысли Т.В. Шмелевой, – это один из тех параметров, которые и формируют, и позволяют оценивать жанровую специфику нарратива (не отменяя, впрочем, методического посыла, что выделение жанра должно вестись по комплексу признаков).

Итак, в меморатах если не господствует однозначно, то побеждает перфектная перспектива. В результате для текстов этого функционального типа тривиальны нарушения хронологической последовательности, но в них нет регулярного противопоставления темпоральных срезов действительности на содержательном уровне. Жанровый канон диктует интерпретацию прошлого, былой жизни как нелегкой (почти всегда), трагической (часто) или же ничем не отличающейся от такого же полного испытаний настоящего. Нынешняя реальность может и вовсе оставаться за рамками актуального интереса нарратора, хотя именно она задает систему оценок³.

Кроме того, само по себе воспоминание и «рассказывание» предполагает, что рассказчик помимо ЖИЗНИ и РАБОТЫ сосредоточен на событийных концептах. Он обращается к былым событиям, происшествиям, случаям, ис-

¹ По данным этнографов XIX в., в Сибири родители считались стариками после свадьбы старшего сына, то есть примерно с 40-летнего возраста для мужчин и еще более раннего для женщин [19].

² Направление такой передачи (субъектно-объектные отношения в процессе инкультурации) положено в основу широко известной классификации типов культуры М. Мид.

³ На уровне теоретической рефлексии аксиома о постоянном конструировании прошлого исходя из условий и задач настоящего введена модернизмом [20, 21].

ториям, оказиям, казусам, эксцессам, определившим хоть и типичный, но все же индивидуальный рисунок его судьбы. А поскольку для событий как динамичных процессов значимы длительность и локализация во времени, в нарративы неизбежно вводится множество разнотипных и разноструктурных лексических темпоральных «ориентиров», «привязок», «вех» и пр. Их спектр детально изучался не только лингвистами¹. Помимо циклических календарных и конфессионально-культурных маркеров времени (типа «в октябре», «на масленицу», «перед родительским днем»), в меморатах значительная доля приходится на маркеры событийные. В их роли выступают номинации значимых для «мы-группы» рассказчика исторических событий общенационального масштаба, уникальных бытовых девиаций и стереотипных узлов биографической схемы. Такие маркеры даже при их несовпадении у представителей разных «мы-групп»², т.е. при определенной индивидуализации, позволяют достаточно точно локализовать диктумное содержание в структурированном континууме прошлого³.

Для жанра передачи этики, напротив, содержательно-тематически релевантна не событийность (читай: уникальность, неповторимость) бытия, а заполнение, «оплотнение» мироздания материальными и нематериальными объектами (вплоть до идеальных символических форм, обычаев и порядков), несущими на себе печать человеческой активности, телесной, социальной и духовной жизни людей. Внимание говорящего направлено на константное и неустранимое противостояние темпоральных модусов реальной действительности. Ими становятся образцовое минувшее vs. сущее ныне, однако неполноценное, ущербное в своем существовании, так как наличествовавшие некогда объекты теперь отсутствуют либо их свойства и качества претерпели необратимое изменение. В силу того, что модус будущего вообще исключен из данной модели мира, оппозиты оказываются комплементарными⁴, как, на-

¹ Широко известная работа П.А. Сорокина и Р.К. Мертона «Социальное время: опыт методологического и функционального анализа» была опубликована в 1937 г., и с тех пор интерес к этому вопросу обоих авторов и их последователей не затухал.

² Ср. свидетельство В.А. Тишкова, директора Института этнографии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая. На примере своей семьи он сопрягает событийные маркеры времени с групповой, коллективной и поколенческой идентичностью использующих их россиян: «Моя бабушка Мария Михайловна Тягунова, родившаяся и прожившая всю жизнь в маленьком уральском городке и не знавшая грамоты <...>, обращаясь к давнему личному прошлому, почти не использовала годы или даты, а чаще говорила: «это было еще до переворота», «это было после переворота». <...> Для поколения моих родителей такой знаковой отсылкой было «до и после войны». С годами ушла и эта важнейшая отсылка ко времени. Прежде всего ушла не потому, что изменилось отношение к самому событию, а потому, что выросло поколение, которое войну не пережило и не просчитало через нее ход собственной жизни» [22. С. 15]. Сопоставимые данные для различных возрастных когорт в США приведены Г. Шуманом и Ж. Скоттом [23].

³ Типичные примеры из Среднеобского диалектного архива: *Браття его ешио до революции здесь жили; Жила до перевороту в батрачках; Школу открыли до кольхозов; Я неграмотна, [если бы] отец-то был живой, в германску [Первую мировую войну] не погиб, я бы училась; В городе Остроге во время войны заготовителем на коперции был. У меня в уме арихметика; После японской войны переселение [стольтинское] назначилось; В Новосибирске училась после школы; Месяц, бедный, однако не прожил после свадьбы; Здесь начала работать. Я до замужу всё ходила по людям; Мнук, ага. Ешио до армии женился, здесь приезжал, познакомились, до армии женился и в армии служил; Видел-то [как делают паузок], ешио в армию не ходил; Он [дед] остался токо с матерью. Ну, после пожара; Она у меня после болезни пять лет не говорила. Пойди пойми, что ей надо.*

⁴ Постулат о членении области бессознательного через дуальные оппозиции обоснован К. Леви-Строссом. После работ структуралистов комплементарная дуальность считается универсальным спо-

пример, верх и низ, добро и зло, чет и нечет, и упоминание имени каждого из них непреложно вводит импликацию другого. В жанре передачи этики обозначения временных срезов прошлого и настоящего актуализуют друг друга.

Стандартными лексическими показателями времени при этом служат максимально обезличенные, релевантные для любого нарратива единицы: в представленном тексте это *раньше, тоды* и *таперь / таперичка*. В определенном смысле их можно считать показателями темпорального дейксиса. Интересно, что автор практически не использует дейктический показатель *сейчас* (он актуализован только в первом предложении). Вероятно, это проявление своеобразия конкретной коммуникативной личности, поскольку в дискурсивном корпусе традиции частотность единиц *сейчас / счас* высока. Вопрос о функциональном равноправии *теперь* и *сейчас* не так прост. Дейктическая функция показателя *сейчас* не вызывает дискуссий. *Теперь* же, по мнению И.А. Мельчука [24], обозначает время события всегда в сопоставлении с некоторым событием в прошлом, т.е. основная функция у *теперь* текстовая. Таким образом, дискурсивную интерпретацию движения времени и последствий этого процесса автор сознательно или интуитивно поддерживает и на уровне семантической системы языка.

В приведенной записи *раньше, тоды* и *таперь / таперичка* 11 раз выполняют функцию маркирования широкого временного среза, целой эпохи, особенно часто встречаясь в 1-м и 2-м тематических фрагментах на всего лишь 2 конструкции (*мать раньше [умерла]; таперь уж скоро прийтть [должен]*), которые не решают этой задачи.

Невостребованность более точной локализации обусловлена тем, что и «раньше»-эпоха, и «теперь»-эпоха выступают в качестве неструктурированных, целостных континуумов, говорящему важно лишь указать на них. Используемые маркеры, будучи универсальными, способны обобщать частный темпоральный опыт каждого рассказчика, они снимают индивидуальность точки зрения говорящего и, следовательно, придают выстраиваемой им модели мира стереотипный (истинный и всеобщий) характер. По своей природе стереотип «всегда стремится обозначить бытовую ситуацию как субстанциональную, а субстанциональную опустить до уровня бытового наблюдения» [25. С. 14].

6.3. Категории движения и пространства. Указанная высокая частотность взаимообусловленных маркеров-оппозитов высвечивает характерные темпоральные ощущения транслятора традиции. Вопреки распространенным утверждениям о доминировании в традиционной культуре циклической модели времени, в анализируемой записи движение времени (особенно отчетливо его эксплицирует конструкция *года подошли* из 2-го тематического фрагмента) представлено как линейное. Отнюдь не возвращаясь на круги своя, время приводит в такое же необратимое движение и заполняющие мироздание элементы (*не такц дети пошли*). Как видим, пространственно-

собом не только адаптации в мире, но и описания мира. Широкий круг базовых дуальных оппозиций, извлеченных из мифологии, фольклора, топонимики и пр. (см. работы В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, Т.В. Цивьян, С.М. Толстой, Е.Л. Березович и др.), дополняется многочисленными примерами, представленными в «высокой литературной традиции», например: *Иже нсть со мною, на мя есть: и иже не собирает со мною, расточает* (Мф. 12, 47; Лк. 11, 58) и т.д.

временная метафорика формирует еще один мотив текста – разделение, разобщение прежде единого микрокосма семьи и рассеяние ее членов (*поразъехались; раскиданы*). Разрастание пространства до масштаба Вселенной (*по свету раскиданы*) плюс движение времени и движение объектов (*чѐ ей не ехать; хто куды разъехались*) – смысл двух первых тематических фрагментов записи.

Передвижение членов семьи в физическом пространстве оказывается, подобно движению времени, однонаправленным: оно нацелено вовне, из микрокосма своего дома, устремлено вдаль от говорящего. При описании им обратного движения реальная модальность конструкции корректируется лексически: *ехать в деревню не хотѐт, скоро приѐтѐть [должен]*.

Перемещение людей в чужое пространство приводит к опустению (в тексте четырежды эксплицирована микротема одиночества (*одна*) в противовес прежнему состоянию мира (*много нас было*)) и запустению своего. Полнота бывшего «жизненного мира» 1-го тематического фрагмента прямо противопоставлена его нынешнему опустошению, когда в финале 3-го фрагмента, заключающего весь текст, нарратор перечисляет наличные в «теперь»-эпоху «оплотнители» своего микрокосма: *Живу. Изба у меня есь, дрова зимой есь, еда есь. И деньги государство за работу платит – 20 рублей*.

Выбираемые нарратором маркеры пространства вновь лишены индивидуальных черт. Ими служат либо имена постоянных топосов-оппозитов, базовых для смежного фольклорного дискурса (*в деревню vs. в городе*), где они обозначают не только физическое, но также стереотипное социальное и символическое пространство, либо универсальные дейктические показатели (*тут, суды vs. там у их*). Пространство, в котором в «теперь»-эпоху пребывает сын-отступник в окружении чужаков, обозначено маркером *там*, который, казалось бы, не может уже быть редуцирован к более элементарному дейктическому показателю. Однако *там* способен задавать референцию и к пространству «инобытия» [26. С. 51]. Нарратор усиливает чуждость этого «иноного», «инакого» бытия (которое отличается даже принятым способом мыть пол), обезличивая индивидуальные качества порожденных им и находящихся в его пространстве объектов: *сноха городска кака-то, какая-то палка*. «Дискредитирующая» функция определителя *какой-то* вскрыта и подробно рассмотрена А.Б. Пеньковским [27].

Таким образом, за исключением конкретно-референтных обозначений *Томский* ‘Томск’, *Бабарыкино* и *1950-е годы*, обеспечивающих географическую и историческую привязку диктумного содержания, пространственно-временная система координат в анализируемом нарративе приложима к «миру вообще». В меморатах же пространство, как и время, предстает индивидуализированным, лично окрашенным.

6.4. Жанровое миромоделирование. Видение мира, его целостный образ, как известно, возникает в результате наложения онтологической, пространственной и темпоральной проекций бытия. В жанрово обусловленных картинах мира они, оставаясь взаимосвязанными, оказываются, вероятно, не вполне равнозначными. Например, создаваемый в рамках жанра передачи традиционной этики образ действительности «развернут» к человеку темпоральной проекцией, так как феномен традиции во всех его ипостасях ориен-

тирован на когнитивное доминирование времени. Одной из функций традиции как регулятивного механизма является снятие негативных для человека последствий непрекращающегося отчуждения «жизненного мира», т.е. возникновения в изменившейся действительности новых структур и отношений, которыми и опредмечено время.

Обратимся еще раз к тексту: обретшие бытие в «теперь»-эпоху новации настолько дискомфортны для автора, что трактуются как тотально не соответствующие идеалу. Хорошей жизни, жизни в довольстве, которая описывается в ирреальной модальности желаемого (*да и жили бы припеваючи*), мешает отступничество других – или всех? – людей, включая семью рассказчика, от структур и отношений, которые репрезентировали этические нормы, существовавшие в «раньше»-эпоху, точнее сказать, приписываемые ей (поскольку истинность этой референтной ситуации остается за скобками нашего анализа).

Ключевой в этом смысле предстает антитеза в 3-м тематическом фрагменте текста: *С ума поживали люди. [И]ли, может, я стара, сумасшедшая становлюсь*. Она выражает отношение нарратора к обновленному миру через образ наличествующего в «теперь»-эпоху разлада реальности со здравым смыслом не только в рациональном, но и в моральном аспекте, поскольку трезвое, практичное восприятие окружающей действительности в русском миропонимании тесно сопрягается с нравственностью. И диалектизм *поживали с ума*, и общерусский ЛСВ *сумасшедший*³ описывают предполагаемые конфигурации противостояния нарратора и «мира в целом». Полисемант *люди*, обозначающий антагонистов говорящего, охватывает несколько референтных полей. МАС (с пометой «разговорное») выделяет его значение ‘другие, посторонние лица’. В диалектном дискурсе характер противопоставления себя другим передают маркеры конкретизации, из которых наиболее частотными являются *добрые и старые, старинные*. Немаркированная же форма *люди* в некоторых контекстах¹ приобретает заметный оттенок местоименного значения ‘все’ (ср. семантику коммуникативных диалектно-просторечных клише и паремий *как люди / не как люди; у людей; по-людски / не по-людски; перед людьми (от людей) стыдно; что людям, то и нам*).

Независимо от того, какое из двух найденных объяснений сложившейся ситуации – окружающие утратили нравственно-рациональные ориентиры vs. такие ориентиры утеряны самим нарратором – является истинным, в этой обновленной чуждой действительности человек испытывает тревогу, неуве-

¹ См. типичные примеры из Среднеобского диалектного архива: *Люди-то уж не закрывают [теплицы], а у меня молодцы изурцы, ещё не цветут. Вот. Закрываю; Себя-то не вижу, а за людьми-то замечаю; Ну собирались все деревни, близкие деревни собирались в гости [на престольный день], люди готовились: варили, стряпали; Меня выбирало общество, послали туды. Там восемь дён жили. Четыре рубля пять копеек на все посёлки. Обоюдно. Люди доверялись на мою честность; Люди век в обласке [самодельной долбленной лодке] сидят. Наше дело. Своя [лодка] лучше глянется. Век на рыбалке. Помалёчку... Рыбачим; Я не умею ворожить. Люди-то ворюжат. Пойдут, в снег падают. Один раз ворожили, тмы через заплот [забор из толстых бревен] кидали; Как вывет, так и напевае всяки скверны песни. Сама про себя и то песенку пропела, кода промежду себя собрались. Кто только чё знает, люди рассказывают, такие, скоромненькие [непристойные]; Вот взять, скажем, старцины праздники. Сечас как с ума сошли, то ли уже это блаженствуют люди. Троица – раньше в Троицу на могилки не ходили, не было принято, а только в родительский день... А счас, как Троица, так идут, потому что к этому ешио и пьянство.*

ренность, опасения, боязнь (*аж страшно становится*). Таким образом, стресс, эмоционально значимый кризис индивидуального опыта, порожаемый необратимостью линейного времени, постоянным, непрерывным становлением нового (*стара, сумасшедша становлюсь; страшно становится*), инициирует жанр передачи традиционной, т.е. устоявшейся, этики.

Фактором, который поддерживает функционирование данного речевого жанра, является рассогласование должного и наличного. Должное, или идеал, не наличествуя в реальности, не существуя вне дискурсивного развертывания, в жанровой модели мира¹ помещено в несуществующую «раньше»-эпоху. И идеал, и бывшее равно пребывают лишь в сознании человека.

Темпоральная область «раньше» не только не нуждается в конкретизации и референции, – «раньше» враждебно ей, поскольку целиком мифично, спекулятивно, нереферентно, оно не имеет отношения к историческому времени. «Раньше»-мир – это именно жанровый образ действительности, тех ее выхваченных из неделимой целостности жизни и помещенных в фокус эмпатии черт и сторон, которые кажутся носителю традиции наиболее существенными, важными. Однако любое описание былой реальности – это модель, условность которой высока даже в «дескриптивно безупречных» нарративах об историческом времени.

Как таковая, жанрово обусловленная концепция мира (подобно самому жанру) есть нематериальный инвариант. Материализуются же в конкретных текстах ее бесчисленные варианты, воплощающие один и тот же тип трактовки каких-то сторон бытия, например восприятие времени. Содержательно мемораты и передача традиционной этики равно обращены к минувшему, вместе с тем его жанровые интерпретации разительно отличаются. В картине мира, выстраиваемой меморатами, прошлое всегда исполнено испытаний, невзгод, потрясений, тягот, лишений и утрат. (Интересно, что такую трактовку временных отрезков репрезентируют концепты ЛИХОЛЕТЬЕ, ГОДИНА, совершенно чуждые дискурсивной практике носителей диалекта.) В текстах же, транслирующих традиционную этику, картина былого мира предстает совсем иной: «раньше» – эпоха выступает в качестве нравственного идеала, с невероятной точностью определяемого словарем В.И. Даля как 'образец-мечта'. Этот «вымечтанный» мир создается инверсией всех аморальных, с точки зрения автора, проявлений сегодняшней действительности. На данную особенность неинституциональных дискурсов об ушедшем времени обращает внимание Ф. Анкерсмит [29]: начиная с модернизма прошлое в гораздо меньшей степени внутренне взаимосвязано с этикой, с нравственными целями и идеалами в профессиональной (теоретической) рефлексии, чем в обыденном представлении о нем.

¹ Еще в 2001 г. Ст. Гайда сформулировал положение, которое спустя полтора десятилетия кажется аксиоматичным: «Жанры функционируют как своего рода манифестации картин мира, сформированных в долгосрочном историческом процессе трансформацией социальной реальности и культуры, как их отражение и одновременно инструмент их активного формирования. Каждый жанр способен охватить определенные стороны действительности, каждый обладает присущими ему правилами отбора, формами взгляда на мир и понимания его и имеет определенные возможности с точки зрения широты понимания и глубины проникновения» (цит по: [28. С. 40]).

7. Синкретизм жанра передачи традиционной этики и жанровые границы. Наконец, обратимся к вопросу о лабильности выделенного функционального типа текстов. Очевидно, что принципиальная задача определения границ того или иного речевого жанра, а также потенциала и пределов жанрового варьирования остается нерешенной.

Разделяя широко признанный тезис, что человек по мере овладения языком и, в терминах Л. Вайсгербера, по мере «врастания в языковое сообщество» усваивает не только грамматику языка и его словарь, но и основной репертуар жанров речи, выработанных данной лингвокультурой, при этом многие отечественные и западные авторы говорят о «полевой природе» речевых жанров (В.И. Карасик, Л.С. Бейлинсон), возможности перетекания традиционных жанров «друг в друга в разных направлениях» (Т.В. Цивьян), «протечности» жанров (Н. Рис), их «полиморфизме», «гибридности» (М. Войтак) и т.д. Мы опираемся на сформулированное М. Войтак положение: «Если жанр понимается как набор интересубъектно функционирующих правил, оформленных исторически и культурно и определяющих построение текста, или же как класс текстов, организованных аналогичными правилами, бытующих к тому же в определенном дискурсе (связанных с типичной коммуникативной ситуацией), то для некоторых более сложных жанров должно быть зарезервировано понятие синкретичного произведения, подвижной формы или жанрового гибрида» [28. С. 41–42].

В анализируемой записи нельзя не заметить иножанровое «вкрапление» и некоторые маргинальные, кроссжанровые черты. Прежде всего это касается актуализации в начале 3-го тематического фрагмента перформатива *я на их жалуюсь*¹. В результате задача жанровой квалификации материала имеет два решения.

(1) Перед нами текст, представляющий собой последовательную реализацию ряда самостоятельных речевых жанров – по крайней мере, передачи традиционной этики и бытовой (неофициальной) жалобы.

(2) Это – единая сложная жанровая структура, которая отчасти закамуфлирована субструктурой (или субструктурами). Прибегая к эвристической метафоре, можно сказать, что она отчасти скрыта за «иножанровыми шумами». Найденное М. Войтак удачное терминологическое обозначение «подвижная жанровая форма» применительно к нашей проблематике целесообразно понимать как форму с нестабильной удельной долей «иножанровых шумов»². Именно дискурсивный подход, т.е. учет экстралингвистических факторов, диктует квалификацию данного текста как целостного воплощения речевого жанра передачи традиционной этики.

Второе решение выглядит более оправданным. Дело в том, что феномен речевого жанра предстает не только в качестве набора правил и класса тек-

¹ О некоторой дискуссионности перформативного статуса предиката *жалуюсь* см. [30].

² Анализируемый текст представляет собой реакцию информанта на стандартную провокацию диалектолога: «Расскажите о том, как живете / расскажите о своей жизни». Хорошо известно, что полученные ответы, составляющие сегодня значительную часть материалов отечественных диалектных архивов, были обусловлены различными интенциями, они демонстрируют несовпадающие коммуникативные тактики, реализованные в тех или иных жанрах с примесью неоднородных «иножанровых шумов». Спектр указанных расхождений нельзя назвать широким, но он наличествует.

стов, в которых они реализованы. Кроме того, жанр – это исследовательский конструкт, инструмент, предназначенный для анализа речевой эмпирии. Как и всякая модель, он по определению огрубляет действительность, снимая многообразие ее частных, нередко противоречащих друг другу свойств и проявлений, но позволяет высветить неочевидные связи ее элементов и их сочленений, комбинаций.

С учетом сказанного вернемся к актуализации перформатива *жалуюсь*. Согласно концепции Дж. Остина говорящий, называя данную иллокутивную цель, автоматически совершает и речевой акт, а теория речевых жанров усматривает здесь реализацию речевой тактики или даже речевого жанра «жалоба».

Вместе с тем очевидно, что в русской лингвокультуре ныне функционируют речевые жанры с омонимичными названиями «жалоба», которым свойственны разные адресаты и несовпадающие коммуникативные (иллокутивные) цели авторов. Цель «жалобы-1» (условно «официальной» жалобы) – довести информацию о нарушении прав или интересов автора до лица, которое правомочно исправить ситуацию, и потребовать от него необходимых действий. Этот жанр социально-правового институционального дискурса, входящий в его жанровое поле вместе с обращениями и требованиями, не имеет отношения к предмету нашего исследования. «Жалоба-2» («бытовая» жалоба), сообщая о прискорбном – прежде всего, с точки зрения нравственности – положении дел лицу, которое способно лишь выразить искреннее или фальшивое сочувствие и в соответствии с этическими нормами обязано сделать это, нацелена на достижение эмоциональной разрядки. Социальная интеракция в данном случае призвана содействовать субъективному психологическому эффекту, самоидентификации участников дискурса в качестве носителей морали, воссозданию и даже «пересозданию» некоторых аксиом этики, но никак не изменению объективных обстоятельств. На данном основании «фамильным сходством» с «бытовыми» жалобами обладают сетования, литании¹, ворчание, брюзжание, порицание, осуждение, обвинения.

Далее принцип познания тождества в различии приходится «переворачивать», рассматривая теперь различия сходного² для выявления сущности «иножанрового шума» и степени его влияния на жанровую структуру. Жалобу, литанию и передачу этики на нынешнем уровне исследования материала можно дифференцировать по следующим признакам.

Прежде всего, жалоба предполагает равенство позиций «я» и «мы», иными словами, автор текста, выражая отрицательную оценку чьих-либо поступков или некоторого положения дел, доносит до адресата свою точку зрения или «мы-позицию». Жанрообразующий мотив жалобы – противостояние мо-

¹ Данное терминологическое обозначение, которое в рамках христианской богослужебной практики обозначает молитву, состоящую из повторяющихся воззваний, предложено Н. Рис для специфического, по ее мнению, русского речевого жанра, в котором человек излагает «жалобы, обиды, тревоги по поводу разного рода неприятностей, трудностей, несчастий, болезней, утрат, а в конце произносит какую-либо обобщенно-фаталистическую фразу или горестный риторический вопрос (например, *ну почему у нас все так плохо?*). Завершить литанию может и тяжкий вздох, выражающий разочарование и покорность судьбе» [7. С. 160].

² Так, Н.В. Орлова [31] проводит границу между обвинением и осуждением на основании истинности референтной ситуации, ее монособытийности / полисобытийности.

рально правой стороны и ее антагониста, и здесь вновь не исключается равенство позиций «он» и «они».

Литания всегда транслирует взгляды «мы-группы»: «Начиная рассказ о личных проблемах или бедах в 1-м лице единственного числа, человек вдруг переходит на 1-е лицо множественного числа и начинает оплакивать «наши» трудности, имея в виду всю Россию, или всю интеллигенцию, или весь народ и т.д.» [7. С. 164]. Логично полагать, что предназначение «мы-позиции» в этом жанре – подчеркнуть стереотипность (вос)создаваемой нарратором модели мира. Миромоделирование снимает неизбежные различия между конкретными людьми, составляющими «всю Россию», «весь народ» и даже более узкую категорию «вся интеллигенция». При этом центральным, жанрообразующим мотивом оказывается тотальное противопоставление этических полюсов. Их воплощают не отдельные индивиды, а социальные страты: аморальная власть всех уровней – «они» и носитель морали народ – «мы».

Анализируемая запись, напротив, демонстрирует не просто преобладание «я-позиции», а ее безусловную реализацию через рассмотренную антитезу «нарратор vs. мир в целом». Разумеется, можно допустить, что это еще одно проявление своеобразия коммуникативной личности, дискурсивной стратегии конкретного автора и в текстах данного жанра, созданных другими рассказчиками, абсолютизация «я-позиции» будет смягчена, но вряд ли стоит ожидать ее принципиальной трансформации. Стереотипность создаваемой жанровой модели мира достигается не посредством выхода в «мы-позицию», а через использование универсальных маркеров времени и пространства. Самодовлеющим этическим абсолютом (идеалом) оказываются «раньше»-эпоха и ее представители. Финал рассмотренного нарратива также весьма показатель: *живу*. Автор вновь идентифицирует себя в качестве наследника традиционной этики: жить, преодолевая многообразные трудности и испытания, – это тоже долг, причем гендерно окрашенный, вписанный в широкий русский культурный контекст женского долготерпения и самопожертвования.

Еще одним сигналом жанровой специфики сравниваемых типов текстов вновь становится характер концептуализации времени. События и факты, описываемые в жалобе, как правило, локализованы в недавнем прошлом. Психологически оно выступает частью нескончаемого настоящего, которое не имеет границ и в котором только и может существовать человек. Иными словами, жалоба опрокинута в непреходящую повседневность, несмотря на грамматическую оформленность глаголов в ее текстовой реализации. Литания эксплицирует позицию «над временем», она воспроизводит стереотипы мировосприятия, помещая их в контекст атемпоральной статичной вечности. В текстах этого функционального типа обязательно задействованы не только операторы всеобщности *все, всё*, но и их темпоральный «подвид» *всегда, постоянно, никогда*. В картинах мира, предъявляемых обоими жанрами, время самоотжественно и неподвижно. И только создаваемая жанром передачи этики модель мира конституирована однонаправленным и неустранимым движением времени. Этот мир принципиально изменчив, и в «теперь»-эпоху он отличается от того, каким был в «раньше»-эпоху. Постоянна только оценка данных темпоральных ипостасей, навязываемая автору жанровым канон: «раньше» – это не ступень к «теперь», а его жесткий антагонист. В дру-

гих коммуникативных обстоятельствах в жанре меморатов интерпретация и оценка тех же срезов времени оказывается, как правило, зеркально противоположной.

Итак, традиция аккумулирует опыт самопознания и самовыражения некоторой группы (ее величина может варьировать от семьи до этноса), опыт ее саморегуляции. Этика как составляющая «материала традиции» – это овеществленный результат поисков и осознания ключевых экзистенциальных смыслов, воплощенных в концепты, идеалы, нормы, принципы, императивы. Их формирование – процесс не одномоментный, и моральное существование человека невозможно за пределами традиции, так как мораль не может создаваться заново, с нуля каждым следующим поколением. Кроме того, этика не транслируется в полном объеме через включение новых поколений в предметно-практическую деятельность. Будучи сущностью нематериальной, этика нуждается в опосредующих инструментах. Одним из них становится дискурс.

В силу сказанного следует полагать, что в дискурсивном корпусе традиции жанр передачи этики занимает ключевое положение и имеет необозримую историю. Чем шире расхождение реальности с моральными идеалами, тем, казалось бы, более востребованной становится дискурсивная практика трансляции этики. Вместе с тем своеобразие условий порождения подобных текстов состоит в том, что они всегда являются откликом на дискурсивно же выраженный запрос. Инициатива должна идти от взыскующей ответа стороны.

Литература

1. Шютц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // Мир, священный смыслом. М., 2004. С. 7–50.
2. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004. 560 с.
3. Касавин И.Т. Знание и коммуникация: к современным дискуссиям в аналитической философии // Вопр. философии. 2013. № 6. С. 46–57.
4. Большакова Н.В. Взаимодействие дискурсов в диалектном тексте // Вестн. Новгород. ун-та. 2009. № 54. С. 7–10.
5. Большакова Н.В. К вопросу о жанрах диалектной речи // Язык в пространстве речевых культур. К 80-летию В.Е. Гольдина. Москва; Саратов, 2015. С. 21–26.
6. Калиткина Г.В. Диалектная концептуализация традиции // Картины русского мира: метафорические образы традиционной культуры. М., 2014. С. 15–63.
7. Рис Н. Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., 2005. 368 с.
8. Тарасов Е.Ф. Место речевого общения в коммуникативном акте // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 67–95.
9. Дементьев В.В. Теория речевых жанров. М., 2010. 600 с.
10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 421 с.
11. Трейси К., Роблз Дж.С. Повседневный разговор: Строение и отражение идентичности. Харьков, 2015. 448 с.
12. Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот как текст и как речевой жанр // Русский язык в научном освещении. 2002. № 2 (4). С. 194–210.
13. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2004. 41 с.
14. Дементьев В.В. Актуальные проблемы непрямой коммуникации и ее жанров: взгляд из 2013-го // Жанры речи. 2014. № 1–2 (9–10). С. 22–49.
15. Калиткина Г.В. Трансляция традиции в диалектном дискурсе // Библиотека журнала «Русин». 2015. № 3. С. 167–182.

16. Мороз А.Б. Народная интерпретация этнографического факта // Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию со дня рождения акад. Н.И. Толстого. М., 2004. С. 174–182.
17. Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи. Вып. 1. Саратов, 1997. С. 99–111.
18. Калиткина Г.В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке. Томск, 2010. 296 с.
19. Любимова Г.В. Возрастной символизм в культуре календарного праздника русского населения Сибири. XIX – начало XX в. Новосибирск, 2004. 240 с.
20. Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше?: О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2003. Вып. 10. С. 48–65.
21. Лоуэнцаль Д. Прошлое – чужая страна (1985). СПб., 2004. 624 с.
22. Тишков В.А. Восприятие времени // Этнографическое обозрение. 2002. № 3. С. 14–24.
23. Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений (1989) // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 47–60.
24. Мельчук И. Семантические этюды. I. ‘Сейчас’ и ‘теперь’ в русском языке // Russian linguistics. 1985. Vol. 9, nos. 2–3.
25. Силантьев И.В., Шатин Ю.В. Дискурс и стереотип // Критика и семиотика. 2014. № 1. С. 10–17.
26. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия). М., 1994. 344 с.
27. Пеньковский А.Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. М., 1985. С. 42–63.
28. Войтак М. Генология обиходных текстов // Жанры речи. 2015. № 1 (11). С. 38–50.
29. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. М., 2003. 360 с.
30. Икрабаева М.В. Речевые акты и речевые жанры: соотношение понятий // Вестн. Башкир. ун-та. 2010. Т. 15. С. 636–640.
31. Орлова Н.В. Жанры разговорной речи и их «стилистическая обработка»: к вопросу о соотношении стиля и жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. Вып. 1. С. 51–56.

“OLD I AM, SO KEEP TELLING EVERYTHING”: THE DISCURSIVE CORPUS OF TRADITION AND THE GENRE “COMMUNICATION OF TRADITIONAL ETHICS”

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 22–43. DOI: 10.17223/19986645/42/3

Galina V. Kalitkina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: dasty2@yandex.ru

Keywords: tradition, traditional culture, dialect, discourse, speech genre, ethics.

The article discusses the discursive corpus of tradition that produces ideal values, norms, imperatives orientations of traditional culture and communicates them to new generations. The discourse of tradition appears a predictably multi-genre space.

The subject of the study is a genre designed for communicating ethics (categories of norms and ideals). The purpose of the article is to describe the genre specifics of texts of this function type, as well as the possible manifestation of related genres in them which may camouflage the specifics.

The empirical material is a fragment of the recording of the Middle Ob dialect archive of Tomsk State University, made in 1974 in the village of Gyngazovo, Shegarsky District of Tomsk Oblast. The speech of a traditional culture representative, Anna Ilinichna Golovacheva (born in 1912), was recorded. This text combines attributes (parameters) that are typical of the discourse of tradition itself, in its genre diversification, and traits of the allocated genre of ethics communication.

The author used a cognitive-discursive method of analysis of the conceptual richness of the genre and its world-modeling mechanism. This revealed the basic feature of the genre picture of the world: domination of the temporal projection of being.

The logic of the semantic development of the analyzed text is determined by the genre-forming motif of the discrepancy between the proper and the immediate states of the world. It is expressed in the confrontation the “before”-epoch and the “now”-epoch. A strong member of the opposition is the modus of the past. The “before”-epoch needs no specification and reference; it is modeled based on the inversion of immoral, from the point of view of the speaker, manifestations of today’s reality. The

“before”-epoch assumes the function of an unconditional, self-sufficient ethical absolute. The genre canon requires the interpretation of “before” as a strict antagonist of “now”, and not as a step to it. Stereotyped models of the “before”-epoch and the “now”-epoch provide universal lexical time markers.

The analysis also showed that the nature of modeling the past allows differentiating the texts of the functional type from memorates, broadly represented in the dialect discourse with their content focused on the past. Related speech genres of litany, complaint, conviction that are associated with a description of ethical deviations may again be distinguished from the genre of communication of ethics, for they express static and dynamic time models, respectively.

It is concluded that a combination of methods of time interpretation is one of the constitutive features of the class of texts that form the discursive corpus of tradition.

References

1. Schutz, A. (2004) *Obydennaya i nauchnaya interpretatsiya chelovecheskogo deystviya* (1962) [Ordinary and scientific interpretation of human action (1962)]. In: Schutz, A. *Mir, svetyashchiysya smyslom* [World glowing with sense]. Translated from German and English Moscow: ROSSPEN.
2. Kubryakova, E.S. (2004) *Yazyk i znanie: na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira* [Language and knowledge: towards gaining knowledge about language: Parts of speech with a cognitive point of view. The role of language in the cognition of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury.
3. Kasavin, I.T. (2013) *Znanie i kommunikatsiya: k sovremennym diskussiyam v analiticheskoj filosofii* [Knowledge and communication: on contemporary debates in analytic philosophy]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 46–57.
4. Bol'shakova, N.V. (2009) *Vzaimodeystvie diskursov v dialektnom tekste* [The interaction of discourses in the dialect text]. *Vestnik Novgorodskogo universiteta – Vestnik of Yaroslav the Wise Novgorod State University*. 54. pp. 7–10.
5. Bol'shakova, N.V. (2015) *K voprosu o zhanрах dialektnoy rechi* [On the question of dialect speech genres]. In: Kryuchkova, O.Yu. & Krysin, L.P. (eds) *Yazyk v prostranstve rechevykh kul'tur. K 80-letiyu V.E. Gol'dina* [Language in the space of speech culture. On the 80th anniversary of V.E. Goldin]. Moscow; Saratov: Amirit.
6. Kalitkina, G.V. (2014) *Dialektnaya kontseptualizatsiya traditsii* [Dialect conceptualisation of tradition]. In: RRezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: metaficheskie obrazy traditsionnoy kul'tury* [Images of the Russian world: metaphorical images of traditional culture]. Moscow: URSS.
7. Ris, N. (2005) *Russkie razgovory. Kul'tura i rechevaya povsednevnost' epokhi perestrojki* [Russian conversations. Culture and everyday speech of the perestroika period]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
8. Tarasov, E.F. (1977) *Mesto rechevogo obshcheniya v kommunikativnom akte* [Place of verbal communication in the communicative act]. In: Leont'ev, A.A. et al. (eds) *Natsional'no-kul'turnaya spetsifika rechevogo povedeniya* [National-cultural specificity of verbal behavior]. Moscow: Nauka.
9. Dement'ev, V.V. (2010) *Teoriya rechevykh zhanrov* [The theory of speech genres]. Moscow: Znak.
10. Bakhtin, M.M. (1979) *Eстетика slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow: Iskusstvo.
11. Tracy, K. & Robles, J. (2015) *Povsednevnyy razgovor. Stroenie i otrazhenie identichnosti* [Casual conversation. The structure and the reflection of identity]. Translated from English by A.V. Kochengin. Khar'kov: Gumanitarnyy tsentr.
12. Shmeleva, E.Ya. & Shmelev, A.D. (2002) *Russkiy anekdot kak tekst i kak rechevoy zhanr* [Russian joke as a text and as a speech genre]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii*. 2 (4). pp. 194–210.
13. Slyshkin, G.G. (2004) *Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty* [Linguo-cultural concepts and metaconcepts]. Abstract of Philology Dr. Diss. Volgograd.
14. Dement'ev, V.V. (2014) *Actual problems of indirect communication and its genres: a view from 2013. Zhanry rechi – Speech Genres*. 1-2 (9–10). pp. 22–49. (In Russian).
15. Kalitkina, G.V. (2015) *Translation of the tradition in the dialect discourse. Biblioteka zhurnala “Rusin” – Rusin Journal Library*. pp. 167–182. (In Russian). DOI: 10.17223/23451734/3/13
16. Moroz, A.B. (2004) *Narodnaya interpretatsiya etnograficheskogo fakta* [Folk interpretation of an ethnographic fact]. In: Tolstoy, N.I. & Tolstaya, S.M. (eds) *Yazyk kul'tury: semantika i grammatika*.

K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akad. N.I. Tolstogo [Culture Language: semantics and grammar. On the 80th anniversary of Acad. N.I. Tolstoy]. Moscow: Indrik.

17. Wierzbicka, A. (1997) Rechevye zhanry [Speech genres]. In: Gol'din, V.E. (ed.) *Zhanry rechi* [Speech genres]. Vol. 1. Saratov: Saratov State University. pp. 99–111.

18. Kalitkina, G.V. (2010) *Ob'ektivatsiya traditsionnoy temporal'nosti v dialektnom yazyke* [The objectification of the traditional temporality in dialect language]. Tomsk: Tomsk State University.

19. Lyubimova, G.V. (2004) *Vozrastnoy simbolizm v kul'ture kalendarnogo prazdnika russkogo naseleniya Sibiri. XIX – nachalo XX v.* [Age symbolism in the culture of calendar festival of the Russian population of Siberia. The 19th – early 20th centuries]. Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS.

20. Rösen, J. (2003) *Mozhet li vchera stat' luchshe? O metamorfozakh proshlogo v istorii* [Could yesterday be better? On the metamorphoses of the past in history]. *Dialog so vremenem – Dialogue with Time*. 10. pp. 48–65.

21. Lowenthal, D. (2004) *Proshloe – chuzhaya strana* [The past is a foreign country]. Translated from English by A.V. Govorunov. St. Petersburg: Vladimir Dal', Russkiy Ostrov.

22. Tishkov, V.A. (2002) *Vospriyatie vremeni* [The perception of time]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 3. pp. 14–24.

23. Shuman, G. & Skott, Zh. (1992) *Kollektivnaya pamyat' pokoleniy* [The collective memory of generations]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 47–60.

24. Mel'chuk, I. (1985) *Semanticheskie etyudy*. I. 'Seychas' i 'teper'" v russkom yazyke [Semantic essays. I. 'Seychas' and 'teper'" in the Russian language]. *Russian linguistics*. 9:2–3.

25. Silant'ev, I.V. & Shatin, Yu.V. (2014) *Diskurs i stereotip* [Discourse and stereotype]. *Kritika i semiotika*. 1. pp. 10–17.

26. Yakovleva, E.S. (1994) *Fragmenty russkoy yazykovoy kartiny mira (modeli prostranstva, vremeni, vospriyatiya)* [Fragments of Russian language picture of the world (models of space, time and perception)]. Moscow: Gnozis.

27. Pen'kovskiy, A.B. (1985) *O semanticheskoy kategorii "chuzhdosti" v russkom yazyke* [On the semantic category of "otherness" in the Russian language]. In: *Problemy strukturnoy lingvistiki* [Problems of structural linguistics]. Moscow: Nauka.

28. Wojtak, M. (2015) *Genology of usual texts Zhanry rechi – Speech Genres*. 1 (11). pp. 38–50. (In Russian).

29. Ankersmit, F. (2003) *Narrativnaya logika. Semanticheskiy analiz yazyka istorikov* [Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language]. Translated from English by O. Gavrishina. Moscow: Ideya-press.

30. Ikrabaeva, M.V. (2010) *Rechevye akty i rechevye zhanry: sootnoshenie ponyatij* [Speech acts and speech genres: the concepts ratio]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta – Bulletin of Bashkir University*. 15. pp. 636–640.

31. Orlova, N.V. (1997) *Zhanry razgovornoj rechi i ikh "stilisticheskaya obrabotka": k voprosu o sootnoshenii stilya i zhanra* [Genres of colloquial speech and their "stylistic processing": the question of the relationship of style and genre]. In: Gol'din, V.E. (ed.) *Zhanry rechi* [Speech genres]. Vol. 1. Saratov: Saratov State University. pp. 51–56.

УДК 81'255.2 + 81'373.611
DOI: 10.17223/19986645/42/4

Н.М. Нестерова, Е.А. Наугольных, Е.В. Поздеева

ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВО КАК РЕЗУЛЬТАТ АВТОРСКОГО СЛОВОТВОРЧЕСТВА: ГРАНИЦЫ ПЕРЕВОДИМОСТИ

Статья посвящена вопросу о границах переводимости авторских окказиональных новообразований. С этой целью в статье исследуется роман Дж. Джойса «Улисс». Приводится углубленный сравнительный анализ возможности перевода окказионализмов на русский и немецкий языки. Прослеживается зависимость выбора переводческого приема от структурной близости/дальности языков перевода и оригинала, а также от типа словообразовательной модели, использованной Дж. Джойсом.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, окказиональные слова, перевод, переводимость, словотворчество, словообразовательная модель.

«При переводе следует добираться до непереводаемого, только тогда можно по-настоящему познать чужой народ, чужой язык». Эти слова Гете стали эпиграфом к хорошо известной книге болгарских исследователей С.И. Влахова и С.П. Флорина «Непереводимое в переводе». О переводимом и непереводаемом можно говорить в разных контекстах. Можно, следуя за В. фон Гумбольдтом, считать перевод в принципе невыполнимой задачей, поскольку, как известно, абсолютных межъязыковых соответствий практически не существует. Этот печальный вывод стал следствием философского осмысления феномена перевода, импульсом для которого концепция языка Гумбольдта, считавшего, что наше мышление «ограничено» языком. Такое представление о соотношении языка и мышления стало причиной появления идеи о «непереводимости», поскольку два различных языка являют собой два различных мировидения. «Непереводимыми» являются как грамматика, так и слово. Согласно концепции Гумбольдта прежде всего грамматический строй отражает внутреннюю организацию мышления [1. С. 345]. Однако наиболее «непереводимыми» являются именно лексические единицы. Так, в предисловии к собственному переводу «Агамемнона» он пишет об отсутствии межъязыковых эквивалентных соответствий, причина которого заключается в том, что языки по-разному выражают одно и то же понятие, расширяя или сужая семантику слова, являющегося номинацией понятия в том или другом языке.

Аналогичное мнение высказывает и современник Гумбольдта Гегель: «Природе вещей противоречит требование, чтобы слово языка какого-то народа передавалась таким словом нашего, которое соответствовало бы ему в полной определенности. Слово нашего языка дает наше определенное представление о соответствующем предмете, и именно поэтому не представление другого народа, народа не только с иным языком, но и с иными представлениями» (цит. по: [2. С. 63]).

Немецкий драматург Ф. Геббель также подчеркивал несовпадение значений межъязыковых лексических соответствий. В частности, он писал:

«...слова различных языков лишь в редчайших случаях полностью покрывают друг друга (по значению), потому что каждый народ, называя ту или иную вещь, неизбежно выделяет в ней самое главное для себя свойство» (цит. по: [3. С. 478]).

Такой пессимизм относительно возможности передать значение слова одного языка словом другого был свойствен не только философам-романтикам XIX в., но и философам XX столетия, которые подчеркивали важность именно слова в переводе: «At the beginning of translation is the **word**» [4. С. 75]; «Built into any conception of interpretation is the **word**» [5. С. 162] (выделено нами. – *Н.Н., Е.Н., Е.П.*).

Семантическое несовпадение межъязыковых переводных соответствий объясняется не только тем, что слово передает определенное видение предмета тем или иным народом, но и тесной неразрывной связью одного конкретного слова с другими словами этого же языка, особенно тех, с которыми его связывают синонимические и антонимические, парадигматические и синтагматические, формальные и смысловые отношения. Слово каждого языка имеет «свои собственные» связи, которые при переводе нарушаются. Именно на эту нерасторжимую взаимосвязь слов в каждом конкретном языке указывал Х.-Г. Гадамер, подчеркивая, что ее практически невозможно перенести в другой язык, поскольку она индивидуальна и неповторима для каждого языка и составляет его дух [6. С. 59]. При переносе художественного слова из одной языковой среды в другую неизбежно рвутся ассоциативные связи слова, которые были у него в родном языке, а вместо них появляются новые, свойственные слову-«заменителю» в языке, к которому оно принадлежит. Это и вызывает «переводческие муки» (С. Флорин).

Очевидно, что все вышесказанное относится к непереводаемости как проблеме «глобальной». Однако можно говорить не только о непереводаемости вообще, но и о частных случаях ее проявления – отдельных «непереводимых» элементах художественного текста. Традиционно к таким непереводаемым элементам относят реалии разного вида, фразеологические единицы, каламбуры. Существует и так называемая «безэквивалентная лексика». Благодаря наличию в языках «непереводимых» элементов сегодня в теории и практике перевода принято различать перевод, осуществляемый при наличии переводческого соответствия, и перевод в условиях отсутствия такового. Бесспорно, последний вид перевода не отрицает переводаемости текста в целом, так как «при переводе подобные слова (безэквивалентная лексика. – *Н.Н., Е.Н., Е.П.*) находят те или иные эквиваленты» [7. С. 37]. Однако текст «складывается» из слов, и каждый раз, когда переводчик сталкивается с лексическими единицами, не имеющими соответствий в языке перевода, он имеет дело с частным случаем непереводаемости. Для некоторых из таких единиц отсутствие переводческого соответствия в ПЯ носит временный характер, а для других подобная «безэквивалентность» постоянна.

К лексическим единицам, «обреченным» на постоянную (языковую, словарную) безэквивалентность, относятся окказионализмы. Окказиональные слова – это авторские речевые новообразования, которые создаются в условиях одного контекста и вне его используются только в качестве цитат. Окказиональные слова отличает формальная и содержательная уникальность, по-

скольку, создавая их, писатель заключает *новое* значение в *новую* форму и выходит за границы «внешних», «навязанных» ему языковой системой правил.

По мнению Е.А. Земской, лексические окказионализмы являются «нарушителями законов (правил) общеязыкового словообразования» [8. С. 180], а окказиональное словообразование представляет собой особую подсистему, характеризующуюся отсутствием ограничений, которые действуют в узуальном словообразовании. Окказиональное словообразование использует не только внетиповые способы (например, контаминация, инкорпорирование, междусловное наложение и пр.), но и типовые, «общеязыковые», словообразовательные способы (аффиксация, сложение и пр.), а нередко и сочетание типовых и внетиповых способов¹.

Мы разделяем точку зрения Е.А. Земской, которая считает, что «нельзя дать гарантию, что найдя и охарактеризовав n способов окказионального словотворчества, мы тут же не встретим способы $n+1$, $n+2$ и так далее» [8. С. 190]. Это связано с тем, что любой окказионализм – это результат индивидуального авторского словотворчества, и следовательно, является собой нетиповое явление. Лексические окказионализмы создаются *ad hoc* – для конкретного случая, конкретного контекста. Именно поэтому один из основных признаков окказиональных новообразований – это их неожиданность как для языковой системы в целом, так и для реципиента текста в частности.

Если анализировать содержательную сторону лексических окказионализмов, то можно заметить, что в некоторой степени их значение является суммой значений частей слов, объединенных автором в единое целое. Мы используем оговорку «в некоторой степени», так как для окказионального слова также характерна апелляция к фоновой информации, своеобразная семантическая диффузность, вызванная сочетанием множества сопутствующих коннотаций: смысловых, фонетических, словообразовательных, эмоциональных и иных ассоциаций².

Очевидно, связь формы и содержания для окказиональных слов носит билатеральный характер: необычность (нестандартность) содержания определяется необычностью (нестандартностью) формы, и наоборот. Добавим, что известное высказывание Л.С. Выготского о том, что «мысль творится в слове», в контексте исследования окказиональных новообразований может быть перефразировано следующим образом: «мысль творится словом». То есть окказиональные слова могут служить своеобразным «триггером», некоей стартовой точкой, в которой запускаются в действие механизмы словотворчества³.

Уникальность окказиональных слов имманентна и связана со спецификой их характера: они представляют собой органичный сплав языковой традиции и индивидуальной авторской речи, стереотипного и креативного, прецедент-

¹ Подробнее о способах окказионального словообразования см. [8].

² Проведенные нами эксперименты свидетельствуют о действительной возможности использования реципиентом индивидуальных ассоциаций при приписывании значения окказиональному слову [9, 10].

³ Об этом, в частности, писала С.И. Тогоева, анализируя результаты экспериментов по идеентификации новых слов [11. С. 66–67].

ного и неожиданного; для их понимания необходимы определенные лингвистические и экстралингвистические фоновые знания; они могут вызывать как предсказуемые, так и спонтанные ассоциации. Как уже отмечалось выше, именно благодаря этим особенностям окказионализмы не имеют и не могут иметь постоянных межъязыковых соответствий.

Каждый раз, встретив окказионализм в тексте, переводчик вынужден решать извечный вопрос «что делать?»: передавать окказиональное слово при переводе или опустить его; какие средства языка перевода использовать при передаче окказионального слова; компенсировать ли отсутствие окказионализма в тексте перевода и если компенсировать, то каким образом? Однако эти «переводческие муки» не обязательно означают, что окказиональные слова непереводимы в принципе.

Традиционно процесс перевода определяют как последовательность мыслительных операций и вербализацию ментального образования¹, которое возникает в сознании переводчика при восприятии текста оригинала, средствами языка перевода. Тот факт, что перевод осуществляется в условиях понимания текста ИЯ, является бесспорным. Именно понимание позволяет переводчику сформировать тот ментальный образ (образование), о котором мы упоминали выше, и преодолеть трудности, которые могут возникнуть на стадии вербализации – стадии выбора переводческого соответствия в языке перевода.

Однако в случае, когда переводчику приходится иметь дело с окказиональными словами, проблемы возникают не только при вербализации, но и намного раньше – на этапе создания (формирования) ментального образования, т.е. на этапе понимания окказионализма. Это, несомненно, обусловлено формально-содержательной уникальностью окказиональных слов. Поскольку окказионализм не имеет конвенционального референта (денотата), его проецирование на сознание реципиента носит челночный (неодноразовый) характер, так как всегда сохраняется возможность для спонтанной перестройки формирующегося ментального образования. Проецирование окказионального слова на сознание переводчика строится не на определении референта, а на множестве потенциальных интерпретаций, возникающих в связи с его фонетической и/или грамматической структурой и контекстуальным окружением. Перевод окказиональных новообразований относится к тем ситуациям, когда «автоматизм» понимания отказывает и переводчику приходится строить гипотезы, рефлексировать, принимать переводческое решение.

В связи с этим возникает вопрос: является ли непреодолимой граница понимания, а следовательно, граница переводимости окказиональных слов? Бесспорно, значительную роль при преодолении границы понимания окка-

¹ Под ментальным образованием вслед за А.И. Новиковым и Н.Л. Сунцовой мы понимаем некое образование (субъективную репрезентацию или проекцию текста), формирующееся «в мышлении в результате понимания текста и представляющее собой максимально свернутое его содержание». [12. С. 158]. Текст перевода как вторичный текст – результат последовательности мыслительных операций, «обеспечивающих переход от текста исходного к тексту вторичному. Определяющим моментом в данном переходе <...> является наличие промежуточного звена, отражающего результат понимания» [13. С. 100]. Таким (невербализованным) промежуточным звеном между текстом оригинала и текстом перевода и служит ментальное образование, возникающее в сознании переводчика.

зионализмов играет контекст, который ограничивает (минимизирует) количество вероятных интерпретаций и, значит, управляет принятием переводческого решения: помогает переводчику сделать выбор в пользу одного варианта значения (интерпретации) окказионализма, а затем – и способа его вербализации. Однако в некоторых случаях одного контекста оказывается недостаточно, ведь «эффективность» его работы, как было замечено рядом исследователей, зависит от так называемой степени «языковой обусловленности произведения» [14. С. 15].

Ярким примером романа, где данный показатель несомненно велик, является произведение Дж. Джойса «Улисс». Его перевод на другие языки рассматривается как своеобразный вызов переводчику, а сам оригинал трактовали даже как «unreadable» («не поддающийся чтению»). Мы же в большей степени поддерживаем точку зрения П. Макги, утверждающего, что «такие работы, как «Улисс», напротив, поддаются бесконечному прочтению, поскольку не существует единого исторического кода значения, способного истощить их семантические возможности» [15. С. 7]. Добавим к этому, что бесконечное прочтение, очевидно, подразумевает и бесконечные возможности перевода.

В «Улиссе» слово невероятно многосмысленно, на что справедливо указывают почти все литературоведческие исследования романа. Окказиональные слова в нем не только обладают всеми свойствами, присущими окказиональным новообразованиям. Наряду с этим их морфемы живут собственной жизнью, вступая в новые отношения с другими «частями-черенками», и начинают организовываться в произвольном порядке [16. С. 116]. У. Эко рассматривает перевод романа «Улисс» как особый случай создания текста на языке перевода, требующий радикальной осмысленной переработки первоисточника [17. С. 365]. Учитывая это, возникает сомнение, возможен ли перевод данного произведения или мы имеем дело лишь с иллюзией переводимости?

Выше мы уже упоминали, что в случае создания лексического окказионализма автор заключает новое значение в новую форму. Исходя из этого, можно прийти к заключению, что окказиональное слово носит полностью творческий характер как с формальной, так и с содержательной точки зрения. Однако мы полагаем, что одновременно с творческой составляющей проявляется и стереотипность созданного окказионализма на уровне формы, которая связана, прежде всего, с использованием определенной словообразовательной модели.

Более того, мы считаем, что именно словообразовательная модель, точнее ее «узнавание», идентификация, способствует созданию в сознании переводчика ментального образования, служащего субъективной проекцией текста с языка оригинала. В поисках смысла, скрывающегося за окказиональным словом, кажущимся на первый взгляд бессмыслицей (например, *mangongwheel-tracktrolleyglarejuggernaut*), переводчик нередко восстанавливает «референт», используя морфологическую структуру слова как своеобразную «точку опоры». То ментальное образование, что возникает при этом в сознании перево-

дчика, служит ему основой для создания своего собственного окказионализма¹.

Мы выделили, проанализировали и классифицировали по способам словообразования более 1100 окказиональных лексем Дж. Джойса. Обобщая изученный материал, можно сделать вывод, что в основе тех способов, которые использует писатель, лежат, с одной стороны, типовые словообразовательные модели английского языка, а с другой – модели, универсальные для окказионального словообразования в целом. Процентное соотношение способов словообразования, использованных Дж. Джойсом для создания индивидуально-авторских новообразований, можно отобразить в виде диаграммы (рис. 1).

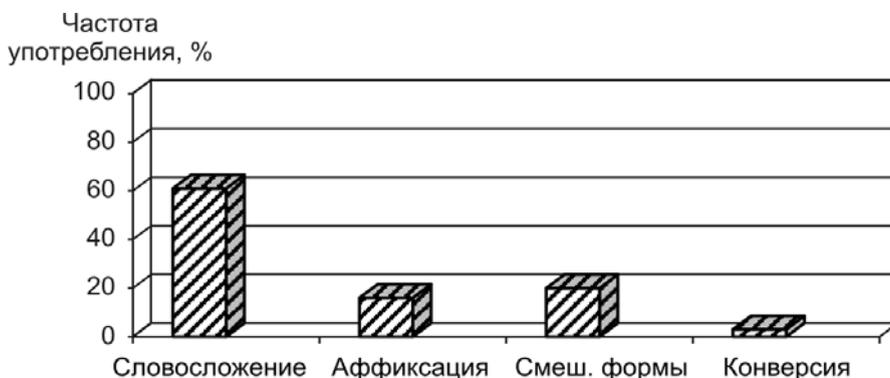


Рис. 1. Соотношение основных способов образования окказиональных единиц

Из приведенной диаграммы видно, что наибольший процент (61 %) принадлежит словосложению. Второе место занимают смешанные способы словообразования (20 %), затем аффиксация (16 %) и конверсия (3 %). Среди словосложения преобладает сложение двух и более основ по словообразовательным законам английского языка при помощи соединительной морфемы и без нее (71 %). На втором месте по частоте использования находится такой подвид словосложения, как слияние, или лексикализация (12 %). Последнее место занимает группа слов, образованных контаминацией и междусловным наложением слов – приемом, описываемым некоторыми лингвистами как подвид контаминации (7 %). Под словосложением в данном случае понимается сложение двух и более основ традиционным способом.

¹ Результаты эксперимента, проведенного нами с целью выявления особенностей понимания окказиональных лексических новообразований и принятия переводческого решения, свидетельствуют о том, что начальным моментом процесса понимания окказионального слова английского языка русским читателем являлось расчленение его на составляющие компоненты. При этом испытуемые исходили из предполагаемой словообразовательной модели, по которой было образовано данное окказиональное слово, поскольку они выделяли компоненты, совпадающие со словообразовательными (корень, аффиксы) [18. С. 161–163].

Нами также исследовались соответствия окказиональных единиц Дж. Джойса при переводе на другие языки. Сопоставительный анализ «переводческих решений» проводился на базе двух русских и двух немецких версий романа. Вместе с общепризнанным первым полным русским переводом романа «Улисс», сделанным В. Хинкисом и С. Хоружим, был рассмотрен современный перевод этой книги, выполненный С. Маховым и опубликованный в 2007 г. Перевод на немецкий язык был выбран в связи с некоторыми особенностями этого языка. Речь идет, прежде всего, о тенденции немецкого языка объединять простые слова в сложные. Поскольку среди всех способов словообразования, использованных Дж. Джойсом, доминирует словосложение, мы предположили относительную «легкость» передачи подобных единиц на немецкий язык. Перевод Г. Гойерта датируется 1927 г. и является первым иностранным переводом «Улисса». Версия Г. Волльшлегера, по мнению критиков, во многом эстетически и филологически превосходит первоначальный перевод Г. Гойерта, однако не лишена ряда ошибок и неточностей [19. С. 72]. Идея сопоставить эти переводы с точки зрения передачи окказиональных единиц на другой язык показалась нам интересной.

Далее примеры приводятся в следующем порядке согласно хронологии написания: оригинальный роман Дж. Джойса, перевод Г. Гойерта, перевод Г. Волльшлегера, перевод В. Хинкиса и С. Хоружего, перевод С. Махова. Сопоставление окказиональных слов Дж. Джойса в романе «Улисс», а также их переводных русских и немецких соответствий позволил сделать ряд выводов. В целом переводчики романа пытались сохранить способ образования окказиональной лексемы и в то же время максимально передать ее семантические компоненты на ПЯ. Таким образом, среди всех способов трансляции окказиональных единиц Дж. Джойса доминирует **создание окказионализмов в тексте перевода по модели окказионализма в тексте оригинала**, иными словами, **калькирование формы**. По мнению В.С. Виноградова, калькировать авторские окказионализмы и создавать свои собственные переводчику позволяет «двойственная природа значения окказионального слова» [7. С. 127]. «Значение индивидуально-авторских неологизмов формирует их внутренняя форма и контекст» [7. С. 127].

He doesn't see my mourning. Callous: all for his own gut. *Musemathematics*. And you think that you are listening to the ethereal [20. С. 266].

Er sieht mein Trauerkleid nicht. Gefühllos: denkt nur an sich und seinen Darm. *Musenmathematik*. Und man glaubt, man lasche dem Ätherischen [21. С. 313].

Stumpfer Kerl: alles nur für seinen eigenen Bauch. *Musemathematik*. Und da meint man, man lauscht dem Ätherischen [22. С. 376].

Не замечает, мол, я в черном. Зачерствел, дальше собственного брюха не видит. *Звукочисла*. А кажется вроде бы слышишь нечто возвышенное [23. С. 268].

Толстокож, даже своего брюха не видит. *Музматематика*. Кажется, будто слышишь нечто возвышенное [24. С. 268].

Очевидно, что окказиональная единица Дж. Джойса «*musemathematics*» была создана с помощью **словосложения**. Именно эта модель прослеживается во всех проанализированных нами версиях романа вне зависимости от

языка перевода. Относительно «прозрачная» модель словообразования и всего две основы, участвующие в создании окказионализма, приводят к практически буквальному переводу или калькированию. Заметим, однако, что лексема, предложенная В. Хинкисом и С. Хоружим, стоит немного особняком, поскольку переводчики в данном случае прибегли к **модуляции** (смысловому развитию) и превратили «математику» в «числа».

Замечено, что наибольшую сложность при переводе закономерно вызывают те единицы, которые были созданы по **смешанным моделям словообразования**. Например, к ним относится сложное авторское новообразование из 7 основ *mangongwheeltrackrolleyglarejuggernaut* (*man + gong + wheel + track + trolley + glare + juggernaut*). Разбивание окказионализма на морфемы происходит различными способами в зависимости от переводчика (*Kerlglockeradgeleiserrolleglitschigerboden* (Г. Гойерт), *Kerlgongradgleisrolleglitzerdschagannath*, (Г. Волльшлегер), *трамгонгфардугрельсджаггернаут* (В. Хинкис, С. Хоружий), *вожатогудкоколесопутедугосветодавилки* (С. Махов)), поэтому восприятие читателями конечной лексемы в тексте перевода не совпадает¹.

В случае перевода окказионализмов, созданных по смешанным моделям словообразования, переводческие решения (стратегии) могут быть различными. В частности, следует отметить, что переводчики Дж. Джойса не всегда создавали свой собственный окказионализм для передачи авторского неологизма, прибегая к разнообразным переводческим трансформациям: а) грамматическим трансформациям (*azureeyed* – лазурь окинула (В. Хинкис, С. Хоружий)); б) лексическим заменам окказионализма узуальным словом (*brawltogether* – побоище (В. Хинкис, С. Хоружий)).

В случае замены окказионализма узуальной единицей в переводе последняя легко воспринимается читателем текста перевода, однако игра со словом как замысел писателя остается при этом раскрытой не полностью. Анализ показал, что именно С. Махов нередко прибегает к замене окказионального слова узуальным (*glassyeyed* – со стекляшкой в глазу, *unbloused* – выпостала из кофточки, *panamahelmed* – из-под панамы шлема, *smilemirked* – хмыкнула). В то же время подобные опущения в тексте его перевода компенсируются появлением окказионализмов там, где у Дж. Джойса использованы узуальные слова (*moonlight* – месяцесветный, *hoofs ring* – ступоным, *lisped a whistle* – просвистошелестел). Даже название романа переведено неологизмом – «ОдиссейЯ». Приведем еще один пример:

Puck Malligan, *panamahelmed*, went step by step, *iambing*, trolling [20. С. 205].

Puck Mulligan, *panamabehelmt*, ging Schritt für Schritt, *jambend*, anstimmend [21. С. 245].

Puck Mulligan, *panamabehelmt*, tat Schritt um Schritt, *jambend*, trällernd [22. С. 293].

Пак Маллиган, *панамоносоец*, перескакивал со ступеньки на ступеньку, *ямбами* путь уснащая [23. С. 207].

¹ Подробнее об этом см. описание и результаты пилотного эксперимента, проведенного нами [9. С. 152].

Понь Маллиган резвится на ступеньках, *из-под панамы шлема распевай-а-а-а* [24. С. 207].

В предложении оригинала присутствуют две окказиональные единицы: *panamahelmed* и *iambing*, образованные соответственно с помощью словосложения и конверсии. Оба русских перевода содержат лишь одну окказиональную лексему, в то время как другая передана узуальными словосочетаниями. В немецких версиях лексические девиации транслируются более точно с учетом модели словообразования, применяемой автором, стилистика при этом сохраняется, а читатели максимально ощущают особую манеру письма Дж. Джойса.

Еще одним способом перевода окказиональных лексем является **транскрипция/транслитерация**. Этот способ используется, прежде всего, при трансляции окказиональных имен собственных и фонетических окказионализмов (*kraandl*, *pfrwritt*, *thrnthnthn*), которые в большом количестве встречаются в романе «Улисс». К фонетическим авторским неологизмам относят новообразования какого-либо звукового комплекса, содержащие семантику, обусловленную фонетическими значениями звуков, их составляющих. Многообразные «звуки объектов», прямая речь вещей и стихий, различные звуковые комплексы характеризуют ирландского писателя как «ярко выраженного слуховика», что, в частности, было отмечено в комментариях к выполненному С. Хоружим переводу. Межъязыковая трансляция таких единиц невозможна без особых переводческих решений.

Сопоставление русских и немецких переводных версий романа позволяет нам сделать вывод о том, что в немецких переводах произведения, особенно в работе Г. Гойерта, фонетические окказионализмы и окказиональные имена собственные чаще всего (хотя и не всегда) передаются с помощью именно транскрипции/транслитерации. Подобная возможность появляется в связи с большим совпадением фонетического строя немецкого и английского языков (ср., например, *iddle – iddle, iddel, sltt – sltt, sltt*). Следует заметить, что межъязыковая трансляция окказиональных онимов, особенно антропонимов, таким способом тем не менее не является предпочтительной, поскольку, передавая звуковой облик имен собственных, переводчик «теряет» семантический компонент окказиональной единицы. Задача нередко усложняется в том случае, когда в образовании окказиональной единицы текста оригинала участвует антропоним.

All possess bachelor's button discovered by Rualdus Columbus. Tumble her. *Columble* her. Chamäleon [20. С. 465].

Alle haben die bachelor's buttons, die Rualdus Columbus entdeckte. Tumble sie. *Columble* sie. Chamäleon [21. С. 545].

Alle haben sie ein scharfes Hahnenfüßen, entdeckt von Rualdus Columbus. Tummle dich. *Columble* in ihr rum. Chamäleon [22. С. 658].

У каждой наличествует холостяцкая кнопка, открытая Руальдусом Колумбусом. Заведи ее. Да *приколумбь*. Подыграет [23. С. 467].

У каждого имеется кнопка холостяка, которую открыл Руальдус Колумбус. Бери ее. *Приколумбь* ее. Хамелеон [24. С. 464].

Мы можем предположить, что окказиональный глагол *columble* был образован контаминацией антропонима *Columbus* и глагола *tumble* (*падать, ку-*

вырваться). Данная единица задействуется писателем в языковой игре, основанной на паронимической аттракции. Посмотрим, как справились со своей задачей переводчики. Несмотря на то, что русские переводчики создали окказионализм на ПЯ по модели окказионализма, использованной Дж. Джойсом, в той или иной мере сохранив семантический компонент единицы оригинала, на задний план отошли звуковые параллели с соседней лексемой (*tumble – заведи, беру*), которая отражается в окказиональном глаголе подлинника. Немецкие переводчики воспользовались транскрипцией/транслитерацией, что привело к потере семантической составляющей исходной единицы. Эмоциональная сила окказионального глагола, его образность неизбежно снижается. Представляется, что, возможно, было бы удачнее попробовать сохранить все оттенки смысла лексемы, созданной Дж. Джойсом, поскольку она является непосредственным центром игры слов, предложенной автором. Тем не менее оба немецких переводчика попытались передать «языковой симбиоз» оригинала (*tumble-columble*). Г. Гойерт, например, транскрибирует/транслитерирует узуальный глагол (*tumble*), тогда как Г. Волльшлегер подбирает подходящую по звучанию единицу в немецком языке (*tummlе*).

Особого переводческого решения требует передача окказионализмов, возникших на основе звукоподражания. Переводчику необходимо оценить эмоциональную силу ономапопейческой окказиональной единицы и по возможности передать ее внутреннюю форму и образность, что едва ли возможно при использовании транскрибирования в чистом виде.

Old Mrs Riordan with the rumbling stomach's Skye terrier in the City Arms Hotel. <...> O, the big *doggybowwowsywow* [20. С. 166].

Die alte Frau Riordan mit dem magenknurrenden Skye Terrier im City Arms Hotel. <...> Oh, du liebes *Wauwauwauchen* [21. С. 198].

Der alten Mrs. Riordan mit dem knurrenden Magen ihr Skye-Terrier im City Arms Hotel. <...> Oh, was für ein hübsches großes *Wauwauchen* [22. С. 237].

В гостинице Городской герб у старой миссис Риордан был скай-терьер, у которого вечно бурчало в рюхе. <...> Ах ты собачка, ты мой *гавгавгавчик* [23. С. 166].

В гостинице «Городской Герб» у старой госпожи Райордан жил скайтерьер с вечным бурчаньем в брюхе. <...> Ого-го какой у тебя большой *дружок-стручок-хозячок* [24. С. 164].

При создании звукоподражательного окказионализма *doggybowwowsywow* (*doggy + bow + wow + -sy + wow + -sy*) задействованы словосложение, редупликация и суффиксация. В немецких версиях романа, а также в первой версии русского перевода окказиональное существительное передано ономапопейческой окказиональной единицей, обладающей более прозрачной моделью словообразования, чем та, что была использована Дж. Джойсом. Звуковые ассоциации с собачьим лаем не находят место лишь в переводе С. Махова, где окказионализм создан слиянием трех рифмующихся основ.

Как известно, при переводе окказиональных слов используется и опущение. Однако проведенный нами анализ показал, что переводчики романа «Улисс» крайне редко прибегали к этому приему, возможно из-за специфики и смыслового богатства употребленных автором окказиональных единиц. В процентном соотношении русские переводчики несколько чаще использо-

вали этот способ. В целом опущения в большей степени присутствуют в работах С. Махова и Г. Гойерта. Так, например, в переводах С. Махова и Г. Гойерта отсеиваются обе окказиональные единицы Дж. Джойса *shis*, *hrim* [20. С. 483].

Представление о преобладании того или иного способа перевода в зависимости от языка перевода дает рис. 2. На наш взгляд, большой процент замены окказионального слова узуальным (25%), а также наличие опущений в русском переводе (3%) объясняется, прежде всего, различной степенью распространенности некоторых способов словообразования в английском и русском языках. Так, в ряде случаев окказиональные единицы, созданные Дж. Джойсом посредством словосложения, переводятся В. Хинкисом и С. Хоружим при помощи узуального слова или описательного перевода. Лексемы, образованные в оригинале конверсией, транслируются при помощи аффиксальных способов создания окказионализмов, узуального слова или описательного перевода. Фонетические окказионализмы не всегда передаются транскрипцией/транслитерацией (7%). Что касается немецкого языка, то его словообразовательная система в большей степени позволяет передать такую важную черту индивидуального стиля Дж. Джойса, как использование авторских неологизмов, однако и здесь семантические потери порой оказываются неизбежными. Это происходит в основном из-за общей тенденции немецкого языка к словосложению, благодаря чему в ряде случаев стирается «окказиональность» переводного соответствия в связи с естественностью его формы для немецкого языка. Кроме того, в немецком языке значительная доля фонетических окказионализмов и окказиональных имен собственных переводится транскрипцией/транслитерацией (16%). Процент опущений несколько меньше (1%), чем в русскоязычном переводе.

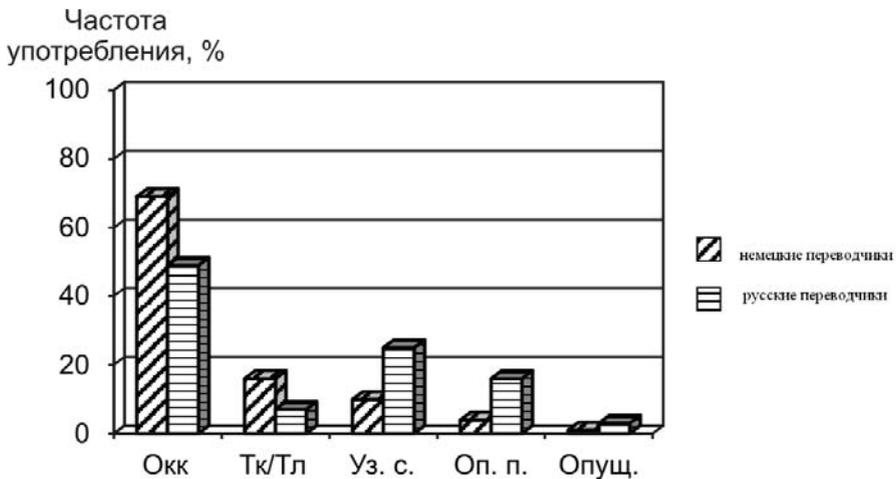


Рис. 2. Сопоставление способов передачи окказиональных слов в переводах немецких переводчиков (Г. Вольшшлегер, Г. Гойерт) и русских переводчиков (В. Хинкис, С. Хоружий, С. Махов): *Окк* – окказиональное слово; *Тк/Тл* – транскрипция/транслитерация; *Уз. с.* – узуальное слово; *Оп. п.* – описательный перевод; *Опуц.* – опущение

Итак, проведенный сопоставительный анализ окказиональных новообразований Дж. Джойса в романе «Улисс» и их переводных соответствий в русском и немецком языках позволяет нам сделать следующие выводы.

1. Большая часть окказиональных новообразований Дж. Джойса создана по типовым моделям словообразования, при этом наиболее распространенным является способ словосложения.

2. Количество окказионализмов в текстах переводов и оригинала, как правило, не совпадает, что можно объяснить сложностью, многосмысленностью и возможностью разнообразных интерпретаций окказиональных слов Дж. Джойса.

3. Возможности русского языка часто не позволяют передать полностью игру Дж. Джойса со словами, их значениями и звучанием и создать такую единицу, которая выполняла бы все функции, заложенные в авторском окказионализме. Это объясняется различиями в словообразовательных системах (и словообразовательных потенциалах) русского и английского языков.

4. Ресурсы немецкого языка в большей степени позволяют передать такую важную черту индивидуального стиля Дж. Джойса, как использование авторских окказиональных новообразований, однако и здесь семантические потери порой оказываются неизбежными. Это происходит, прежде всего, благодаря общей тенденции немецкого языка к словосложению, что в ряде случаев естественным образом уменьшает своеобразность и необычность окказионализмов оригинала.

5. Сопоставительный анализ окказиональных слов Дж. Джойса и их русскоязычных и немецкоязычных переводных соответствий показал, что основными приемами перевода являются воспроизведение на ПЯ словообразовательной модели, использованной Дж. Джойсом, транскрипция/транслитерация, замена узуальным словом или (в исключительных случаях) опущение окказионализма. Доминирующим в обоих языках перевода является первый способ. Доля транскрипции/транслитерации в немецких версиях несколько выше, чем тот же показатель в русских переводах произведения. Это связано, вероятно, с фонетической близостью английского и немецкого языков; в частности, немецкоязычным переводчикам было легче справляться с межъязыковой трансляцией аллитерации и других музыкальных приемов, использованных Дж. Джойсом.

Говоря о переводах «Улисса» в целом, безусловно, нужно отдать должное переводческой «смелости» переводчиков, взявшихся за этот «нечитабельный» и «непереводимый» великий текст. Невозможно переоценить их громадный труд, направленный на то, чтобы дать возможность неанглоязычным читателям увидеть особый авторский код Дж. Джойса, языковую игру, в которую он играет, как говорил он сам, «руководствуясь собственными правилами» (цит. по: [25. С. 206]). В книге Е. Гениевой «И снова Джойс...» приводятся мнения читателей, опубликованные в блогах. Вот одно из них: «...игрушка Джойса необыкновенно сложна, но это именно игрушка. Роман написан не для того, чтобы его читать, а для того, чтобы изучать» [25. С. 262]. Переводчику приходится серьезно изучать устройство «игрушки», в первую очередь один из ее «элементов» – слово, созданное самим автором по его собственным правилам.

Проведенный анализ позволяет считать, что, с одной стороны, даже принципиально «непереводимое» становится переводимым вопреки утверждению самого Дж. Джойса, который, по словам А. Пуэра, считал, что перевод его «Улисса» никогда ни у кого не получится (приводится по: [25. С. 286]). Однако «граница переводимости» полностью не преодолевается, поскольку авторское окказиональное слово не имеет ни конвенциональной формы, ни конвенционального значения; оно всегда остается индивидуальным, несмотря на текст и контекст, в которые их погружает автор произведения. При этом необходимо подчеркнуть, что переводчики, пытаясь «добраться до непереводимого», решают сразу две задачи: «расшифровывая» чужие новые слова и создавая собственные, они познают потенциальные лингвокреативные возможности как языка оригинала, так и своего собственного.

Литература

1. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 452 с.
2. Косериу Э. Контрастная лингвистика и перевод: их соотношение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1989. Вып. 25. С. 63–81.
3. *Разговор* цитат / пер. Л. Горбовецкой, М. Заки // Мастерство перевода. М., 1970. Сб. 7.
4. Derrida J. What Is a «Relevant» Translation? // Critical Inquiry Winter 2001. Vol. 27, № 2. P. 174–200.
5. Benjamin, A.E. Translation and the Nature of Philosophy: A New Theory of Words. New York: Routledge, 1989. 194 p.
6. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 367 с.
7. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во Ин-та общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
8. Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М.: Наука, 1992. 221 с.
9. Нестерова Н.М., Наугольных Е.А. Восприятие и осмысление окказионального художественного слова в контексте психолингвистической теории А.И. Новикова // *Вопр. психолингвистики*. 2014. № 2 (20). С. 146–153.
10. Поздеева Е.В. Окказиональное слово: особенности восприятия // *Вестн. Перм. гос. техн. ун-та. Проблемы языкознания и педагогики*. 2009. № 3 (19). С. 173–177.
11. Тогоева С.И. Современная лексикография и новые единицы номинации. Тверь, 2000. 147 с.
12. Новиков А.И., Сунцова Н.Л. Концептуальная модель порождения вторичного текста // *Обработка текста и когнитивные технологии*. 1999. № 3. С. 158–166.
13. Нестерова Н.М. Текст и перевод в зеркале современных философских парадигм. Пермь, 2005. 203 с.
14. Андреева Е.А. Проблемы перевода окказионализмов русских поэтов XX века на немецкий язык. Казань: ЗАО «Новое знание», 2002. 166 с.
15. Mcgee P. Paperspace: Style as ideology in Joyce's Ulysses / Lincoln: University Press, 1988. 243 p.
16. Амелин Г.Г. Лекции по философии литературы. М.: Языки славянской культуры, 2005. 424 с.
17. Эко У. Сказать почти то же самое: Опыты о переводе / пер. с ит. А.Н. Коваля. СПб.: Симпозиум, 2006. 574 с.
18. Нестерова Н.М., Поздеева Е.В. Об опыте использования методики «Think-Aloud Protocols» при изучения процесса принятия переводческого решения // *Вестн. МГЛУ*. 2007. Вып. 541, ч. 2: Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты. Сер. Лингвистика. С. 155–164.
19. Melchior C. "Ulysses" Deutsch / C. Melchior // James Joyce betreffend: Materialien zur Vermessung seines Universums. Wien, 1985. Band 1. S. 67–73.
20. Joyce J. Ulysses. London: Picador, 1998. 741 p.
21. Joyce J. Ulysses: Roman / übersetzt von Georg Goyert. Zürich: Rhein-Verlag, 1956. 836 s.

22. Joyce J. *Ulysses: Roman / übersetzt von Hans Wollschläger*. Ulm: Suhrkamp Verlag, 2004. 987 s.
23. Джойс Дж. Улисс / пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. СПб.: Симпозиум, 2002. 830 с.
24. Джойс Дж. Сочинения в 3 т.: ОдиссейЯ / пер. с англ. С. Махова. М.: ООО «СФК Инвест», 2007. Т. 2. 696 с.
25. Гениева Е. И снова Джойс... М.: ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2011. 368 с.

THE NONCE WORD AS A PRODUCT OF INDIVIDUAL WORD CREATION: BOUNDARIES OF TRANSLATABILITY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 44–58. DOI: 10.17223/19986645/42/4

Natalya M. Nesterova, Perm Polytechnic University (Perm, Russian Federation). E-mail: nestnat@yandex.ru

Evgeniya A. Naugolnykh, Perm State Pharmaceutical Academy (Perm, Russian Federation).

E-mail: Pulina_jane@mail.ru

Ekaterina V. Pozdeeva, National Research University Higher School of Economics (Perm, Russian Federation). E-mail: epozdeeva@hse.ru

Keywords: lexical void, nonce words, translation, translatability, word creation, word building pattern.

There are essentially two approaches to the question of the boundaries of translatability. The former claims that translation is impossible as each language interprets reality in its own way and each linguistic community perceives the world in its own particular way. The latter approaches untranslatability as a more specific problem – the one which arises due to the existence of certain “gaps” between the source language (SL) and the target language (TL), but is somehow solved in each case. The article discusses a particular case of untranslatability – the rendering of the SL nonce words (or occasional words). They are created ad hoc and characterized by the entirety of the conventional and the individual, the stereotype and creativity as well as the author’s linguistic and extralinguistic background. Nonce words do not have fixed translation equivalents, thus forcing the translator to make a specific translation decision each time s/he encounters a nonce word in the SL text.

The translation decision depends on the understanding of the SL text, which, in the case of nonce words, can be a challenge for the translator. The context helps to overcome the problem of understanding but the context only is not enough when the text is “linguistically preconditioned”. An example of a linguistically preconditioned text is *Ulysses* written by J. Joyce.

We argue that it is the world building pattern (model) that fosters the understanding of the SL nonce words and helps the translator to make a translation decision. The statistical analysis shows that J. Joyce’s nonce words are mainly formed by conventional word buildings patterns, with composition being the most frequently used model (61 %) and affixation and conversion being used less often (16 % and 3 % respectively). The comparative analysis of J. Joyce’s nonce lexis and its Russian and German translation equivalents demonstrates that the translators tend to use the replication of the word building pattern as a prevalent translation method (70 % and 50 % for German and Russian translations respectively). Transliteration/transcription (16 % and 7 % for German and Russian translations respectively), omission (1 % and 3 %) and transformation (3 % and 18 %) as well as the usage of conventional TL lexis (10 % and 25 %) are the methods which are less regularly used to render J. Joyce’s nonce words. This data indicates that the German language is more likely to allow the translator to replicate the form of an English nonce word. It results from the close genetic relationship between English and German.

Overall, the research findings indicate that even intrinsically “untranslatable” units (such as nonce words) can be translated. Yet, the problem of translatability cannot be fully solved as nonce words have neither a conventional form nor a conventional meaning.

References

1. Humboldt, W. von. (1985) *Yazyk i filosofiya kul'tury* [Language and Philosophy of Culture]. Moscow: Progress.
2. Coseriu, E. (1989) *Kontrastivnaya lingvistika i perevod: ikh sootnoshenie* [Contrastive

- linguistics and translation: their relationship]. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. XXV. pp. 63–81.
3. Empel, A. (1970) Razgovor tsitat [Talk of quotes]. Translated by L. Gorbovetskaya, M. Zaki. In: *Masterstvo perevoda* [The craft of translation]. Vol. 7. Moscow: Sovetskiy pisatel'.
 4. Derrida, J. (2001) What Is a “Relevant” Translation? *Critical Inquiry*. 27:2. pp. 174–200.
 5. Benjamin, A.E. (1989) *Translation and the Nature of Philosophy: A New Theory of Words*. New York: Routledge.
 6. Gadamer, H.-G. (1991) *Aktual'nost' prekrasnogo* [The relevance of the beautiful]. Moscow: Iskustvo.
 7. Vinogradov, V.S. (2001) *Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy)* [Introduction to Translation (general and lexical issues)]. Moscow: Izdatel'stvo instituta obshchego srednego obrazovaniya RAO.
 8. Zemskaia, E.A. (1992) *Slovoobrazovanie kak deyatel'nost'* [Word formation as an activity]. Moscow: Nauka.
 9. Nesterova, N.M. & Naugol'nykh, E.A. (2014) Vospriyatie i osmyslenie okkazonal'nogo khudozhestvennogo slova v kontekste psikholingvisticheskoy teorii A.I. Novikova [Perception and comprehension of occasional artistic expression in the context of the psycholinguistic theory of A.I. Novikov]. *Voprosy psikholingvistiki – Issues of Psycholinguistics*. 2 (20). pp. 146–153.
 10. Pozdeeva, E.V. (2009) Okkazonal'noe slovo: osobennosti vospriyatiya [Occasional words: peculiarities of perception]. *Vestnik Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniiya i pedagogiki*. 3 (19). pp. 173–177.
 11. Togoeva, S.I. (2000) *Sovremennaya leksikografiya i novye edinitsy nominatsii* [Modern lexicography and new nomination units]. Tver: Tver State University.
 12. Novikov, A.I. & Sunstova, N.L. (1999) Kontseptual'naya model' porozhdeniya vtorichnogo teksta [The conceptual model of secondary text generation]. *Obrabotka teksta i kognitivnye tekhnologii*. 3. pp. 158–166.
 13. Nesterova, N.M. (2005) *Tekst i perevod v zerkale sovremennykh filosofskikh paradig* [Text and translation in the mirror of modern philosophical paradigms]. Perm: Perm State Technical University.
 14. Andreeva, E.A. (2002) *Problemy perevoda okkazonalizmov russkikh poetov XX veka na nemetskiy yazyk* [Problems of translation of nonce words of Russian poets of the twentieth century into the German language]. Kazan: Novoe znanie.
 15. Mcgee, P. (1988) *Paperspace: Style as ideology in Joyce's Ulysses*. Lincoln: University Press.
 16. Amelin, G.G. (2005) *Lektsii po filosofii literatury* [Lectures on the philosophy of literature]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
 17. Eco, U. (2006) *Skazat' pochti to zhe samoe. Opyty o perevode* [Saying almost the same thing. Experiments on translation]. Translated from Italian by A.N. Koval'. St. Petersburg: Simpozium.
 18. Nesterova, N.M. & Pozdeeva, E.V. (2007) Ob opyte ispol'zovaniya metodiki “Think-Aloud Protocols” pri izucheniiya protsessa prinyatiya perevodcheskogo resheniya [On the experience of the use of “Think-Aloud Protocol” methodology when studying the process of finding translation solutions]. *Vestnik MGLU*. 541:2. pp. 155–164.
 19. Melchior, C. (1985) “Ulysses” Deutsch [German Ulysses]. In: Breicha, O. (ed.) *James Joyce betreffend: Materialien zur Vermessung seines Universums* [On James Joyce: materials for surveying the universe]. Vol. 1. Vienna: Jugend und Volk.
 20. Joyce, J. (1998) *Ulysses*. London: Picador.
 21. Joyce, J. (1956) *Ulysses: Roman* [Ulysses: a novel]. Translated into German by G. Goyert. Zurich: Rhein-Verlag.
 22. Joyce, J. (2004) *Ulysses: Roman* [Ulysses: a novel]. Translated into German by H. Wollschläger. Ulm: Suhrkamp Verlag.
 23. Joyce, J. (2002) *Uliss* [Ulysses]. Translated from English by V. Khinkis, S. Khoruzhiy. St. Petersburg: Simpozium.
 24. Joyce, J. (2007) *Sochineniya v 3 t.: OdisseyYa* [Works in 3 volumes: OdisseyYa]. Translated from English by S. Makhov. Vol. 2. Moscow: SFK Invest.
 25. Genieva, E. (2011) *I snova Dzhoyss...* [And Joyce again . . .]. Moscow: VGBIL im. M.I. Rudomino.

УДК 86.161.1

DOI: 10.17223/19986645/42/5

Т.Г. Попова

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С НАЧАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ *БЛАГО* В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕЙШЕЙ РУССКОЙ РУКОПИСИ ЛЕСТВИЦЫ ИОАННА СИНАЙСКОГО¹

В статье анализируется лексика с начальным компонентом благо, функционирующая в тексте русской рукописи Лествицы Иоанна Синайского, созданной предположительно в Киеве в середине XII в. Названная группа слов (всего 23 лексемы) описывается в сопоставлении с данными Словаря русского языка XI–XVII вв. В результате анализа уточнены значения трёх лексем. Наблюдения над языком рукописи обнаружили высокое мастерство автора первого славянского перевода Лествицы, кем, возможно, является Иоанн Экзарх Болгарский.

Ключевые слова: семантика, историческая лексикология, историческая лексикография, Лествица Иоанна Синайского, Иоанн Экзарх.

Понятие *благо* является одним из ключевых в православном богословии и святоотеческой традиции. Эта философская категория имеет «сверхбытийный статус высшей универсальной ценности, которая не постигается ни одним из чувств, недоступна воображению, превосходит любое рассудочное построение и не вмещается умом» [1. С. 233].

Сложность и многогранность семантики этого понятия нашла отражение в языке, в частности, в переводах библейских текстов и творений Отцов Церкви. В Словаре русского языка XI–XVII вв.² (Т. 1. С. 193–231) и в Дополнениях к нему зафиксированы 563 лексемы с начальным элементом *благо* [2. С. 72]. В настоящей статье предпринимается попытка анализа названной группы слов на материале одного из самых популярных памятников учительной святоотеческой литературы – Лествицы Иоанна Синайского – по тексту древнейшей русской рукописи памятника, созданной предположительно в середине XII в. на киевских землях, см. об этом: [3]. Рукопись хранится в Румянцевском собрании Российской государственной библиотеки под № 198³; она представляет собой первый славянский преславский перевод Лествицы, связанный с Преславской культурно-литературной школой, см. об этом: [3. С. 135–156]. В основу этого перевода легла та версия греческого текста памятника, которая опубликована Минем в «Патрологии» (Т. 88), см.: [4]. Рукопись Рум. входит в число источников СлРЯ XI–XVII вв. Обращение к её тексту в сопоставлении с оригинальным греческим текстом Лествицы позволяет внести ряд уточнений и дополнений к статьям СлРЯ XI–XVII вв.

¹ Статья написана при поддержке РГНФ (проект 16-04-00420).

² Далее – СлРЯ XI–XVII вв.

³ Далее – Рум. Тексты цитируются по названной рукописи с указанием номеров листов и строк, знак | обозначает конец строки.

В целом в тексте Рум. функционируют 23 лексемы с начальным компонентом *благо*, из них 12 существительных, 5 глаголов, 4 прилагательных и 2 наречия.

Наибольшая группа слов представлена именами существительными: **Благо** (τὸ ἀγαθόν), **Благоволѣнник** (ἡ ἀρετή), **Благовольство** (ἡ ἀρετή), **Благодаренник** (ἡ εὐχαριστία, τὸ χάρισμα), **Благодарованник** (ἡ εὐχαριστία), **Благодатник** (ἡ χάρις), **Благодать**¹ (ἡ εὐχαριστία, ἡ χάρις, τὸ χάρισμα), **Благодать**² (ἡ χεῖρ (τοῦ Κυρίου)), **Благодѣть** (τὸ χάρισμα), **Благословенник** (ἡ εὐλογία), **Благость** (ἡ χρηστότης), **Благыѣн** (τὸ ἀγαθόν, τὸ χάρισμα).

Лексемы **Благоволѣнник** и **Благовольство** употребляются при переводе греческого ἡ ἀρετή как полные синонимы в значении 'добродетель, нравственное совершенство' наряду с лексемами **Доброволѣнник**, **Добровольство**, **Добронзволѣнник**, **Доброта** и выражением **Доброе нзволѣнник**. При передаче мн. ч. (αἱ ἀρεταί) переводчик может использовать прилагательное **Благовольная** в значении существительного ('добродетели'): τὰς μητέρας τῶν ἀρετῶν, μητέρας κακῶν ἀπεργάζονται **МТРН** | **БЛГВольныя** · **МТРН** | **Зълемъ творять** 76г, 18–20.

Кальками греческого сложения ἡ εὐχαριστία являются существительные **Благодаренник**, **Благодарованник**, **Благодать**, при этом **Благодаренник** и **Благодать** имеют значение 'выражение признательности, благодарности', а **Благодарованник** 'доброе даяние'. Существительное **Благодаренник** может переводиться и как простое слово τὸ χάρισμα 'милость, дар', однако намного чаще эта греческая лексема переводится как **Благодать** (на 9 случаев перевода τὸ χάρισμα словом **Благодать** приходится по 1 случаю её перевода словами **Благодаренник**, **Благодѣть**, **Благыѣн** и **Даръ**).

Самой частотной среди лексем с начальным компонентом *благо* в тексте Рум. является лексема **Благодать**. По данным СлРЯ XI–XVII вв., **Благодать** имеет 5 значений: 'ниспосланная свыше спасительная сила, помощь', 'милость, благодаяние, доброта', 'добродетель', 'благодарность', 'обилие, достаток, довольство' (С. 199–200). В Рум. встречается **Благодать** при переводе греческого ἡ χεῖρ 'рука': Σκεπόμεθα τῇ χειρὶ τοῦ Κυρίου ἐν τῷ κόσμῳ **покрѣ|ваемн ксмъ · БЛГдтн|ю бнкію& въ мироу** 104а, 4–6 (*Когда мы пребываем в миру, нас покрывает рука Господня*). На наш взгляд, в данном случае может иметь место омонимия и значение лексемы **Благодать** может быть сформулировано как 'защита'.

Кроме ἡ εὐχαριστία и τὸ χάρισμα, **Благодать** может переводить греческое ἡ χάρις; в этом случае лексемы **Благодать** и **Благодатник** являются полными синонимами.

Лексема **Благодать** может выступать в составе фразеологического оборота **Благодать кръстьная**: τοῦ βαπτίσματος χάριν ὁ Κύριος πωλῆσαι αὐτὸν τὸν πλοῦτον διέταττεν **БЛГдтн радн крѣ|ныя · Гъ продатн · то | Бѣтѣтво велѣаше** 15г, 8–10 (*Господь ради крещения повелевал продать то*

богатство). Лексема τὸ βάπτισμα функционирует в греческом тексте 10 раз, при этом 9 раз она переведена как *кръщенник* и 1 раз как *благодать кръстьнага*.

Глагольная лексика названной группы представлена словами *БЛГОВОЛНТН* (εὐδοκέω), *БЛГОВѢСТНТН* (εὐαγγελίζομαι), *БЛГОДАРНТН* (εὐχαριστέω), *БЛГОДѢИАТН* (εὐεργετέω), *БЛГОСЛОВНТН*, *БЛГОСЛОВНТН СЛ* (εὐλόγέω). Наиболее часто в тексте встречается форма *БЛГОДАРНТН*. Все эти лексеммы являются хорошо известными в славянской письменности кальками с греческого языка.

Однажды в тексте рукописи форма *БЛГОСЛОВНТН СЛ* встречается при передаче греческого καταργέω – наряду с традиционным переводом καταργέω как *оупразниати, оупразниити*. При этом необычный перевод лексеммы функционирует в цитате из Священного Писания (*Евр 7, 7*): χωρὶς γὰρ πάσης ἀντιλογίας, τὸ ἕλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος καταργεῖται *БЕЗЪ ВСАКОГѢ | БО СОУПРОТНВОСЛОВНІА · ХОУЖЕКѢ Ѡ БОЛЬШАГО | БЛГВНТ СЛ* 96в, 12–15. (Представляется, что форма *БЛГВНТ СЛ* является сокращением *БЛГОСЛОВНТЬ СЛ*; такое написание для писца Рум. является нормой: *БЛГВНТЬ* 35в, 10; *БЛГВН | СЛ* 31а, 10–11). Интересно, что приведённая цитата встречается в рукописи ещё раз, но в другом виде: χωρὶς γὰρ πάσης ἀντιλογίας, τὸ ἕλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος κατακοσμεῖται – и, следовательно, в другом переводе: *БЕЗЪ | ВСАКОГО БО ПРОТНВОСЛѢВНА · ХОУЖЪШЕЕ Ѡ БОЛЬШАГО ОУТВАРАЕТ СЛ* 29в, 3–6. Разная передача цитаты Иоанном Лествичником побуждает обратиться к первоисточнику. В тексте Библии функционирует другой глагол: χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἕλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται, *Без всякого прекословия меньший благословляется большим* [5. С. 571; 6. С. 1284]. В восточных версиях текста (сирийских, грузинских, арабских и армянской) также читается *благословляется*¹. Таким образом, вполне вероятно, что Иоанн Лествичник неверно (по памяти) передал (пересказал) текст этой цитаты, а славянский переводчик Лествицы, знавший правильную версию цитаты, исправил эту авторскую ошибку в своём переводе. По нашим наблюдениям, передача καταργέω как *БЛГОСЛОВНТН СЛ* встречается и в других рукописях преславского перевода Лествицы, т.е. она относится к деятельности переводчика, наизусть знавшего текст Послания апостола Павла Евреям. Этот пример хорошо показывает, что первый перевод Лествицы был выполнен на очень высоком уровне талантливым и высокообразованным человеком. Таким человеком вполне мог быть выдающийся болгарский писатель и переводчик Иоанн Экзарх [7].

Имена прилагательные с начальным компонентом *благо* представлены лексеммами *БЛГОВОЛЪНТН* (*БЛГОВОЛЪНАГА ΑΙ ἄρεταί*), *БЛГОДАТЬНТН* (τῶν χαρισμάτων), *БЛГОСЛОВЕНТН* (εὐλογητός) и *БЛГОУННЪНТН* (ἀθέμιτος!).

Очевидной ошибкой является перевод греческого ἀθέμιτος 'бесчинный, бессовестный, противозаконный' славянской лексеммой с противоположной

¹ Информация В.М. Лурье (письмо от 29.02.2016), за которую автор выражает глубокую признательность.

семантикой: τῶν τὰς πράξεις ἡμῶν τὰς ἀθεμίτους σκοποῦντων **тѣ|мь** **нже дѣлъ нашнхъ·|** **бл̄гоуинныхъ сьмо|траѣть** 19а, 13–16. Писец другой рукописи этого же перевода использует в этом контексте прилагательное **бл̄гоуестныхъ** (рукопись собрания Троице-Сергиевой лавры РГБ, № 10, л. 14об., 14). Таким образом, вероятно, эта ошибка может восходить к одному из самых ранних и не дошедших до нашего времени списков перевода. Имеется гипотеза о том, что у этих двух цитируемых рукописей существовал общий протограф [8. С. 25]. Для того чтобы доказать, что эта ошибка не восходит к деятельности переводчика, а является опiskой создателя протографа, необходимо обращение к тексту других рукописей преславского перевода (всего этих рукописей не менее 25 [9. С. 136]).

Лексема **благо** (καλῶς) может выступать в роли наречия: εὐ καὶ καλῶς **добро н благо** 57в, 17.

В Рум. функционирует наречие **благоуьстнѣѣ**, отсутствующее в СлРЯ XI–XVII вв.: ὁ γὰρ θανατώσας αὐτοῦ εὐσεβῶς τὴν ψυχὴν, ὑπὲρ πάντων ἀπολογῆσεται **о҃гморнвы|н во свою бл̄гоуьстнѣѣ дш҃у | не ѡвѣщаваеѣть** 23в, 17–19. Это же наречие может переводить и сравнительную степень (εὐσεβεστέρω): Ζητητέον τίς αὐτῶν εὐσεβεστέρω ἐποίησε **попытати кѣ|то еіо· бл̄гоуьстнѣѣ сѣ|творн** 47г, 12–14. Эта лексема зафиксирована в тетради первой «Дополнений и исправлений к СлРЯ XI–XVII вв.» (С. 33–34) в значении 'благочестиво'.

Таким образом, в результате проведённого анализа рукописи уточнено толкование значения ряда лексем в СлРЯ XI–XVII вв.: 1) прилагательное **благовольная** могло субстантивироваться в значении 'добротели'; 2) лексема **благодать** в переносном смысле могла употребляться как 'защита'; 3) эта же лексема могла входить во фразеологический оборот **благодать кръстьная** в значении 'крещение'. Обращение к тексту рукописных источников расширяет и углубляет представления о лексическом богатстве древнерусского языка и помогает лексикографам полнее отразить это богатство на страницах исторических словарей русского языка.

Литература

1. *Православная энциклопедия*. Т. 5 (Бессонов–Бонвеч). М., 2002.
2. *Чернышева М.И.* Уходящие слова, ускользящие смыслы: Историко-лексикологические исследования. М., 2009.
3. *Попова Т.Г.* Язык и графико-орфографическая система древнейшей славянской рукописи Лествицы Иоанна Синайского // *Palaeoslavica*. Cambridge, Massachusetts. 2013. Т. 21, № 1. Р. 15–57.
4. *Climaci Joannis Scala paradisi*. *Patrologiae cursus completus. Series graeca*, ed. J.P. Migne. Т. 88. Col. 631–1210. Parisiis, 1860.
5. *Novum Testamentum. Graece et Latine*. Stuttgart, 1979.
6. *Библия*. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2002.
7. *Попова Т.Г.* К вопросу об авторе преславского перевода Лествицы Иоанна Синайского // *Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Русская филология*. № 4. 2010. С. 44–47.
8. *Кенанов Д., Гавазова Н.* Небето на безмълвието. Книгата «Лествица» от св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод. Велико Търново, 2013.
9. *Попова Т.Г.* Лествица Иоанна Синайского в славянской книжности. Саарбрюкен, 2011.

LEXEMES WITH THE INITIAL ELEMENT *BLAGO* IN THE LANGUAGE OF THE OLD-RUSSIAN MANUSCRIPT *THE LADDER OF DIVINE ASCENT* BY JOHN CLIMACUS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 59–63. DOI: 10.17223/19986645/42/5

Tatiana G. Popova, Severodvinsk Branch of the Northern Arctic Federal University (Severodvinsk, Russian Federation). E-mail: E-mail: lestvic@mail.ru

Keywords: semantics, historical lexicology, historical lexicography, *The Ladder of Divine Ascent* by John Climacus, John the Exarch.

The concept *blago* (blessing) is one of the key concepts in Orthodox theology and in the patristic tradition. The complexity and diversity of the semantics of the concept *blago* found reflection in the Old Russian language. 563 lexemes with the initial element *blago* are fixed in *The Dictionary of Russian Language of the 11th–17th centuries*. This article attempts to analyze the named group of words on the material of the oldest Russian manuscript of *The Ladder of Divine Ascent* by John Climacus. The manuscript is probably written in the middle of the 12th century in Kiev; it is stored in the Russian State Library, in the Rumyantsev Collection under number 198. The manuscript represents the first Slavic translation of the *Ladder* connected with the Preslav Literary School. In total, there are 23 lexemes with the initial element *blago* in the manuscript (12 nouns, five verbs, four adjectives and two adverbs). Many of them are calques from the Greek language. Thus, one Greek word (*eukharistia*) can be rendered by several Slavic words (*blagodarenie, blagodarovanie, blagodat'*). The most frequent among lexemes with the initial element *blago* in the text of the manuscript is the lexeme *blagodat'*. The analysis has clarified the interpretation of the meaning of three lexemes: 1) the adjective *blagovol'naya* could be substantivized in the meaning “virtue”; 2) the lexeme *blagodat'* could be used figuratively as “protection”; 3) the same lexeme could be part of the idiom *blagodat' krestnaya* in the meaning “baptism”. In the text of the manuscript the form *blagosloviiti sya* appears in the translation of the Greek *katargeo* in a citation from the Bible. Reference to the text of the Bible (Greek, Syrian, Georgian, Arabian and Armenian) results in a conclusion that John Climacus incorrectly retold the text of this citation (from memory), and the Slavic translator of the *Ladder* corrected this mistake of the author in his translation. The translator knew by heart the text of the Epistle to the Hebrews of Apostle Paul. The Slavic translation of the *Ladder* was made by a talented and well educated person. Presumably, this first translator of the *Ladder* was an outstanding Bulgarian writer named John Exarch. The adverb *blagochestive* is absent in *The Dictionary of Russian Language of the 11th–17th centuries*. Reference to the text of the handwritten sources deepens our knowledge about the lexical richness of the Old Russian language and helps in reflecting this richness in the pages of historical dictionaries of the Russian language.

References

1. Pravoslavnnaya entsiklopediya. (2002) *Pravoslavnnaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. Vol. V. Moscow: Pravoslavnnaya entsiklopediya.
2. Chernysheva, M.I. (2009) *Ukhodyashchie slova, uskol'zayushchie smysly. Istoriko-leksikologicheskie issledovaniya* [Outdated words, elusive meanings. Historical and lexicological studies]. Moscow.
3. Popova, T.G. (2013) Yazyk i grafiko-orfograficheskaya sistema drevneyshey slavyanskoy rukopisi Lestvitsy Ioanna Sinayskogo [Language and the graphic-orthographic system of ancient Slavic manuscript Ladder of St. John of Sinai]. *Palaeoslavica*. XXI:1. pp. 15–57.
4. Migne, J.P. (ed.) (1860) *Slimaci Joannis Scala paradisi. Patrologiae cursus completus. Series graeca*. Vol. 88. Col. 631–1210. Parisiis.
5. Deutsche Bibelgesellschaft. (1979) *Novum Testamentum. Graece et Latine* [The New Testament. Greek and Latin]. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
6. Rossiyskoe Bibleyskoe obshchestvo. (2002) *Bibliya. Knigi Svyashchennogo Pisaniya Vekhogo i Novogo Zaveta* [The Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testament]. Moscow: Rossiyskoe Bibleyskoe obshchestvo.
7. Popova, T.G. (2010) K voprosu ob avtore preslavskogo perevoda Lestvitsy Ioanna Sinayskogo [To the question of the author of the Preslav translation of The Ladder of St. John of the Sinai]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya “Russkaya filologiya”*. 4. pp. 44–47.
8. Kenanov, D. & Gavazova, N. (2013) Nebeto na bezm’lviето. Knigata “Lestvitsa” ot sv. Yoan Sinayski i neyniyat starob’lgarski prevod [Heaven of silence. The book “Ladder” of St. John of Sinai and its Old Bulgarian translation]. Veliko Trnovo: Universitetsko izdatelstvo “Sv. sv. Kiril i Metodiy”.
9. Popova, T.G. (2011) *Lestvitsa Ioanna Sinayskogo v slavyanskoy knizhnosti* [The Ladder of St. John of the Sinai in the Slavic literacy]. Saarbrücken.

УДК 811.112.2

DOI: 10.17223/19986645/42/6

М.Ю. Россихина

О ДИНАМИКЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕМЕЦКОМ МОЛОДЕЖНОМ СОЦИОЛЕКТЕ

В статье исследуются динамические процессы, происходящие в лексическом составе немецкого молодежного социолекта. Выявляются причины исчезновения одних и появления других лексических единиц, рассматривается изменение значений полисемичных жаргонизмов, проводится сравнительный анализ синонимических рядов. Определяется роль лексико-семантических процессов в пополнении словарного состава молодежного социолекта. Прослеживается судьба некоторых студенческих слов и выражений на протяжении трех столетий. Все положения иллюстрируются оригинальными примерами из лексикографических источников XVIII–XXI вв.

Ключевые слова: язык, социолект, лексика, семантика, молодежный, немецкий.

Исследование, проводимое в данной статье, посвящено описанию динамических процессов, происходящих в немецком молодежном социолекте, который в современной германистике традиционно называется молодежным языком (*Jugendsprache*) [1–3]. Немецкий молодежный язык – это не порождение современности, а исторический феномен, который берет свое начало в XVI в. [4. S. 21], в то время как первый словарь студенческого языка датируется 1749 г. [5]. Поэтому, чтобы составить полную картину динамики лексико-семантических процессов в немецком молодежном социолекте, мы обращаемся к лексиконам прошлых столетий и сравниваем их словарные составы с лексикой современных словарей.

Это сравнение показывает, что молодежный социолект является очень подвижным слоем языка, в нем постоянно идет процесс обновления словарного состава, вызванный объективными и субъективными причинами. Основной объективной причиной такой динамичности является исчезновение одних реалий и появление других, требующих новых наименований. Так, исчез целый ряд жаргонизмов исторического студенческого и школьного языка XVIII–XIX вв., означающих явления, не встречающиеся у современной учащейся молодежи. Это, например, лексемы, связанные с наказаниями в учебных заведениях (*Käfig* «Karzer», *einkreiden* «ins Strafbuch eintragen», *brummen* «im Arest sitzen»), игрой в карты и кости (*mokeln* «beim Kartenspiel betrügen», *knobeln* «würfeln»), проведением дуэли между студентами (*abstechen* «jemanden im Duell zum weiteren Schlagen unfähig machen», *Anschiss* «Wunde, die ein Duell beendet»), а в XX в. открываются тематические области, которых ранее не существовало. Ярким тому примером является тема «Наркотики». Это новая и очень актуальная для молодых людей тема Новейшего времени, поэтому она вызывает бурный интерес и, как следствие, появление большого количества жаргонных наименований. Только в словаре Г. Кюппера «*Jugenddeutsch*», вышедшем в 1970 г., содержится 31 лексема для обозначения нар-

котиков: *Naschmittel*, *Superstoff*, *Traumstoff*, *Götterfunke*, *Wolkengift*, *Blume*, *Geistkammer*, *Schnee* и др. [6]. В словарях молодежного языка XXI в. ни одной из этих лексем мы не обнаружили, но поскольку проблема употребления наркотиков, к сожалению, еще остается, здесь регистрируются новые жаргонизмы: *suchteln* «Drogen konsumieren», *Waldapotheke* «Drogendealer», *Giftler* «Drogensüchtiger», *knuspern* «Gras rauchen», *Grasianer* «jemand, der Marihuana raucht» и др.

XX–XXI вв. приносят с собой также реалии технического прогресса, и молодежь мгновенно создает для них жаргонные наименования. Например, в XX в. это названия проигрывателя (*Hotkopfer*, *Scheibenkratzer*, *Dudelkasten*, *Karussell*), магнитофона (*Jaulkasten*, *Wiederkäuer*, *Bandmühle*), электробритвы (*Stoppelroder*, *Stoppelmäher*), музыкального автомата (*Opferstock*, *Wundertrommel*, *Smelzenorgel*, *Geräuschkasten*) и др., а в XXI в. молодежный язык изобилует уже компьютерной лексикой (*Compi* «Computer-Experte», *wikipedieren* «etwas bei Wikipedia nachschauen», *Datenzäpfchen* «USB-Stick», *googeln* «suchen», *daddeln* «auf dem PC spielen» и др.).

Субъективная причина необыкновенной динамичности молодежного языка кроется в чрезвычайной активности и креативности молодых людей. Ведь даже для лиц, предметов и понятий, которые всегда существовали и имели жаргонные наименования, молодые люди придумывают все новые и новые названия. В основном затрагиваются те реалии, которые особенно важны для носителей жаргона. В качестве примера приведем жаргонизмы, которыми постоянно пользуется учащаяся молодежь. Это лексика по теме «Учеба», среди которой самыми многочисленными являются наименования школы и учителей. В XIX в. учебные заведения именуются *Zuchthaus*, *Gefängnis*, *Strafanstalt*, *Paukschule* и др., в XX в. – *Knast*, *Affenstall*, *Gefängnis*, *Folterkammer*, *Bildungstempel*, *Bunker* и др. В XXI в. в словарях PONS практически ежегодно к уже существующим добавляются новые жаргонизмы со значением «школа»: 2008 г. – *Büffelbude*; 2011 г. – *Kinderknast*, *Bildungsvermittlungsinstitut*; 2012 г. – *Knast*, *Lernvollzugsanstalt*; 2013 г. – *Brettergymnasium*, *Stresssystem*; 2014 г. – *Zwingerschule*; 2015 г. – *U-Haft*. Учитель в XIX в. – *Pauker*, *Arschpauker*, *Brotfresser*, *Bildungsschuster* и др., в XX в. – *Pauker*, *Arschpauker*, *Brotfresser*, *Alleswisser*, *Schülertyrann*, *Fachidiot* и др. В XXI в. и здесь наблюдается частое обновление: 2002 г. – *Bildungsschuppen*; 2011 г. – *Kreidekratzer*; 2012 г. – *Noten-Designer*; 2013 г. – *Tafelverschmutzer*; 2014 г. – *Einschlafhilfe*; 2015 г. – *Erklärbar*.

Сопоставление словарного состава молодежного социолекта трех веков показывает, что подавляющее большинство жаргонных лексем отличается непостоянством, среди них много слов-однодневок, это особенно ярко видно при сравнении лексики ежегодных словарей XXI в. Лишь некоторые жаргонизмы оказываются более стойкими и переходят из словаря в словарь на протяжении десятилетий или даже столетий. В нашем случае лексемы *Gefängnis* в значении «школа» и *Pauker*, *Arschpauker*, *Brotfresser* в значении «учитель» зафиксированы и в XIX в., и в XX в., а *Bildungsschuppen* и *Knast* в значении «школа» встречаются как в XX в., так и в XXI в.

Большое количество жаргонных наименований для одного и того же явления образует синонимические ряды, длина которых свидетельствует о том,

насколько эти явления в тот или иной момент актуальны для носителей жаргона. Сравнительный анализ лексикографических источников XVIII–XXI вв. показывает, что самой многочисленной тематической группой оказалась в XX в. Так, в словаре Г. Кюппера синонимический ряд «учитель» содержит 173 лексемы, «ученик» – 112, «школа» – 78. В лексиконах XVIII–XIX и XXI вв. аналогичные синонимические ряды насчитывают не более 20 жаргонизмов. В последних представлено больше лексики по темам «Времяпровождение» и «Вредные привычки». Это объясняется различным отношением молодых людей к учебе. XX в., особенно его первая половина, отличается строгой дисциплиной в учебных заведениях, возрастает важность хорошей успеваемости. Школьники и студенты проводят много времени в стенах школ и университетов, а не в питейных заведениях, участвуя в драках и играх, как это было принято в предыдущие века. Разгульная буршеская жизнь в XVIII–XIX вв., воспетая не только в художественных произведениях, но и в предисловиях к некоторым словарям студенческого жаргона [7], нашла отражение в словарном составе всех без исключения лексиконов того времени. Отсюда многочисленные слова и выражения со значением «пить алкоголь» (*knüllen, knillen, kneipen, Schmollis trinken, leeren, einen über die Ochsenzunge gießen, poculieren* и др.), «пьяный» (*sauvoll, knill, kanonendick, toll und voll, en canon, bespitzt* и др.), «бить, избить» (*knoten, dreschen, knitteln, holzen* и др.).

У современной немецкой молодежи учеба тоже не в приоритете. Больше всего жаргонизмов встречается по теме «Вредные привычки». По сравнению с предыдущими веками значительно увеличилось количество жаргонизмов со значением «курить» (*buffen, chucksen, blitzen, quarzen, grillen, harzen, dämpfen, qualmen, mocken, beefen* и др.). Отметим, что лексемы *dämpfen* и *qualmen* встречаются на протяжении трех столетий. Традиционно многочисленным был и остается синонимический ряд жаргонизмов со значением «заниматься любовью». Несколько лексем из этого ряда то исчезают, то через одно-два столетия появляются снова не только в молодежном, но и в разговорном языке. Это такие лексемы, как *knallen, mausen, laichen, poppen, Bürsten*. Следует отметить, что молодежный социолект, несмотря на множество жаргонных наименований для явлений, негативных с точки зрения общественного мнения и моральных устоев, всегда был и остается до сих пор позитивным феноменом. Об этом свидетельствует огромный арсенал оценочных прилагательных со значением «отлично, прекрасно, здорово», встречающийся в любом словаре молодежного жаргона. Причем их количество неуклонно растет. Поражает изобретательность, с которой молодые люди создают «свой» язык, вкладывая в него позитивную энергетику, восторженность и молодежный задор. Приведем примеры оценочных прилагательных с положительной коннотацией из последнего словаря редакции PONS за 2015 г.: *affengeil, cosmo, tight, vierlagig, geil-meilo, pervers, porno, raumschiff, sexykiwi, fresh, geilomati-ko, badass* и др. [8]. Конечно, здесь встречаются и оценочные жаргонизмы с негативной коннотацией, но их не так много. Эмотивная лексика в молодежном жаргоне долго не существует, обновляясь если не каждый год, то каждые 5–10 лет. Исключение составляет лишь лексема *super*, которая регулярно появляется с середины XX в. по сей день и часто входит в состав новых жар-

гонных прилагательных для усиления их оценочной семантики. Ср.: XX в. – *superschick, supertoll, superelegant*; XXI в. – *superfein, supergeil*.

С течением времени изменилась и гендерная составляющая немецкого молодёжного социолекта. В XVIII–XIX вв. студенческий жаргон является прерогативой молодых людей мужского пола, поскольку в университетах учатся только юноши. Употребляемые последними жаргонные наименования девушек впервые фиксируются в словаре студенческого языка 1781 г. Это жаргонизмы со значением «женщина лёгкого поведения»: *Nachtvogel, Buttervogel, Miez* и др. [9]. В словаре 1795 г. с этой же семантикой зафиксированы ещё *Bleivogel* и *Grasmücke*, а также оскорбительные названия простых девушек *Besen* и *Knochen* со значением «грязнуля» [10].

В дальнейшем количество наименований особ женского пола в молодёжном социолекте неуклонно растёт, достигнув в словаре «Jugenddeutsch von A bis Z» 1970 г. цифры 400 [6]. Среди этих 400 жаргонизмов встречаются лексемы как с отрицательной, так и с положительной коннотацией, причём последних значительно больше, ср.: *Bombe, Ische, Busenkäfer, Edeltahm, Flamme, Gans, Heuschrecke, Hexi-Sexy, Puppe, Mäuschen, Häschen, Schmucke, Supergirl, Zucker, Kellerratte, Sexbiene* и др. В этом же словаре содержится около 100 жаргонизмов для обозначения юношей: *Bomber, Faust, Hirsch, Stern, Hinni, Muttersöhnchen, Superboy, Bulle, Hammertyp* и др. Это объясняется тем, что в XX в. носителями жаргона становятся и девушки, хотя еще сохраняется преимущественно мужской характер молодёжного социолекта. Приведенные выше данные показывают, что количество жаргонизмов для обозначения девушек в 4 раза превосходит количество жаргонных наименований юношей. Этот факт свидетельствует о реализации значений, актуальных прежде всего для мужской части носителей жаргона.

В XXI столетии в немецком языке в целом и в молодёжном социолекте в частности наблюдается процесс преодоления гендерной асимметрии. В словарях современного молодёжного языка встречается примерно одинаковое количество жаргонизмов для обозначения обоих полов, причём большинство из них отражает позитивный настрой теперь уже равноправных участников коммуникации, выражающих восхищение по отношению к противоположному полу, изобретая невероятные обозначения красивой девушки (*Bunny, Bombe, Ische, Chaya, Scheckrosine, Chicka, Filet* и др.) или привлекательного юноши (*Schmacko, Topschuss, Playa, Chabo, Schnitzel, MrDreamy, Jissy* и др.). Отметим, что жаргонизмы *Bombe* и *Ische* для обозначения красивой девушки сохранились с середины XX в. до наших дней.

В последнее время из немецкого нормативного языка в молодёжный социолект стала проникать и тенденция использования шплиттинга (двойного названия) для избежания гендерной асимметрии, например: *Blümchenkiller/in, Blümchenplücker/in* «Vegetarier (in)» [8].

Ярче всего динамика лексико-семантических процессов просматривается в изменении значений жаргонизмов, которые утрачивают прежние значения и приобретают новые, причём этот процесс может повторяться неоднократно. Изменение семантики может происходить через различные промежутки времени. Нередки случаи возвращения к прежнему значению через одно-два столетия. Наиболее интенсивно этот процесс проходит у полисемичных жар-

гонизмов, которые чаще всего изменяют не все свои значения, а лишь некоторые из них.

Для наблюдения за динамичностью лексико-семантических процессов в немецком молодёжном социолекте на протяжении XVIII–XXI вв. мы сравнили словарный состав лексиконов разных эпох. Так, сравнение словника самого крупного лексикона XIX в. И. Фольмана [7] со словарём молодёжного языка 2008 г. [11] показало, что только 10 лексических единиц дошли до нашего времени: *Opfer*, *bocken*, *leimen*, *nageln*, *Lachs*, *nudeln*, *schicken*, *pumpen*, *schwofen*, *Schwäche*. Две из них спустя полтора столетия употребляются в том же значении: *schwofen* «tauzen» и *Schwäche* «Alkohol». Другие жаргонизмы, утратив прежние значения, приобрели новые. Например, *Opfer* сейчас «Dummkopf», а раньше «1) Geschäfte machen; 2) Tabak kauen». Глагольная лексема *pumpen* в современном молодёжном языке имеет значение «Muskeltraining betreiben», а раньше употреблялась в значении «borgen». В последнем она до сих пор встречается, но только в разговорном языке. Синонимы *nudeln* и *nadeln* имели два значения: «1) bürsten, knallen; 2) miteinander schlafen». Первое значение они утратили, а во втором до сих пор существуют в современном молодёжном языке.

Из самого значительного лексикона XX вв. Г. Кюппера «Jugenddeutsch von A bis Z» [6] в описываемый нами словарь 2008 г. [11] вошло 50 жаргонных лексем, 30 из которых не изменили своего значения *Lungentorpedo* «Zigarette», *Friedhofsgemüse* «alte Leute», *barzen* «rauchen», *Zeiteisen* «Armbanduhr», *tanken* «Alkohol trinken» и др. Три многозначных жаргонизма сохранили только одно из прежних значений: *lässig* «außerordentlich gut», *beknattert* «blöd», *ballern* «sich betrinken». Остальные жаргонные лексеммы употребляются сейчас в иных значениях: *schmöcken* «rauchen» (раньше «Bücher lesen»), *jammern* «essen» (раньше «Geige spielen»), *blubbern* «Wasserpfeife rauchen» (раньше «Jazz tanzen»).

Для изменения семантики жаргонных лексем не всегда требуется одно-два столетия, часто этот процесс идет гораздо быстрее. Изданный в 1895 г. «Wörterbuch der Studentensprache» Ф. Клуге дает нам уникальную возможность проследить динамику лексико-семантических процессов в студенческом языке XVIII–XIX вв., поскольку в словарных статьях полисемичных жаргонизмов он фиксирует их различные значения с указанием года издания источников, в которых они встречаются в этих значениях. В качестве примера приведем словарные статьи из этого лексикона:

ausschmieren 1) abschreiben 1781, 1795, 2) durchprügeln, schlagen 1781, 1795, 1813, 1841, 3) beim Spiel viel Geld abgewinnen 1795, 1813, 1841 [4. S. 81]

verwixsen 1) sich das Versprechen geben etwas nicht zu tun 1831, 2) durchbringen 1841 [4. S. 133]

abfahren 1) weggehen, 2) sterben 1781, 1795, 3) ablaufen 1841, 4) beim Würfeln die erforderlichen Augen nicht werfen 1813, 5) seinen Zweck nicht erreichen 1846 [4. S. 77].

Из примеров видно, что глагол *ausschmieren* с течением времени теряет одно значение («abschreiben»), а два других («durchprügeln, schlagen» и «beim Spiel viel Geld gewinnen») сохраняются вплоть до 1841 г. У лексеммы *verwixsen* одно значение исчезает, другое появляется. У глагола *abfahren*, для кото-

рого указывается пять значений, жаргонная семантика также постоянно меняется.

Если в прошлые века изменение жаргонных значений происходило иногда в течение двух-трех десятилетий, то в настоящее время этот процесс значительно ускорился. Приведем примеры изменения значений отдельных жаргонизмов с начала XXI в.: *fett* «sehr gut» (2003 г.), «total» (2009 г.), «betrunken» (2015 г.); *betonieren* «eine Frisur mit Haargel malen» (2010 г.), «schlagen» (2015 г.); *bomben* «Graffiti malen» (2010 г.), «j-n umhauen» (2015 г.).

Полисемичные жаргонные лексемы часто теряют одно или даже несколько значений. Так, жаргонная аббревиатура BMW была сначала зафиксирована в словарях редакции PONS (2006–2007 гг.) с двумя значениями: «1) Bemme mit Wurst; 2) Brett mit Warzen (Mädchen ohne Brust)», а затем (2010–2015 гг.) она регистрируется только с одним (вторым) значением.

Для жаргонизма *checken* в словаре 2006 г. Р. Седлачека указано пять значений: «1) verstehen, begreifen; 2) klären, besprechen; 3) durchsetzen, erledigen, arrangieren, hinkriegen; 4) besorgen, beschaffen, organisieren, ein Zimmer reservieren; 5) reinziehen» [12. S. 39]. С 2009 по 2015 г. *checken* встречается во всех ежегодных выпусках словарей PONS только с двумя значениями: «geben» и «verstehen». Жаргонный глагол «*abgehen*» в лексиконе Р. Седлачека имеет четыре значения:

«1) eine Ejakulation haben, in Ekstase geraten, verrückt werden; 2) etwas los sein; 3) geschehen, passieren; 4) fehlen» [12. S. 21]. До наших дней сохранилось только одно значение – «passieren» [8. S. 7].

Благодаря прозрачности границ молодежного социолекта осуществляется переход отдельных молодежных жаргонизмов в разговорный и даже стандартный язык, что подтверждает наблюдение за судьбой некоторых слов и выражений из исторического студенческого языка на протяжении трех столетий. В качестве примера приведем историю жаргонизма *schwänzen*. Этимологический словарь Ф. Клуге свидетельствует, что этот студенческий жаргонизм со значением «dem Unterricht u.ä. fernbleiben» имеет свои корни в арго, встречаясь в средневерхненемецком в виде *swanzen*, *swenzen* от «hin und her bewegen» к «schlendern, gehen, über Land gehen» [13. S. 831]. В лексиконе буршеского языка Р. Зальмазиуса (1749 г.) для лексемы *schwänzen* приводятся три значения: «1) heißt so viel als ausziehen; 2) Bisweilen heißt es auch so viel als prellen; 3) heißt es so viel als die Kollegien versäumen» [5. S. 13]. Эти три значения со ссылкой на данный лексикон встречаются еще только в одном словаре [4. S. 125], во всех остальных лексикографических источниках на протяжении двух веков указывается только одно его значение «absichtlich versäumen» [9. S. 218; 7. S. 419; 6. S. 292]. С этим значением *schwänzen* переходит в просторечие и регистрируется уже в словаре разговорного языка [14. S. 751]. С пометой «разговорный» глагол *schwänzen* встречается и в современных словарях стандартного немецкого языка [15. S. 1568; 16. S. 1129]. Таким образом, лексема *schwänzen* из арго перешла в студенческий, а затем в разговорный язык.

Похожая история и у жаргонного глагола *keilen* «prügeln, schlagen», который в немецкий студенческий язык был заимствован из арго [15. S. 980]. Как студенческий жаргонизм он встречается в словаре 1795 г. с тремя значения-

ми: «1. kaufen; 2. im Spiele mehr bieten; 3. schlagen oder prügeln» [10. S. 384–385]. Первые два значения глагол *keilen* постепенно теряет, третье сохраняет и переходит с ним в разговорный язык [14. S. 406]. С пометой «разговорное» он зафиксирован в словаре нормативного немецкого языка в виде возвратного глагола *sich keilen* «einander prügeln» [16. S. 724]. Как молодежный жаргонизм *keilen* появляется снова с 2012 г. во всех ежегодных словарях молодежного языка редакции PONS, но уже в значении «essen» [17. S. 67].

Иная судьба у лексемы *aufpassen*. В 1781 г. она была зарегистрирована как студенческий жаргонизм в значении «auf etwas achten» [9. S. 46]. Из студенческого жаргона эта лексема была заимствована в словарь 1795 г. с тем же значением, но с примечанием, что она употребляется уже и в литературном языке: «jetzt allgemein schriftsprachlich» [10. S. 16]. С того времени *aufpassen* в значении «aufmerksam sein, acht geben» входит в состав стандартного немецкого языка [15. S. 203].

Внимательное изучение материалов словаря Г. Кюппера «Wörterbuch der deutschen Umgangssprache» [14] позволяет выявить, какие молодежные жаргонизмы перешли в разговорный язык, поскольку для большинства словарных единиц автор дает подробные этимологические справки. Из этих справок видно, что число заимствованных из молодежного социолекта слов и выражений, обогативших разговорный язык, довольно велико: *Besen* «Dienstmädchen», *Pinsel* «dummer Mensch», *brummen* «in der Schule nicht versetzt werden», *mogeln* «betrügerisch handeln», *anpumpen* «j-n um Geld ansprechen», *es ist mir Wurst* «es ist mir gleichgültig», *ochsen* «sehr eifrig, streberisch lernen» и др.

Анализ молодежных жаргонизмов, вошедших, по данным словарей, в разговорный лексикон, свидетельствует о том, что это слова, обладающие в семантическом плане общеобиходными, а не узкогрупповыми значениями. Именно поэтому они широко употребляются и вне данной социальной группы.

Итак, наблюдение за динамикой лексико-семантических процессов, происходящих в немецком молодежном социолекте в XVIII–XXI вв., показывает, что он был и остается очень подвижным слоем языка, в котором постоянно идет процесс изменения и обновления лексического состава. Одни жаргонизмы бесследно исчезают, другие входят в разговорный или нормативный язык, третьи употребляются до сих пор в молодежном социолекте в тех же или совершенно иных значениях. Появление лишь небольшого количества новых единиц жаргонной лексики связано с новыми реалиями. Что касается изменений ее основной части, то они являются отражением общих процессов развития семантики и усиливаются благодаря эмоциональности и творческой активности носителей жаргона.

Литература

1. *Androutsopoulos J.K.* Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998. 684 S.
2. *Schlobinski P.* Lexikographie und Lexikologie in der Jugendsprachforschung // *Jugendsprachen – Spiegel der Zeit. Internationale Fachkonferenz 2001 an der Bergischen Universität Wuppertal.* Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. S. 233–237.
3. *Neuland E.* Jugendsprache. Tübingen/Basel: Francke Verlag, 2008. 210 S.
4. *Kluge F.* Deutsche Studentensprache. Straßburg: Trübner, 1895. 136 S.

5. *Salmasius R.* Kompendiöses Handlexikon der unter den Herren Purschen auf Universitäten gebräuchlichsten Kunstwörter, Zum Nuzzen der angehenden Herren Studenten, und aller kuriösen Liebhaber nach alphabetischer Ordnung // Vergnügte Abendstunden, in stillen Betrachtungen über die Vorfälle in dem Reiche der Natur, Künste und Wissenschaften zugebracht. Teil 2. Erfurt: J.H. Nonne, 1749. S. 65–79.
6. *Küpper H.* Jugenddeutsch von A bis Z. Düsseldorf/Hamburg: Claassen Verlag, 1970. 438 S.
7. *Vollmann J.* Burschicoses Wörterbuch. Bd. 1-2. Ragaz: Unteregger, 1846. 520 S.
8. *Wörterbuch der Jugendsprache.* Mit 1500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stuttgart: PONS GmbH, 2015. 142 S.
9. *Kindleben Ch.* Studenten-Lexicon. Aus den hinterlassenen Papieren eines unglücklichen Philosophen Florido genannt, ans Tagelicht gestellt von Christian Wilhelm Kindleben, der Weltweisheit Doktor und der freyen Künste Magister. Halle: Johann Christian Hendel, 1781 // Henne H., Objartel G. (Hrsg.) Bibliothek zur historischen Studenten- und Schülersprache. Bd. 2. Berlin; New York: de Gruyter, 1984, S. 27–313.
10. *Augustin Ch.* Idiotikon der Burschensprache. Germanien Quedlinburg: Ernst, 1795 // Henne H., Objartel G. (Hrsg.) Bibliothek zur historischen Studenten- und Schülersprache. Bd. 2. Berlin; New York, 1984. S. 315–443.
11. *Hä??* Jugendsprache unplugged 2008. Deutsch-Englisch-Spanisch-Französisch-Italienisch. Berlin; München: Langenscheidt, 2008. 155 S.
12. *Sedlacek R.* leet & leiwand. Das Lexikon der Jugendsprache. Wien: echomedia, 2006. 190 S.
13. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Aufl. Berlin; New York: de Gruyter, 2002. 1023 S.
14. *Küpper H.* Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 1. Aufl., 4. Nachdr. Stuttgart: Klett, 1990. 959 S.
15. *Deutsches Universalwörterbuch.* 7. Aufl. Mannheim; Zürich: Dudenverlag, 2011. 2112 S.
16. *Wahrig G.* Deutsches Wörterbuch. 7. Aufl. Gütersloh; München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 2002. 1451 S.
17. *Wörterbuch der Jugendsprache.* Mit 1500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stuttgart: PONS GmbH, 2012. 142 S.

ON THE DYNAMICS OF LEXICAL-SEMANTIC PROCESSES IN THE GERMAN YOUTH SOCIOLECT

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 64–72. DOI: 10.17223/19986645/42/6

Maria Yu. Rossikhina, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: rosmira@yandex.ru

Keywords: language, sociolect, vocabulary, semantics, youth, German.

The article is devoted to the description of the dynamic processes taking place in the German youth sociolect which in modern Germanic studies is traditionally referred to as youth language (Jugendsprache).

Youth sociolect is a constantly evolving part of the language. It is the most flexible layer of the language in which a constant process of updating the vocabulary structure is going on, as a result of which there appear not only new slang words and expressions but also there emerge new previously unknown thematic areas. The objective reason for these changes is that certain notions go out of use and new concepts that are to be named come up. The subjective reason lies in the activity and creativity of slang speakers who think of new words and expressions and constantly invest them with a different meaning later on.

The research also explores in moving fashion changes in the gender aspect of the youth sociolect. In the 18th and 19th centuries slang was predominantly young men's domain since women were not allowed to universities. In the 20th century women got access to higher education but the situation hardly changed and slang words continued to be concerned with male preoccupations. In the 21st century gender asymmetry starts to decrease gradually with slang used equally by both men and women.

Lexical-semantic development is most visible in the change of meanings of slang words that lose their old meanings and repeatedly acquire new ones, in which connection this process can be repeated again and again. The changes in semantics take place at irregular intervals. Sometimes terms get back

their old meanings one or two centuries later. This is mostly the case with polysemantic slang words that change only some of their meanings rather than all of them.

The process of creation of new slangy names for designation of the same persons, objects, concepts is also very active thanks to which there appear synonymic groups whose length indicates the importance of these realities for youth slang speakers.

Due to the transparency of the borders of the youth language we observe transition of separate lexical units into the colloquial and even standard language as is evidenced by the development of some student terms and expressions which are traced in the article three centuries back.

The research is a case study of the material of the most significant dictionaries of the 18th–21st centuries. All the findings are illustrated by concrete examples from these lexicographic sources.

References

1. Androutsopoulos, J.K. (1998) *Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen* [German youth language. Studies on its structure and functions]. Frankfurt: Peter Lang.
2. Schlobinski, P. (2003) [Lexicography and lexicology in youth linguistics]. *Jugendsprachen – Spiegel der Zeit* [Youth languages – Mirror of Time.]. International Conference 2001 at the University of Wuppertal. Frankfurt: Peter Lang. pp. 233–237. (In German).
3. Neuland, E. (2008) *Jugendsprache* [Youth language]. Tübingen; Basel: Francke Verlag.
4. Kluge, F. (1895) *Deutsche Studentensprache* [German student language]. Strasbourg: Trübner.
5. Salmassius, R. (1749) Kompendiöses Handlexikon der unter den Herren Purschen auf Universitäten gebräuchlichsten Kunstwörter, Zum Nutzen der angehenden Herren Studenten, und aller kuriösen Liebhaber nach alphabetischer Ordnung. In: *Vergnügte Abendstunden, in stillen Betrachtungen über die Vorfälle in dem Reiche der Natur, Künste und Wissenschaften zugebracht* [Hilarious evening, in silent reflections on the events in the realm of nature, arts and sciences]. Part 2. Erfurt: J.H. Nonne.
6. Küpper, H. (1970) *Jugenddeutsch von A bis Z* [German of the young from A to Z]. Dusseldorf; Hamburg: Claassen Verlag.
7. Vollmann, J. (1846) *Burschicoses Wörterbuch* [Burschicoses dictionary]. Vols 1–2. Ragaz: Unteregger.
8. PONS GmbH. (2015) *Wörterbuch der Jugendsprache. Mit 1500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz* [Dictionary of youth slang. With 1500 entries from Germany, Austria and Switzerland]. Stuttgart: PONS GmbH.
9. Kindleben, Ch. (1984) Studenten-Lexicon. Aus den hinterlassenen Papieren eines unglücklichen Philosophen Florido genannt, ans Tagelicht gestellt von Christian Wilhelm Kindleben, der Weltweisheit Doktor und der freyen Künste Magister [Student Lexicon. From the posthumous papers of an unhappy philosopher Florido called, brought to the daylight by Christian Wilhelm Kindleben, a philosophy doctor and an arts master]. In: Henne, H. & Objartel, G. (eds) *Bibliothek zur historischen Studenten- und Schülersprache* [Library for historical students and school language]. Vol. 2. Berlin; New York: de Gruyter.
10. Augustin, Ch. (1984) Idiotikon der Burschensprache [Idioticon of the lads language]. In: Henne, H. & Objartel, G. (eds) *Bibliothek zur historischen Studenten- und Schülersprache* [Library for historical students and school language]. Vol. 2. Berlin; New York: de Gruyter.
11. Langenscheidt. (2008) *Hä?? Jugendsprache unplugged 2008. Deutsch-Englisch-Spanisch-Französisch-Italienisch* [Huh?? Youth language unplugged 2008. German-Spanish-French-Italian]. Berlin and Munich: Langenscheidt.
12. Sedlaczek, R. (2006) *leet & leiwand. Das Lexikon der Jugendsprache* [leet & leiwand. The lexicon of youth language]. Vienna: echomedia.
13. Kluge, F. (2002) *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache* [Etymological dictionary of the German language]. 24th ed. Berlin; New York: de Gruyter.
14. Küpper, H. (1990) *Wörterbuch der deutschen Umgangssprache* [Dictionary of colloquial German]. Stuttgart: Klett.
15. Dudenverlag. (2011) *Deutsches Universalwörterbuch* [German explanatory dictionary]. 7th ed. Mannheim; Zurich: Dudenverlag.
16. Wahrig, G. (2002) *Deutsches Wörterbuch* [German Dictionary]. 7th ed. Gütersloh; Munich: Bertelsmann Lexikon Verlag.
17. PONS GmbH. (2012) *Wörterbuch der Jugendsprache. Mit 1500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz* [Dictionary of youth slang. With 1500 entries from Germany, Austria and Switzerland]. Stuttgart: PONS GmbH.

УДК 94(478)+811.161+811.135.2
DOI: 10.17223/19986645/42/7

С.Г. Суляк

О ЯЗЫКЕ СЛАВЯНО-МОЛДАВСКИХ ГРАМОТ XIV–XVII ВВ. (К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА)

В статье представлен краткий обзор изучения языка господарской канцелярии Молдавского княжества. Большинство исследователей придерживалось мнения, что языком молдавской средневековой дипломатики был западнорусский (южнорусский). Автор приходит к выводу, что в основу официального языка Молдавии с момента ее образования (вторая половина XIV в.) до начала XVIII в. лег язык русинов – коренного населения Карпато-Днестровских земель. Он оказал большое влияние на развитие молдавского языка.

Ключевые слов: Молдавия, Румыния, Галицкая Русь, дипломатика, официальный язык, русины, русинский язык.

Первыми местными письменными источниками по истории молдавского средневекового государства являются феодальные грамоты и акты. Имеется в виду следующий актовый материал: грамоты, жалованные, купчие, меновые, духовные, вкладные, деловые, или раздельные, межевые, несудимые, правые, тарханные, или льготные, описи движимого и недвижимого имущества в феодальных хозяйствах, уставные грамоты («оуставничества», или «листы глейтованные»), кабальные записи, или заемные закладные кабалы, договоры, заключавшиеся молдавскими господарями с властями других стран; подарочные грамоты и указы о сыске и возврате беглых крестьян и холопов их прежним владельцам и т.д. [1. С. 43–44].

Число копий грамот, договоров и прочего материала, относящегося только ко второй половине XV в., превышает три тысячи [2. С. 18].

Письменные источники средневековой Молдавии представляют ценность для изучения не только истории, политического устройства, социально-экономических отношений, топонимии, антропонимии, но и культуры, официального языка, который неразрывно связан с разговорной речью.

Еще в 1905 г. бессарабец А.И. Яцимирский (1873–1925), русский славист, подчеркивал, что валашские и молдавские грамоты, написанные на славянском языке, имеют важное значение для изучения культуры княжеств, причем таких грамот насчитывается несколько тысяч, «валашских грамот почти вдвое меньше, чем молдавских» [3. С. 49].

Церковным и официальным языком Валашского (1310 г.) и Молдавского (1359 г.) княжеств с момента их образования до начала XVIII в. оставался славянский.

История изучения валашских и молдавских грамот и их языка начинается с первой половины XIX в.

Первым был русский ученый, выходец из Подкарпатской Руси Ю.И. Венелин (Гуца¹) (1802-1839). Венгерский комитат Берег, где родился Ю. Венелин, располагался в северной части Венгерского королевства, соседствовал с комитатом Мараморош (Марамуреш), откуда началась волошская колонизация Карпато-Днестровских земель. Ныне большая часть двух комитатов входит в Закарпатскую область Украины (в частности, 3/5 Марамороша) [4. С. 108, 132, 245]. В 1840 г. были опубликованы с разъяснениями собранные им «Влахо-болгарские, или Дако-славянские, грамоты» О языке славяно-молдавских грамот XIV–XVII вв. (в историографии вопроса) – работа, написанная в 1832 г. [5].

История изучения языка средневековых валашских текстов и частично молдавских изложена советским славистом С.Б. Бернштейном (1911–1997) [6. С. 21–79].

Анализируя тексты грамот XIV–XV вв., он отмечал, что славянские говоры Валахии, как признают многие объективные исследователи, принадлежали к той же группе говоров, которые объединены как болгарские, о чем «свидетельствуют топонимия, лексические славянские элементы в говорах Валахии и их фонетические признаки, весь старый быт валашской деревни». Также он указывает, что славянские говоры Молдавии были иного происхождения [6. С. 18–19]. С. Бернштейн напоминает, что в связи с турецким завоеванием с конца XIV столетия на Балканах произошло перемещение культурных центров. Болгария утратила свое значение. Появляется новый культурный центр в Восточной Сербии – в Ресаве. Книжная деятельность на славянском языке начинает быстро развиваться и в Придунайских княжествах, прежде всего в Валахии, которая ранее носила исключительно местный характер и была провинциальной [6. С. 21–22]. Причем язык древнейших грамот Валахии отличается от языка современных им грамот болгарских царей. Они передают особенности живого разговорного языка, чего нет в самих болгарских грамотах [6. С. 80–81, 101].

С. Бернштейн пришел к выводу, что валашские грамоты передают местные славянские говоры, генетически родственные болгарским. Валашские дьяки плохо знали деловой славянский язык, поэтому и писали на местном диалекте. Это подтверждается лексикой грамот, анализом фонетики и морфологического строя языка грамот. Все это, по мнению ученого, указывает на тесную связь валашского канцелярского языка с новоболгарским. Поэтому валашские грамоты являются драгоценным источником для изучения славянских народных говоров и для изучения истории болгарского языка [6. С. 77].

В канцелярском языке Валахии различаются три самостоятельных пласта: местный славянский, отражающий черты славянских говоров Валахии (генетически родственный болгарским [6. С. 77], книжный среднеболгарский как результат влияния валашской церковной письменности и книжный сербский, влияние которого становится особенно заметным с 30-х гг. XV в. [7. С. 39].

В валашских и молдавских грамотах имеются многие стилистические штампы, свидетельствующие, что подобные грамоты писались и ранее. Древнейшая славяно-валашская датирована 1342 г. Старшая из дошедших до

¹ Настоящая фамилия Венелина – Гуца произошла от этнонима «гуцул».

нас молдавских грамот датируется 1374 г. (принадлежит Югу Кориатовичу) [6. С. 64]. Большинство грамот написано на славянском языке, хотя есть грамоты на латинском, греческом, валашском, молдавском языках. Древнейшие валашско-славянские грамоты, как доказали румынские ученые, написаны на среднеболгарском языке, с некоторой примесью сербского. А их почерк схож с болгарскими грамотами [7. С. 244, 259, 262].

Штампы валашских и молдавских грамот отличны. Грамота валашского господаря Владислава Водицкому монастырю (под 1374 г.) начинается и заканчивается следующими словами (на единообразии начала и заключения обратил внимание в свое время Ю. Венелин [5. С. VII]: «Понеже, аз, иже в Христа Бога благоверный воевода Владислав, милостию Божиия господин всей Угровлахии...

...аминь.

Ио Владислав, милостия Божиия господин» [8. С. 17–18].

Вскоре на место формы «Аз, иже в Христа Бога...» (либо «В Христа Бога...»), не всегда соблюдаемой, приходит новая (см. грамоту 1456 г.): «Милостию Божию Ио Владислав, воевода и господин всей земли Угровлахийской...

В заключении: «Ио Владислав, милостию Божиия господин». Перед этим, кто писал, место и дата» [8. С. 196–197].

† Милостіѡм Божіѡм Іѡ Владіслав воевода и господинъ вѣсен земли Оугровлахійскои, сынъ Дана великаго воеводе. Дават господство ми сѣе повелѣніе господства ми волѣриѣ господства ми жупанѣ Могошѣ съ сынове мѣ и съ дѣщере мѣ, колико мѣ Богъ даст сынове или дѣщери, тако да мѣ сѣт села по имѣ: Корби вѣси, по Яргни доле, и Корби ѡт Камен вѣси, и учина ѡт Мичаши и съ бродоѣ ѡт водянице и пол ѡт Малѣрени, понеже сѣт жупанѣ Могошѣ старе и праве учинѣ, дѣдинѣ.

Причем некоторое время эти две формы существуют параллельно.

В молдавских же грамотах изначально присутствовала другая форма. Вначале (см. грамоту 1392 г.) пишется:

«Великий самодержавный господин...» [9. С. 3].

† Велики самодержавный г<осподи>нъ, Іѡ Роман воевода Землѣ Молдавскої ѡт планины до брегѣ моря, не нашимъ сына², Александромъ, и съ нашимъ сыномъ, и съ Богданомъ, и с нашими бояры. Чинимъ то вѣдомо оусѣмъ добрымъ паном, ктожь на сеї листѣ оузритъ или его оуслышитъ чтѣчи, вже тотъ слѣга наш, Тодоръ, и съ своею братнею, сынове Бѣлого Драгомра: Дмитро, Петръ, Мнѣхано, Жюржъ слѣжжили намъ не правою вѣрою и слѣжатъ и еще по нѣх болшее слѣжбы надѣемсѣ. Тѣ<м>¹, есмн нѣх особною м<н>¹л<о>¹стн жаловали, дали есмн намъ а село оу нашихи земли, оу Молдавскои, на Сочавѣ.

Позже (см. грамоту 1398 г.): «Милостию божию, мы...» [9. С. 10].

† М(н)л(о)стїю б(о)жїю, мы, Юга воевода, г(о)сп(о)д(а)ръ Земли Молдавскон. Знаемо чинимъ нашимъ листомъ, ѡснмъ добрымъ паномъ кто на нь ѡзрнтъ или его оуслншт(ъ), ѡже тѣи истынни слѡга нашъ, панъ Бран, слѡжилъ переже св(ѡ)тѡпочившимъ родителемъ нашимъ, а днесь слѡжат(ъ) намъ правюю и вѣрною слѡжаю. Тѣмъ, мы, видѣше его вѣрнѡ слѡжеѡ, жаловали есмы его ѡсобною м(н)л(о)стїю, дали есмы емѡ од<нно>¹ мѣсто, на Страхотинїе, емѡ, оурикъ, со ѡснмъ доходомъ, и днтемъ его, и оуиѡчатомъ его, и прашнчатомъ его, и прашерѡтомъ его.

В конце грамот обязательно указывалось, кто писал, место (первое и второе не всегда) и дата.

Молдавскую дипломатику, как говорилось выше, начали изучать с первой половины XIX в. Ю. Венелин указал, что валашские грамоты написаны на «природном болгарском языке». Грамоты Молдавского княжества – «на южнорусском наречии». Исследователь отметил, что «грамоты XIV и XV веков чище в языке и лучше в правописании, нежели в XVI или XVII столетиях». Причинами он называет «водворение от ига и влияния турок невежества», численный перевес волохов в Валахии над болгарам и русскими, которые «постепенно оволошивались» [5. С. I]. Издание заключало 4 грамоты XIV в., 16 грамот XV в., 24 грамоты XVI в. и 22 грамоты XVII в. – валашские, молдавские и славянские грамоты императора Сигизмунда (сын чешского короля Карла IV) [6. С. 23]. Они были списаны Венелиным с подлинников, хранящихся в монастырях Бухарестской митрополии и в частных собраниях.

Сборник Ю. Венелина [8] был первым изданием молдавских и валашских грамот. Как отметил Ф. Грекул, на год раньше «Архива ромыняскѡ», выпускавшегося М. Когэлничану в Запрутской Молдове (в Яссах), и бухарестского «Magazinu istoricu pentru Dacia», первый том которого вышел в 1845 г. [2. С. 17; 1. С. 37].

В один год с работой Ю. Венелина появилось «Начертание правил валахо-молдавской грамматики, составленной Я. Гинкуловым», в котором автор указал, что «в отношении к количеству слов, составляющих язык романский, можно допустить следующую приблизительную пропорцию: от 4/10 до 5/10 слов в нем латинских, около 3/5 – славянских, остальные же заимствованы большею частью из языков: венгерского, турецкого и греческого». Также было отмечено отличие валашского наречия от молдавского (валахи употребляют больше слов латинских, венгерских, и «валашское произношение несколько грубее и принужденнее молдавского» [10. С. VIII–IX]).

В 1868 г. в «Летописи занятий Археографической комиссии 1865–1866» вышли «Грамоты угро-влахийские и молдавские XV–XVI вв.» Я.Ф. Головацкого (1814–1888), видного деятеля галицко-русского Возрождения. Опубликовано шесть жалованных господарских грамот (одна – валашская, пять – молдавских), одна – из архива магистратуры Львова, остальные – из собрания графа В. Баваровского во Львове с пояснениями некоторых слов [11].

Немало грамот увидело свет в «Записках Одесского общества любителей истории и древностей» благодаря Н.Н. Мурзакевичу (1806–1883), в свое время основавшему данное общество. Им были опубликованы 5 грамот с небольшими примечаниями в 1848 г., 15 грамот с небольшими примечаниями в

1853 г., 15 грамот в 1858 г. (из них 13 с небольшими примечаниями) и 3 грамоты в 1863 г. [12–16].

Российский историк В.А. Уляницкий (1855–1920) издал в 1887 г. «Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV–XVI вв.». Помещенные здесь документы «касаются отношений Польши, Литвы и Московского государства к Молдавии и частью Валахии, единственным балканским христианским княжествам, документальные следы политических отношений к коим этих государств за XI–XVI в. сохранились в Московском главном архиве» [17. С. III]. Этот труд востребован исследователями и в наши дни.

Большой вклад в изучение молдавских письменных источников внесли российские слависты бессарабцы А.А. Кочубинский (1845–1907), П.А. Сырку (1855–1905) и А.И. Яцимирский (1873–1925).

А. Кочубинский считал, что «не только политическое, но и духовное рождение северной половины румынской национальности (имеются в виду молдаване. – С.С.) свершилось при воздействии гения русского народа» [18. С. 508]. В статье «Лapidарные надписи XV ст. из Белгорода, что ныне Аккерман» он представил анализ надписей на камне в Белгороде во времена Молдавского княжества: славянской 1438 г. («правописание болгаро-румынское» (волошское. – С.С.), «язык славянский, русского характера, но с окраской кое-где местной, румынской» (волошской. – С.С.)), греческой 1440 г. (в имени строителя Белгородской крепостной стены – Федорка, увенчавшего через два года постройку «великих врат», видит выходца из Галичины), славянской 1482 г. («язык того же характера, что и в славянских грамотах XV–XVI в. – славяно-русский, но с заметной грамматической небрежностью, как это ясно из текста самой надписи») [18. С. 520, 531–532, 540].

В другой своей работе «Частные молдавские издания для русской школы (библиографические заметки)», вышедшей в 1903 г., А. Кочубинский отмечал, что имеется немалое количество бессарабско-молдавских грамот XV–XVII вв. о пожалованных вотчинах. «Их так называемый славянский язык насквозь пронизан малорусскими элементами, может быть, даже иногда указан элемент гуцульский, т.е. восточногалицкий». Ученый обратил внимание на то, что в грамотах на села у среднего Днестра, в пределах нынешней молдавской этнографической территории, названия сел и урочищ около них «прегнантно-малорусские» [19. С. 396].

П.А. Сырку, изучая переписку валашских воевод с Сибинским и Брашовским магистратами, писал, что «от лингвиста, желавшего производить разыскания в области славянского языка грамот, изданных румынскими князьями (имеются в виду валашские и молдавские¹. – С.С.), требуется «основательное и детальное знание языков болгарского, сербского, малорусского, польского, румынского, венгерского, средневеково- и новогреческого, албанского и, наконец, турецкого языков, а также из истории, политической и культурной жизни этих народов» [20. С. XI].

¹ Молдавское княжество прекратило свое существование, объединившись с Валахией в 1859 г. в единое государство Объединенные княжества (с 1861 г. – Румыния), ставшее независимым в 1877 г. в ходе русско-турецкой войны. В связи с этим вопреки принципу историзма произошло «удревление» этнонима «румын».

А.И. Яцимирский указал, что в основу актового языка Молдавии XIV–XVII вв. был положен русский: с одной стороны, официальный западнорусский, с другой - живой галицко-волынский говор. Исследователь также обратил внимание на влияние болгарского книжного языка тырновской редакции, влияние польского (или белорусского) и в слабой степени румынского [21. С. 155]. В своей статье «Молдавские грамоты в палеографическом и дипломатическом отношениях» А. Яцимирский пишет: «Язык молдавских грамот не представляет чего-нибудь устойчивого; в основе его – западнорусский официальный с заметным преобладанием галицко-волыньских черт и книжных болгарских форм, и написаний. В более древних грамотах сильно польско-белорусское влияние, в поздних - живое румынское». Представляя обзор «формул и терминов молдавских грамот», он сделал вывод, что молдавские грамоты «более устойчивы в этом отношении, чем валашские» [22. С. 188]. Анализируя валашские грамоты, ученый установил, что «язык их болгарский, с уклонением в сторону сербской фонетики, этимологии и словаря, иногда с румынскими выражениями и синтаксисом» [3. С. 52].

Польский историк, российский подданный А. Яблоновский (1829–1913) обратил внимание на связи Молдавии (Волощины) с Южной Русью, причем не только религиозные, в том числе и церковнославянский язык церкви, но и на единый с Великим княжеством Литовским и Русским язык актов публичных и боярских усадеб. Мунтения (Валахия) сближалась по языку с соседними задунайскими областями, а в Молдавии преобладал вариант русского [23. С. III].

Большое внимание изучению языка молдавских грамот уделили ученые, жившие в Австро-Венгрии. Интерес этот был не праздный: в империи проживали русины, валахи, молдаване. В составе Австро-Венгерской монархии с 1772 г., после первого раздела Польши, оказалась Галиция, в 1774 г. – часть Молдавского княжества – Буковина.

Словацкий славист, деятель чешского и словацкого национального возрождения П.Й. Шафарик (1795–1861) в своих «Славянских древностях» писал (правда, не разделяя язык валашских и молдавских грамот): «Славянский язык, как свидетельствуют подлинные современные грамоты молдавских и валашских князей, был до XVII в. не только церковным, но и вместе с тем и гражданским. Почти все государственные и придворные должности имели и по сию пору имеют славянское название» [24. С. 342].

В 1893 г. чешский историк К.Й. Ирчек (1854–1918) пишет рецензию на книгу румынского филолога И. Богдана (1864–1919) «Vechile cronice moldovenesci până la Urechia», в которой автор анализирует язык молдавских хроник, вышедших до Г. Уреке, и делает вывод, что это староболгарский язык с сильным русским влиянием [25]. К. Ирчек отмечает, что язык молдавских грамот в основном русский и большинство опубликованных документов 1393–1450 гг. написаны в русском стиле. Записи же на болгарском языке редки. Это он объясняет тем, что до возникновения Молдавии земли Галицкого княжества в XII в. простирались до устья Дуная, а до 1774 г. в составе Молдавии была область, расположенная в непосредственной близости от древней столицы Сучавы (Буковина) с коренным русским населением [26. С. 85–86].

Польский славист Э. Калужняцкий (1845–1914), профессор славянской филологии в Черновицком университете, опубликовал в 1878 г. во Львове молдавские и валахские документы из архивов Львова (14 грамот). Он разъясняет отличие названий *Валахия* (*Мунтения*) и *Молдавия* (*Волощина*), упоминает, что на Буковине исторически проживает русский народ и что официальные документы молдавской господарской канцелярии до половины XVI в. постоянно писались на русском языке [27. С. 195–198].

Словенский языковед Ф. Миклошич в работе «Славянские элементы в румынском языке» («Die slavischen Elemente im Rumänischen») после краткого обзора этнонимов *румын*, *влах* (*волох*, *валах*), названий стран *Валахия* (*Узрорвахия*), *Молдавия* (*Маврорвахия*), истории коренного населения и т.д. дает обзор 1082 слов славянского происхождения. К сожалению, ученый не всегда различал слова южнославянского и восточнославянского происхождения [28].

Значительный вклад в изучение молдавских господарских грамот и других письменных источников княжества внесли румынские исследователи (правда, большинство из них не признавало существования отдельного от румынского (валахского) молдавского языка).

А. Чихак (1825–1887) в своем «Дако-румынском этимологическом словаре» (A. de Cihac. «Dictionnaire d'étymologie daco-romane», t. I. Francfort s/M., 1870; t. 2, Francfort s/M. 1879) упоминал, что, хотя в основе румынского языка лежит латинский, славянская часть его словаря составляет 2/5 всех слов, тогда как латинская – 1/5. Все приведенные слова славянского происхождения являются частью языка румынского народа. Румынский язык, по его словам, обогатили почти все славянские диалекты. Однако ведущую роль он отводит старославянскому (или староболгарскому). Этот факт не может вызвать удивление, так как румыны были обращены в христианство славянами Паннонии, которые жили тогда в Дакии и Венгрии на обоих берегах Дуная и славянский язык использовался в церкви до XVIII в. Также ученый упомянул, что румыны сохранили религиозные суеверия и т.д., которые имеют славянское происхождение, и даже сейчас сохраняются обычаи, которые восходят к славянскому язычеству (вероятно, к русскому) (А. Чихак – молдаванин из Ясс, поэтому был знаком с обычаями местного населения. – С.С.) [29. С. VIII–IX].

Филолог-славист И. Богдан (1864–1919), проанализировав в 1907 г. вышедшие работы по языку старейших молдавских грамот, указал, что все они делятся на внутренние (большей частью господарские пожалования боярам, монастырям, подтверждения различного рода между боярами и их потомками в области земельного права) и внешние документы (в основном вассальные акты, союзы и соглашения с польскими и венгерскими королями, литовскими князьями, привилегии купцам, политическая и коммерческая корреспонденция и т.д.). Эти документы, по мнению ученого, написаны на русском языке и соблюдают все фонетические и морфологические особенности, присущие русским говорам (великорусским и белорусским). Он обращает внимание на малорусские (*kleinrussische*) компоненты, которые наблюдаются во внешних документах, отмечая, что с этим произношением молдаване могли

познакомиться на севере страны, где находилась столица княжества Сучава [30. С. 369–372].

Позже, разбирая грамоты времен Штефана Великого, И. Богдан постоянно отмечал русский язык этих грамот. К примеру (грамота 1464 г.): «наш верный боярин пан Андреико Чорторыиский служил нам право и вирно. Тем и мы видевши его правою и вирною слоужбою до нас, жаловали есми его оусобную нашу милостию, дали и потвердили есми емоу оу нашей земли оу молдавской села его правая оутнина, на име селам: Чортория и Дубовецоул и Ошихлиб». Ученый считал, что имя и прозвище боярина – из Галицкой Руси, как и названия сел, – русского происхождения. Появились они во времена Александра Доброго, а может быть, и раньше [31. С. 85–86]. Подчеркивая, что язык грамот времен Штефана Великого не является чисто русским, он смешивается со многими элементами средневекового болгарского церковного языка и с «мунтенизмами» (*muntanisme*), молдавскими словами в редких документах [31. С. 101], он постоянно указывал на русизмы, русские топонимы в грамотах [31. С. 108, 136, 142–143, 151, 157, 159, 175–176, 188, 198, 201, 220, 287, 336–338, 341, 343, 359, 371, 401, 414, 466, 488; 32. С. 95, 129, 166, 172, 196, 217, 231, 243, 274, 278, 280, 282, 293, 315, 366–367, 426]. В то же время в языке некоторых молдавских грамот появляются южнославянские черты, к примеру в ряде грамот Стефана Великого (см. [32. С. 140, 147–149, 158]), как отмечает С. Бернштейн [6. С. 88].

В конце второго тома И. Богдан помещает словарь «Славянские слова», в котором разъясняет значение некоторых часто встречающихся слов в основном русского происхождения [32. С. 595–609]. Объяснение русских слов молдавских грамот давал и М. Костэкеску в своей монографии «Молдавские документы до Стефана Великого» [33].

А. Розетти (1895–1990) в работе «Румынский язык в XVI веке» считал, что по политическим и культурным обстоятельствам прошлых веков язык румынских (Валахии и Молдавии. – С.С.) канцелярии и церкви в XVI в. был старославянским. Помимо болгарских, позже вводились сербские и русские элементы. Ученый отмечает русское влияние на славянские тексты в Молдавии, в то время как тексты в Цара Ромыняскэ (Валахии) знают болгарскую графику [34. С. 1–2, 16].

Ясский филолог И. Бэрбулеску (1873–1945) в своей монографии «*Individualitatea limbii române și elementele slave vechi*» отмечал, что болгарский элемент вошел в молдавский и валахский языки, в топонимику Валахии и Трансильвании. Первоначально молдаване жили в этом регионе вместе с мунтянами и болгарскими славянами, затем некоторая часть их направилась в Молдавию, в которую прибыла в XIII в. (некоторые утверждают, что в даже в XII в.), где с VI в. жили русины. От последних, вследствие ассимиляции, они унаследовали большую географическую номенклатуру и слова с конкретными русинизмами (*rutenisme*). Он же писал, что румыны с XII в. стали приобретать молдавские черты, проживая и смешиваясь с русинским элементом (*elementul rutean*). Правда, на основании своего исследования ученый пришел к выводу, что нельзя утверждать, что русинский (русский) (*ruteană* (*rusească*)) язык участвовал в создании румынской этнической индивидуальности [35. С. 80–81]. В свое время С. Бернштейн указал на пристрастность И. Бэрбуле-

ску в вопросе о роли славянства в истории румынского языка, народа и культуры. В связи с этим его исследования, как считал советский славист, не всегда могут быть признаны объективными [6. С. 49]. Это, впрочем, можно отнести и к некоторым другим румынским ученым, которые, к сожалению, периодически меняли свою точку зрения в зависимости от политической конъюнктуры.

К примеру, румынский историк литературы Н. Картожан (1883–1944), рассуждая о тенденциях в румынской культуре XV–XVI в., утверждал, что до XVI в. в Молдавии в текстах имел доминирующее влияние староболгарский (*mediobulgară*), в Мунтении – старосербский (*paleosîrbă*). В северной Трансильвании (Ардяле) появляются тексты в русской (точнее – украинской) редакции (*texte de redacție rusească, probabil ucraineană*). К концу XVI в., т.е. после женитьбы Стефана Великого на Евдокии, сестре киевского князя Симеона Олельковича, и особенно во времена Василе Лупу и Матея Басараба благодаря влиянию митрополита Петра Могилы в Валахии и Молдавии, как считает исследователь, начинают появляться тексты в русской редакции (*texte de redacție rusească*) [36. С. 38].

Историк-медиевист П. Панаитеску (1900–1967) в работе, посвященной жизни молдавского господаря Александра Доброго, писал, что в Молдавии церковь использовала славянский язык и церковные труды были сделаны по образцу и подобию болгарской, сербской и русской церквей. Все религиозные книги и письменные уставы были на старославянском. Этот язык был фактически литературным языком, языком древнеболгарским. Со временем пришло влияние живых славянских языков: болгарского, сербского и русского, который был официальным в Литве (Панаитеску называет его белорусским. – С.С.). Влияние последнего больше встречается в Молдавии, которая являлась соседом Литвы и с ней тесно связана [37. С. 16, 22–23]. В другой своей работе П. Панаитеску пишет, что в средневековой Молдавии старославянский язык был языком церкви, а языком официальных актов и литературы – западнорусский, правда, без объяснения причин [38. С. 117].

Н.Н. Петрашку (1859–1944) и Г.Г. Безвикони (1910–1966) в «Русско-румынских отношениях» напоминают, что язык, письменность и социальная жизнь в Молдавии явно находились под русским влиянием (или литовско-русского симбиоза) вместе со старым влиянием Галиции [39. С. 19].

Румынский славист Д.П. Богдан анализировал язык славяно-румынских текстов, которые написаны в болгарской, сербской или русской редакциях, так как славяно-румынский язык того времени был подвержен влиянию окружающей среды. Но в молдавских текстах существует отличие от аналогичных в Цара Ромыняскэ (Валахии) и Трансильвании, где на тексты влияет среднеболгарский и среднесербский языки. Большинство документов и печатных изданий в Молдавии создано под влиянием старорусского языка, чего не знают славянские тексты Валахии и Трансильвании [40. С. 6–7]. Это же мнение ученый высказывал и в других своих работах. К примеру, анализируя фонетические особенности языка славяно-румынских грамот XIV в., он делает вывод, что в основе фонетических явлений славянских грамот XIV в. лежат старославянские фонетические явления в виде среднеболгарских и отчасти сербских фонетических явлений. Что касается фонетических явлений сла-

вянских грамот из Молдавии XIV в., они имеют в основе старославянские явления, отраженные в виде среднеболгарских и русских фонетических явлений, но преобладают все-таки явления восточнорусских языков. В молдавских грамотах замечается, хотя и в меньшей степени, влияние сербских фонетических явлений – это влияние славянских грамот Валахии [41. С. 75].

Советские (в том числе и молдавские) ученые в большинстве случаев старались не конкретизировать название славянского языка княжества. Этот вопрос в советское время, в условиях молдавского национал-социализма, старались не озвучивать.

Советский филолог В.Д. Шишмарев (1875–1957) выразил мнение, что язык письменности средневековых Валашского и Молдавского княжеств был болгарский. Он полагал, что «большая часть заимствованных болгарских слов носит среднеболгарский характер, а с другой стороны, уже в древнейших из них, общих всем разновидностям балкано-романского, имеются черты восточноболгарского наречия» [42. С. 92]. Хотя по каким-то причинам исследователь проигнорировал влияние языка русинского населения Марамуреша и Карпато-Днестровских земель на язык восточных романцев, он все же говорит о появлении новых элементов в словаре в результате контакта с новыми соседями – с болгарями и сербами за Дунаем, с украинцами и поляками на севере, а позднее с русскими на востоке. Ученый считал, что с превращением Молдавии и Валахии в самостоятельные княжества происходит постепенная ликвидация двуязычия, а славянскую письменность насаждала церковь [42. С. 92–93, 95–96].

Советский источниковед В.И. Буганов (1928–1996) считал языком молдавских грамот старорусский [43. С. 273].

В монографии «История Молдавии», вышедшей в 1951 г., говорилось, что «письменные памятники, молдавские грамоты XIV в. и другие древние тексты писались в Молдавии на языке Юго-Западной Руси, в них преобладали галицко-русские языковые элементы... Таким образом, славяно-молдавская письменность, сложившаяся в Молдавии к концу XIV в., представляет собой культурное наследие Киевской и Галицкой Руси» [44. С. 96]. В «Истории Молдавской ССР» 1965 г. сказано, что славянский язык становится также языком господарской канцелярии Молдавии. Следует, однако, иметь в виду, что славянский язык молдавской дипломатики отличался от церковнославянского, так как он испытывал на себе благотворное влияние говоров Юго-Западной Руси [45. С. 261]. В «Истории Молдавской ССР» 1984 г., подразумевая средневековую Молдавию, указывается: «Славянский язык, как и некоторые другие древние языки, считавшийся священным, стал применяться в Молдавии повсеместно в литературе, богослужении и делопроизводстве. Все это весьма положительно сказалось на культурном развитии княжества, приобщившегося тем самым к высокой культуре Византии и славянского мира» [46. С. 147].

Советский филолог М.Н. Сергиевский (1892–1946), один из основателей изучения романских языков в СССР, в своей работе «Молдо-славянские этюды», говоря о влиянии восточнославянского элемента на романский, которое усилилось в XV в., письменный язык господарских канцелярий считал «не чем иным, как обычным деловым языком Юго-Западной Руси с примесью

элементов галицко-волынской разговорной речи», соглашаясь с мнением А. Яцимирского [47. С. 68].

Некоторые молдавские ученые продолжают называть язык администрации и дипломатических отношений Молдавского княжества старославянским [48. С. 86; 49. С. 61; 50. С. 70], однако указывают на существовавшее в Молдавии билингвизма. Т.П. Ильяшенко писала, что «молдавский язык и его письменность в XIV–XVIII вв. формировались в условиях параллельного употребления двух языков, что нашло отражение в специфике молдавского языка и других восточнороманских языков по отношению к западнороманским» [48. С. 86]. Период книжного славяно-молдавского билингвизма, по ее мнению, начинается с X–XI вв. [51. С. 24]. А.Т. Борщ тоже считал, что «двуязычие с литературным церковнославянским языком», по его мнению, началось «с момента вхождения романцев в контакт с крещеными славянами – примерно с X в. и развивалось постепенно параллельно с дальнейшим расселением романских масс среди местного славянского населения в форме взаимодействия церковнославянского литературного языка с романским народным, а с первыми попытками письменного употребления романского языка – уже с его письменным вариантом весь XVI и до середины XVII в., когда старославянский литературный язык был официально заменен молдавским письменно-литературным языком (в Валахии – тоже, хотя несколько позже) в функции языка канцелярии, администрации, богослужения и т.д., то есть когда все функции литературного языка молдавский язык принял полностью на себя» [49. С. 61].

Т. Ильяшенко выделила несколько этапов славяно-романских отношений:

1. V–X вв. – возникновение этнического симбиоза и двуязычия речи.
2. X–XIV вв. – зарождение предпосылок образования Молдавского феодального государства в тех же условиях.
3. XIV–XVI вв., когда в молдавском государстве старославянский был официальным языком и одновременно развивался устный молдавский, функционировавший затем как народный язык.
4. XIV–XVIII вв. – формирование молдавской письменности в условиях параллельного употребления двух языков [48. С. 86].

В V–X вв., в период балкано-романской общности, наблюдается симбиоз с южнославянскими народами, а с XII в. – с украинским и русским народами [48. С. 85].

Несколько иная периодизация у М.А. Косничяну. Первый период, VI–XII вв., характеризуется заимствованиями из общеславянского и южнославянских языков, особенно из болгарского. По характеру заимствованных элементов данный отрезок делится на два этапа:

1. VI–IX вв., когда славянизмы проникали устным путем через разговорную речь.
2. IX–XII вв., когда одновременно с христианством проникали книжные элементы, особенно из Болгарии, где славянская письменность находилась в расцвете.

Второй период, XII–XVIII вв., характеризуется восточнославянским влиянием древнерусского и украинского языков. В нем выделяются также два этапа:

1. XII–XVI вв., когда происходили адаптация и ассимиляция славянских форм и формантов.

2. XVI–XVIII вв., для которых характерно новое восточнославянское влияние.

Третий период охватывает XVIII–XX вв., и ему свойственно русское и украинское влияние [52. С. 52].

Упоминает о периоде славяно-молдавского билингвизма, правда, в раннем Средневековье, и Н.Г. Корлэтяну [53. С. 21].

Одним из немногих молдавских исследователей, прямо говоривших именно о молдо-русинских контактах и молдо-русинском билингвизме, был Н.Д. Раевский. Он считал, что контакты волохов с русинами начались со второй половины XIII в. с началом интенсивной волошской колонизации Карпато-Днестровских земель, указав ареал расселения русинов [54. С. 232–244].

В.Н. Стати, один из немногих молдавских исследователей, оставшихся на позициях молдавенизма, не отрицая славянское влияние на культуру Молдавии, подчеркивает: «В Молдове, как правило, религиозные тексты были распространены на славянском языке среднеболгарской редакции, а в господарской канцелярии использовался славянский в русинско-украинской редакции [55. С. 72]. Он же обратил внимание на то, что «украинского исследователя абсолютно не интересует эволюция его родного языка, корректность его названия: русинский, малороссийский, украинский» [55. С. 240].

Значительный вклад в изучение языка молдавских феодальных документов внесли украинские ученые. В 1910 г. студент В. Ярошенко представил для премии по вопросу о языке грамот, опубликованных в свое время В.А. Ульяницким и Е. Калужняцким, работу «Исследование малорусского языка молдавских грамот XIV–XV вв., изданных г.г. Ульяницким и Калужняцким», которая на базе реферата профессора А.А. Шахматова, была удостоена данной премии. Позже, в 1931 г., В. Ярошенко опубликовал работу «Українська мова в молдавських грамотах XIV–XV вв.», которая сопровождалась словарем [56. С. 56].

Советский украинский языковед С.В. Семчинский (1931–1999) полагал, что долгое время письменным языком Молдавского княжества был староукраинский (или старославянский украинской редакции) язык. На нем писались грамоты господарской канцелярии, и они являются ценным источником для изучения староукраинского языка [57. С. 746].

Советский и украинский лингвист В.М. Русановский (1931–2007) писал, что западнорусский письменный язык – устаревшее название староукраинского и старобелорусского (употреблялся, по его мнению, в XIX в., так как в то время не было официального термина «украинский язык») – представлен в письменных белорусских, киево-волинских документах XIV–XVI в. С распространением шляхетской привилегии на всю литовско-русскую шляхту (1457) в украинско-белорусской письменности появляются заимствования из польского языка, а также специфические фонетические и грамматические черты, отличающие эти деловые документы грамот, написанных в Галичине, Польше и Молдавии [58. С. 197]. В своей «Истории украинского литературного языка» он замечал, что к концу XVI в. украинские земли входили в состав нескольких государств: большая часть территории Украины, а именно

Киевщина с Переяславщиной, Черниговщина, Волынь и северо-восточное Подолье – в состав Великого княжества Литовского, Галичина и юго-западное Подолье были захвачены Польшей, часть подольских и галицких земель (Буковина) отошла к Молдавскому княжеству, Закарпатье – под власть венгерских королей. Эта разобщенность мешала созданию единого литературного языка. Для письменных текстов с Волыни, Среднего Приднепровья, Галичины и Молдавии были характерны местные черты. В молдавских грамотах также полно проявляется церковнославянская традиция [59. С. 47–48].

Эту же мысль высказывает украинский зарубежный языковед, лексикограф, историк церкви И.И. Огиенко (1882–1972), упоминая, что эти земли в свое время находились под властью галицких князей: «Во всех молдавских церквях богослужение велось на староукраинском языке (то есть на языке церковнославянском с украинским произношением), а по канцелярии царя украинская литературная речь как речь официальная в Молдавии до XVIII века» [60. С. 70].

Мнения, что западнорусский язык в качестве языка делопроизводства был распространен в XIV–XV вв. на территории от Вильно до столицы средневековой Молдавии Сучавы, придерживается и Л.Л. Гумецкая [61. С. 35].

Б. Тимочко считает, что лексика молдавских грамот XIV–XV вв. делится на исконно украинскую и заимствованную. Однако большинство слов являются украинскими, они были зафиксированы уже в XIV в. и использовались в течение многих веков. Он отмечает, что диалектную лексику в этих документах никто не изучал [62. С. 13].

Молдавские грамоты публиковались на Украине в различных сборниках. В 1926 г. были выпущены грамоты, собранные и подготовленные к публикации в 1917 г. («Южнорусские грамоты») русским лингвистом В.А. Розовым (1876–1940). Приведено 6 документов, обращенных к молдавским господам от польского короля, вельмож, епископов (договорные грамоты, закладные, обязательства), написанных на южнорусском языке [63. С. 36, 76, 122, 124, 162, 168]. В конце сборника приведен общий словарь, где дан полный перечень всех слов и форм, встречающихся в изданных грамотах.

Среди письменных памятников XIV в. с выраженными признаками украинского языка в сборнике «Грамоти XIV ст.» приведено 9 документов, связанных с Молдавией (один – подписанный польским королем, 6 документов молдавских господарей, по одному – господарского сына и молдавских бояр) [64. С. 9, 81, 104, 109, 120, 125, 126, 147, 148]. Все приведенные тексты договоров, присяг, дарственных, поручительств, разрешений и т.д. написаны на западнорусском языке и не отличаются от других текстов, приведенных в данном сборнике. Издание снабжено указателями словоформ апеллятивной, антропонимической и топонимической лексики [64. С. 150, 198, 215].

В сборнике «Українські грамоти XV ст.» помещены письменные памятники Центральной Украины, Западного Полесья, Галиции, закарпатские грамоты, а также 32 грамоты с территории Молдавии [65. С. 59–132]. В предисловии В.М. Русановский отмечает: «Молдавские земли долгое время входили в состав Галицкого княжества. Поэтому, когда в конце XIV в. в бассейне Прута, Днестра и Дуная возникла самостоятельная Молдавская держава, она

унаследовала от предыдущих веков русское письмо и русский официальный деловой язык. Историки отмечают, что “славяно-молдавская письменность, которая сложилась в Молдавии на конец XIV в., представляет собой культурное наследие письменности Киевской и Галицкой Руси” [44. С. 96]. Русский язык как официально-деловой язык Молдавии был в значительной степени трансформирован под влиянием украинских говоров и вобрал в себя значительное количество молдавских, венгерских и южнославянских лексических элементов. Поскольку деловая речь Молдавии и деловая речь Литовского государства базировались на древнерусской основе, между ними есть большое сходство. Однако между ними есть и существенное различие, ибо развивались они под влиянием различных диалектных массивов» [65. С. 10]. Как отмечал исследователь, и в Закарпатской Руси (как указывалось выше, в составе Закарпатской области находится большая часть бывшего комитата Мараморош, откуда началась волошская колонизация Карпато-Днестровских земель. – С.С.) в XV в. «официальным деловым языком продолжал оставаться русский язык, обогащенный местными наречиями» [65. С. 10]. Издание, как и предыдущее, снабжено указателями личных имен, географических названий и словарем малопонятных слов [65. С. 139, 149, 156].

Большим подспорьем для дальнейшего изучения документов молдавской господарской канцелярии служат сборники грамот, выпускавшиеся в Румынии и Молдавии. Таких сборников выходило достаточно много. Часть из выпускавшихся в Румынии издавалась только в переводе.

О двухтомнике документов Штефана Великого, изданном в 1913 г. И. Богданом с оригинальными текстами, комментариями, библиографией, перечнями упоминаемых имен и географических названий, румынским и славянским словарями, упоминалось выше (Bogdan I. Documentele lui Ștefan cel Mare. Vol. 1. Hrisoave și cărți domnești (1457–1492); Vol. 2. Hrisoave și cărți domnești (1493–1503), tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori (1457–1503), București, 1913).

Буковинский историк Т. Балан (1885–1972) подготовил к изданию сборник «Документы Буковины» (средневековые тексты даны в оригинале с переводом). При жизни автора вышло шесть томов: Documente bucovinene. Vol. 1. 1507–1653, Cernăuți, 1933; Documente bucovinene. Vol. 2. 1519–1662, Cernăuți, 1934; Documente bucovinene. Vol. 3. 1573–1720, Cernăuți, 1937; Documente bucovinene. Vol. 4, Cernăuți, 1938; Documente bucovinene. Vol. 5. 1745–1760, Cernăuți, 1939; Documente bucovinene. Vol. 5, București, 1943). Три тома увидели свет в 2005–2006 гг. (Documente bucovinene. Vol. 7–9, Iași, 2005–2006).

В 1950-е гг. под редакцией М. Роллера в Бухаресте вышли «Документы по истории Румынии. А. Молдова» (Documente privind istoria României. A. Moldova, сокр. – DIRA), изданные Румынской академией (Documente privind istoria României. A. Moldova: veacul XIV–XV, vol. 1 (1384–1475), veacul XV, vol. 2 (1476–1500); veacul XVI, vol. 1–4 (1501–1550, 1551–1570, 1571–1590, 1591–1600); veacul XVII, vol. 1–5. (1601–1605, 1606–1610, 1611–1615, 1616–1620, 1621–1625), București, 1952–1957). К недостаткам издания можно отнести то, что все тексты даны только в переводе, хотя в начале томов дается и краткое содержание грамот на русском языке. Позже А. Гонца составил

перечень топонимов и антропонимов, упоминавшихся в изданных сборниках (Gonța A. Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV–XVII (1384–1625). Indicele numelor de locuri, București, 1990; Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV–XVII (1384–1625). Indicele numelor de persoane. București, 1995).

К наиболее полным сборникам, в которых грамоты приводятся на языке оригинала с переводом на румынский, даются комментарии и справочный аппарат, можно отнести продолжающуюся серию *Documenta Romaniae historica. A: Moldova*¹ (Vol. 1–28, București, 1975–2006), сокр. – DRHA), выпускаемую институтом истории Румынской академии, а также издание Института истории Академии наук Молдовы – Молдавия эпохи феодализма = *Moldova în epoca feudalismului* (Vol. 1–12. Chisinau, 1961–2012). В этих изданиях приведены и оригинальные тексты документов. Особый интерес представляют грамоты XIV–XV вв. (*Documenta Romaniae historica. A: Moldova: Vol. 1. (1384–1448), București, 1976; Vol. 2. (1449–1486), București, 1976; Vol. 3. (1487–1504), București, 1980*).

В последнее время вышло немало словарей, которые могут помочь выявить принадлежность употребляемой лексики. Например: «Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.». У 2 т. (Київ: Наукова думка, 1978), «Етимологічний словник української мови». У 2 т. (Київ: Наукова думка, 1982–2012 (издано 6 томов), «Словарь русского языка XI–XVII вв.» (М.: Наука, 1975–2008 (издано 28 томов) и т.д.

Среди румынских изданий – «Румынская топонимия» И. Иордана (*Iordan I. Toponimia Românească. București, 1963*), «Библиографический каталог поселений и средневековых памятников Молдовы» Н. Стоическу (*Stoicescu N. Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova. București, 1974*), словарь И. Евсеева «Славянизмы в румынском» (*Evseev I. Slavismele Românești. București, 2009*) и т.д.

Особую ценность для исследователей представляют многочисленные русинские словари. В них можно найти значения слов, вышедшие из активного словарного запаса современных русского, украинского и белорусского языков, употребляемые в молдавских средневековых текстах, в которых заметно влияние, как упоминали исследователи, живого говора местного русинского населения (см., напр.: *Російсько-русинський словник. У 2 т. 65000 слів / Склав І. Керча (Ужгород, 2012), Словник буковинських говірок (Чернівці, 2005), Пиртей П.С. Словник лемківської говірки. Матеріали для словника (Legnica; Wrocław, 2001)*).

Рассмотрев вышеприведенные точки зрения, мы видим, что большинство исследователей официальный язык Молдавского княжества (язык господарской канцелярии) классифицировали как западнорусский (южнорусский, восточнославянский, староукраинский, малорусский, русинский², что в принци-

¹ Параллельно выпускались и документы средневековой Валахии (*Seria B. Țara Românească*) и Трансильвании (*Seria C. Transilvania*) и касающиеся отношений между румынскими странами (*Seria D. Relații între Țările Române*).

² Еще дореволюционные исследователи обратили внимание на то, что со временем русинский язык стал отличаться от малорусского наречия: он сохранил много древнерусских форм, а также в

пе одно и то же). (Разница в названии вызвана больше политической конъюнктурой.) Отмечалось влияние на письменный язык живого говора (галицкого) местного русинского населения. Как указывали некоторые исследователи, для изучения языка грамот необходимо не только владеть различными языками (в том числе русским, украинским, русинским), но и знать историю и культуру населения Карпато-Днестровских земель.

К концу XV в. существовало два русских государственных языка – великорусский и западнорусский, к которому принадлежал и язык молдавской канцелярии [67. С. 26]. В основу канцелярского языка Молдавии, как и западнорусского, лег галицкий говор, в который проникали элементы церковнославянского языка (среднеболгарского извода), а также многочисленные местные слова как романского происхождения, так и заимствованные из разных соседних языков (венгерского, немецкого и польского). Когда в течение XV в. диалектная основа западнорусского изменилась, переместившись на север, молдавский канцелярский язык сохранил в основном свой южнорусский характер, что и привело к некоторому обособлению языка молдавских грамот от языка западнорусских грамот [67. С. 38–39].

К примеру, сравнив две жалованные грамоты (великого князя литовского и русского Свидригайло от 4 февраля 1408 г. [68. С. 5] и молдавского господаря Александра Доброго от 28 января 1409 г. [9. С. 34–35], можно увидеть схожесть формы (начало, окончание), стиля и лексики (подробнее см.: [69]):

Милостю Божою мы великий князь Швидригайлъ Литовскій, Русскій и иныхъ, чинимъ знаменито и даемъ вѣдати симъ нашимъ листомъ каждому доброму, нинешнимъ и потомъ будучимъ, хто нань возрить или его чтучи услышитъ, комужъ коли его будетъ потребно, ижъ видѣвъ и знаменовъ (sic) службу намъ верную, а нигды неопущеную, нашего верного слуги, пана Петра Мыщица, нашего кухмистра, и мы порадывшиися зъ нашими князи и зъ паны, и зъ нашою верною радою, дали есмо ему и записали за его верную службу село въ Кременецкомъ повете, Борщанку, а борокъ и селище Кандитовъ, а лесъ Дедовъ, со всемъ, што къ тымъ селомъ изъ века и зъ давна слушало и тягло, вечно и непорушно ему со всѣми уходы и приходы, зъ приселки и зъ селящи, и зъ нивами, и зъ пашнями, и зъ лесы, и дубровами, и зъ бортными землями, и зъ гаи и зъ пасѣками, и зъ ловы, и зъ ловищи, и зъ бобровыми гоны и зъ зеремьяны, и зъ реками, и зъ озеры, и зъ крыницами, и зъ потоки, и зъ ставы, и ставищами, и зъ млины, и зъ мыты, и зъ болоты, и зъ рудами, и такъ што въ тыхъ именѣхъ собѣ примыслить и на новомъ корени посадить, и со всеми платы, што къ тымъ именемъ слушаетъ и слушало и также слуги, и зъ дубровами, и зъ сеножатами, и со всеми пожитки, а даемъ тому предреченому пану Петру, инакъ Мыщце, кухмистру вѣчно и непорушно ему, а по немъ и детемъ его, внучатамъ и ближнимъ его и его щадкомъ; вольни по всѣхъ тыхъ именѣхъ кому отдати и продати и променити, панъ Петръ и его ближни, и потомъ будучи, пакъли бы хто хотѣлъ тьи имена подъ паномъ Петромъ взяти, или подъ его детми и подъ его ближними, тогды первѣ

нем заметно влияние молдавского и, в меньшей степени, польского (а у русинов Бессарабии и великорусского) языков [66].

имаеть пану Петру, инакъ Мышце, дати четыриста копь широкихъ грошей, а любо детемъ его, а любо ближнимъ его, тогда и маеть подь ними тыи имена взяти, а панъ Петръ зъ того имени и маеть служити намъ двема коньми, — а при томъ были сведьки, наша рада: панъ Монвидь, староста Подольскій и Кременецкій, а панъ Юрша, воевода Киевскій, а панъ Янь Войницкій, староста Луцкій и Олескій, а панъ Юрий, маршалокъ нашъ, а панъ Хохлевскій, а панъ Иванъ Гулевичъ, панъ Кожаринъ, маршалокъ Луцкое земли, а панъ Маско Гулевичъ, а панъ Иванъ Волотовичъ, а панъ Иванъ Чорный, а панъ Иванко МукоѢвичъ; а на потвѣрженіе того нашего жалованья, про лепшую память и твердость, и печать нашу велели есмо привесити къ сему нашему листу. А пьсанъ у Луцку, подь леты рождества Исуса Христа, 1408 лета. феврала 4 день, индикта.

Приказъ князя Борисова подканцлѣрого, а пана Семашковъ.

Многогрешный, иснакаръ, писаль привилій.

(Athenaeum, 1842 г. Т. 2. С. 26)

† **Ш**(н)л(о)стїю в(о)жїю, мы, Александръ воевода, господарь Земли Молдавскон. Чинимъ знаменито, ис снмъ листомъ нашимъ, оуснмъ кто на нь оузрїть нан его оуслъшнтъ, оже тотъ истиннѣн слуга нашъ, панъ **Жоуржъ Оунгоурѣнцъ**, намъ правою и вѣрною службою служилъ. Тѣмъ, мы, видѣше его правюю и вѣрнѣю службу до насъ, жаловали есмъ его всебною м(н)л(о)стїю и дали есмъ ему оу насен земли, оу Молдавскон, села, штинниа его, на нмѣ: <Оунгоурѣн> и, где домъ его, и, подан того, **Сүү(о)долъ** <и винограда што> садна(ъ) внѣ собою, и, оу **Тоурлѣю**, села на нмѣ: **Прочешїн**, и **Сперлешн**, и **Негрлешн**, и **Нѣгъшешн**, где ест(ъ) **Нѣгъшъ жудѣ**, и, пониже, где ест(ъ) **Команъ**. То, емоу, шт(ъ) насъ да ест(ъ) оурукъ <съ> оусѣмъ доуходомъ, на <вѣкы> вѣчнѣмъ.

И хотары Оунгоурѣномъ > шт(ъ) **Бакоча**, поченши шт(ъ) **връха** <потока> поутъ шт(ъ) **потока**, та шт(ъ) **толѣ** прости , оу каменъ, та, прости сръди черетїн, на конецъ долину , та, долина долиною, на конецъ долину, та, долиною долу, оу еднїи бродъ, та, прости оу **дѣлѣ**, на оустн долины, та, **дѣлсомъ** > **горн**, долина що неходнтъ шт(ъ) **леса**, та, **горн** долиною, до колѣ <сх> днтъ оу **полѣнѣ**, та, из лиснемъ шт(ъ) **Тоурдора** **горн**, на конецъ **Послѣ** на **Изгорнша** шт(ъ) **Крѣлангатаю**, та, прости оу **потокъ**, та, **потокомъ** <го> **ри**, до **връха**. То ест(ъ) **всѣ** хотаръ Оунгоурѣномъ, а тѣмъ селамъ шт(ъ) **Турлѣн**, съ оуснми поени и съ вслми свонми старинч хотармч, коуда из вѣка оживали, непорүшено нмъ **никоан**, на **вѣкы** вѣчнѣмъ, и дѣтемъ его, и оулүчатомъ его, и **прѣоуноүчатомъ** его, и **прѣщүрѣтомъ** его и **всемү** роду его, **ко** <лико> **са** **изнандетъ** из **набанжнн**.

И на то ест(ъ) вѣра нашего г(оспод)ства, вѣше писанного **Александра** **воеводн**, и вѣра **дѣтен** **нашихъ**, и вѣра **пана** **Стан** <и> **слава** **Ротъмпана**, и вѣра **пана** **Мн** <хач> **лашова**, и вѣра **пана** **Жюуржа**, и вѣра **пана** **Блада** **дворника**, и вѣра **пана** **Жюметате** **Ивана**, и вѣра **пана** **Гринкова**, и вѣра **пана** **Негра** **дворника**, и вѣра **пана** **Ванна** **дворника** **Сүчавского**, вѣра **пана** **Блѣчн**, вѣра **пана** **Снна** **Брѣланча**, вѣра **пана** **Блада** **Серѣтского** вѣра **пана** **Спенна**, вѣра <пана> <внст> - **ерника**, вѣра **пана** **Домокуша** **столиника**, вѣра **пана** **Налѣа** **чашника**, и вѣра **пана** **Стана** **постелника** и **вїстнарника** и вѣра **оуснхъ** **боаръ** <молдавскыхъ> и **вѣлкы** <хъ> и **малыхъ**.

И по нашемъ животѣ, которыи нметъ <гос> **подаръ** оу земли нашн, на шт(ъ) **дѣтен** **нашихъ** нан шт(ъ) **вратен** **нашихъ** <нан штъ нашего> **племене** <нан будъ кто, то що бы> нмъ не порүшилъ наше **даанїа** **але** **бы** нмъ оутвѣрднлъ и оукрѣпллъ **звнүже** есмъ дали нмъ **за** нхъ **правою** и **вѣрною** службою.

<И н> а **бүашею** **крѣпости** **все** **вѣше** **писаномү**, **вѣлмн** **есмъ** **нашемү** **вѣрномү** **панү**, **Исаню** **логөбетү**, **писати** и **привѣснти** **нашү** <пе> **чатъ** **к** **семѣ** **лнстү** **нашемү**.

Оу **Сүчавѣ**, в(ъ) **лѣт(о)** **хсцѣї**, м(ѣ)с(а)цѣ **генарѣ** **кн**.

Русский лингвист А.И. Соболевский (1856–1929) отнес молдавские грамоты (написанные с южнорусской примесью в языке), понимая их значение, к источникам для истории русского языка [70. С. 16].

Румынский историк литературы О.А. Денсушану, хотя и нечетко отличал южно-, восточно- и западнославянские элементы в составе восточнороманских языков [71. С. 17], писал в своей «Истории румынского языка»: «Чтобы понимать прошлое румынского языка, славянский столь же необходим, как латинский язык» [72. С. XIX].

Ранее классик молдавской литературы Г. Асаки (1788–1869) высказался о необходимости изучения истории русского народа: «Тесные взаимосвязи между нашей историей и историей русского народа обуславливают настоятельную необходимость изучения той и другой» [73. С. 150].

Деятель галицко-русского Возрождения историк и филолог А.С. Петрушевич (1821–1913) тоже понимал важность изучения истории русско-румынских (молдавских. – С.С.) отношений и письменных источников, написанных на русском языке (из его корреспонденции в галицко-русской газете «Слово» (1861. № 29): «На святой Руси нашей хранится еще немало драгоценных памятников... Иер. Соневицкий пишет из Кымполунга, что в монастыре Ватра Молдавица хранится выше 150 старинных рукописей и грамот, писанных на русском языке! Все это тем больше подстегивает меня с началом июня отправиться в Буковину. Открывши кое-что любопытное, не помедлю сейчас известить вас о всем подробно» [743. С. 244].

Учитывая, что существовавшие идеологические запреты на разработку русинской проблематики сняты, дальнейшее изучение культуры и официального языка Молдавского средневекового княжества с учетом взаимодействия с культурой и языком русинов Карпато-Днестровских земель может привести к новым интересным открытиям.

Литература

1. Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XV – первой половине XVII в. / под ред. Л.В. Черепнина. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1961. 456 с.
2. Грекул Ф.А. Социально-экономический и политический строй Молдавии второй половины XV века / под ред. Л.В. Черепнина. Кишинев: Гос. изд-во Молдавии, 1950. 160 с.
3. Яцимирский А.И. Валашские грамоты в палеографическом и дипломатическом отношениях // Русский филологический вестник Т. 54, № 3. 1905. С. 49–67.
4. Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород: Изд-во В. Падяка, 2006. 412 с.
5. Венелин Ю.И. Влахо-болгарские, или дако-славянские грамоты, собранные и объясненные на иждивении Императорской Академии наук Юрием Венелиным. СПб., 1840. XVI, 361 с., 20 л. факс.
6. Бернштейн С.Б. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. 1: Язык валашских грамот XIV–XV веков. М.: Изд-во Академии наук СССР. М.; Л., 1948. 310 с.
7. Богдан Д.П. Три древнейших славяно-валашских грамоты // Археографический ежегодник за 1960 год / под ред. М.Н. Тихомирова. М., 1962. С. 244–269.
8. Documenta Romaniae Historica. Seria B: Țara Românească. Vol. 1. 1247–1500. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966. LXIV + 639 p.
9. Documenta Romaniae Historica: A. Moldova. Vol. 1. (1384–1448). București: Editura Academiei Republicii Socialiste Române, 1975. 605 p., il.
10. Гинкулов А. Начертание правил валахо-молдавской грамматики. СПб., 1840. XVIII, 576 с.
11. Головацкия Я.Ф. Грамоты угро-влахийские и молдавские (XV–XVI вв.) // Летопись занятий археографической комиссии (1865–1866). Вып. 4. II Материалы. СПб., 1868. С. 3–17.

12. *Мурзакевич Н.* Молдо-влахийские грамоты, хранящиеся в Бессарабии // Записки Одесского общества любителей истории и древностей. 1848. Т. 2. С. 562–567.
13. *Мурзакевич Н.* Молдо-влахийские грамоты, хранящиеся в Бессарабии // Записки Одесского общества любителей истории и древностей. 1853. Т. 3. С. 248–268.
14. *Мурзакевич Н.* Материалы для истории Молдавии // Записки Одесского общества любителей истории и древностей. 1858. Т. 4. С. 320–330.
15. *Мурзакевич Н.* Молдо-Влахийские грамоты, хранящиеся в Бессарабии // Записки Одесского общества любителей истории и древностей. 1858. Т. 4. С. 331–354.
16. *Мурзакевич Н.* Молдо-влахийские грамоты, хранящиеся в Бессарабии // Записки Одесского общества любителей истории и древностей. Т. 5. 1863. С. 838–841.
17. *Уляницкий В.А.* Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV–XVI вв. М., 1887. VIII, 244 с.
18. *Кочубинский А.А.* Лапидарные надписи XV ст. из Белгорода, что ныне Аккерман // Записки Императорского Одесского общества любителей истории и древностей. 1889. Т. 15. С. 506–547.
19. *Кочубинский А.А.* Частные молдавские издания для русской школы (библиографические заметки) // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 347. 1903. Июнь. С. 389–418.
20. *Сырку П.А.* Из переписки румынских воевод с Сибинским и Брашовским магистратами. Тексты 28 славянских документов валашского происхождения XV–XVII вв., городских архивов Сибины, Брашова и Брукентальского музея в Сибине // Сборник отделения русского языка и словестности Императорской Академии наук. Т. 82, № 2. СПб., 1906. XXXVIII, 35 с.
21. *Яцимирский А.И.* Язык славянских грамот молдавского происхождения // Статьи по славяноведению. Вып. 3 / под ред. В.И. Ламанского. СПб., 1910. С. 155–177.
22. *Яцимирский А.И.* Молдавские грамоты в палеографическом и дипломатическом отношениях // Русский филологический вестник Т. 55, № 1–2. 1906. С. 177–198.
23. *Jablonowski A.* Sprawy wołoskie za Jagiellonów: akta i listy. Źródła dziejowe. Т. 10. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1878. III, CLXIV, 163 s.
24. *Шафарик П.Й.* Славянские древности. Часть историческая / пер. с чеш. [и предисл.] О. Бодянского. 2-е изд., испр. Т. 2, кн. 1. М., 1847. VI, 454 с.
25. *Bogdan I.* Vechile cronicе moldovenesci până la Urechia. Texte slave cu studiu, traduceri și note. București: Lito-tipografia Carol Göbl, 1891. IX + 290 p.
26. *Jireček C.* Slavische Chroniken der Moldau Archiv für slavische philologie. XV. Berlin, 1893. S. 81–91.
27. *Kaluźniacki E.* Dokumenta Moldawskie i Multańskie z archiwum miasta Lwowa // Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 7. Lwów, 1878. S. 195–252.
28. *Miklosich F.* Die slavischen Elemente im Rumänischen. Wien: Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philos.-historische Klasse, XIII. 70 s.
29. *Cihac A.* Dictionnaire d'étymologie daco-romane. Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais. Francfort a/M: Ludolphe St-Giar, 1879. XIV, 816 s.
30. *Bogdan I.* Über die Sprache der ältesten moldauischen Urkunden // Jagić-festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, Weidmann, 1908. S. 369–377.
31. *Bogdan I.* Documentele lui Ștefan cel Mare. Vol. II. Hrisoave și cărți domnești (1457–1492). București: Atelierele Grafice Socec & Co, 1913. XLVI, 518 p.
32. *Bogdan I.* Documentele lui Ștefan cel Mare. Vol. 2. Hrisoave și cărți domnești (1493–1503), tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori (1457–1503). București: Atelierele Grafice Socec & Co, 1913. XXI, 611 p.
33. *Costăchescu M.* Documentele moldovenești înainte de Ștefan cel Mare. Vol. 1: Documente interne: urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri: 1374–1437. Iași: Viața Românească, 1931. XXXV, 557 p.
34. *Rosetti A.* Limba română în secolul al XVI-lea. București Cartea Românească, 1932. IX, 158 p.
35. *Bărbulescu I.* Individualitatea limbii române și elementele slave vechi. București: Editura Casei Școalelor, 1929. 534 p.
36. *Cartoian N.* Istoria literaturii române vechi. București, Editura Minerva, 1980. 589 p.
37. *Panaitescu P.* Alexandru cel Bun: la cinci sute de ani dela moartea lui. București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1932. 59 p., [3] f. il.

38. *Panaitescu P.P.* Istoria românilor. Chişinău: Logos, 1991. 272 p.
39. Petraşcu, Bezviconi 1945 – *Petraşcu N.N., Bezviconi G.G.* Relatiile ruso-române. Bucureşti: [s.n.], 118 p.
40. *Bogdan D.P.* Caracterul limbii textelor slavo-române. Bucureşti: [s.n.], 1946. 46 p.
41. *Богдан Д.П.* Фонетические особенности языка славяно-румынских грамот XIV в. // *Romanoslavica*. 1958. II. С. 55–75.
42. *Шушмарев В.Ф.* Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР // *Вопросы языкознания*. 1952. № 1. С. 80–106.
43. *Буганов В.И.* Славяно-молдавские грамоты конца XV – первой четверти XVII в. // *Источниковедение отечественной истории: сб. ст. 1981 / Академия наук СССР, Институт истории СССР; отв. ред. В.И. Буганов, отв. секр. В.Ф. Кутьев. М., 1982. С. 272–279.*
44. *История Молдавии*. Т. 1: От древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / под ред.: А.Д. Удальцова (отв. ред.) и Л.В. Черепнина. Кишинев: Шкоола советикэ, 1951. 654 с.
45. *История Молдавской ССР*. Т. 1. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / редкол.: Л.В. Черепнин (отв. ред.), Я.С. Гросул, Ю.Г. Иванов, Н.А. Мохов, Е.М. Руссев, П.В. Советов, Г.Б. Федоров, Д.Е. Шемяков. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1965. 876 с.
46. *История Молдавской ССР с древнейших времен до наших дней / редкол.: В.И. Царанов (отв. ред.), С.Я. Афтениук, Д.М. Драгнев, М.С. Платон, Л.Е. Репида, П.В. Советов, Д.Е. Шемяков. Кишинев: Штиинца, 1984. 552 с.*
47. *Сергиевский М.В.* Молдаво-славянские этюды. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. 216 с.
48. *Ильяшенко Т.П.* Формирование романских литературных языков. Молдавский язык. Кишинев: Штиинца, 1983. 200 с.
49. *Борщ А.Т.* Старославянский язык как компонент славяно-романского двуязычия // *Восточнославяно-молдавские языковые взаимоотношения*. Ч. 2 / редкол.: С.Г. Бережан, М.А. Габинский, Н.М. Печек, Р.Я. Удлер. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1967. С. 56–64.
50. *Еремия Л.И.* Об этимологической интерпретации молдавских топонимов славянского происхождения // *Социально-историческая обусловленность развития молдавского национального языка*. Кишинев: Штиинца, 1983. С. 69–75.
51. *Ильяшенко Т.П.* Языковые контакты на материале славяно-молдавских отношений. Краткий очерк. М.: Наука, 1970. 204 с.
52. *Косничяну М.А.* Славянское влияние в антропонимии и формирование молдавской деривационной системы // *Социально-историческая обусловленность развития молдавского национального языка*. Кишинев: Штиинца, 1983. С. 52–69.
53. *Корлэтяну Н.Г.* Молдавский язык сегодня. Кишинев: Штиинца, 1983. 88 с.
54. *Раевский Н.Д.* Контактеле романичлор рэсэритень ку славий: Пе базэ де дате лингвистиче. Кишинэу: Штиинца, 1988. 288 p.
55. *Стати В.Н.* За наш молдавский язык: Историческое, социолингвистическое исследование. Тирасполь, 2009. 312 с.
56. *Богдан Д.П.* Фонетические особенности языка славяно-румынских грамот XIV века // *Romanoslavica*. 1958. № 2. С. 55–75.
57. *Семчинський С.В.* Українсько-румунські мовні контакти // *Українська мова*. Енциклопедія / ред. кол. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. 2-е вид., випр. і доп. Київ, 2004. С. 746–747.
58. *Русанівський В.М.* Західноруська писемна мова // *Українська мова*. Енциклопедія / ред. кол. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. 2-е вид., випр. і доп. Київ, 2004. С. 197.
59. *Русанівський В.М.* Історія української літературної мови. Підручник. Київ: Артєк, 2001. 392 с.
60. *Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)*. Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2001. 440 с., іл.
61. *Гумецкая Л.Л.* К вопросу о языке молдавских грамот XIV–XV вв. // *Otázky dějin střední a východní Evropy / Hejl, František (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971. P. 25–35.*
62. *Тимочко Б.* Словниковий склад українсько-молдавських грамот XIV-XV ст. і буковинська діалектна лексика // *Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини*. 2013. Вип. 676–677. С. 12–16.

63. Розов В. Українські грамоти. Т. 1: XIV в. і перша половина XV в. Київ: З друкарні Української Академії наук, 1928. 4 с. + 176 с. + 75 с. + IX с.
64. *Грамоти XIV ст.* / Упорядк., вст. ст., ком. і слов.-показ. М.М. Пешак. Відповідальний ред. В.М. Русанівський. Київ: Наукова думка, 1974. 256 с.
65. *Українські грамоти 1965 – Українські грамоти XV ст.* / підготовка тексту, вступна стаття і коментарі В.М. Русанівського. Київ: Наукова думка, 1965. 164 с.
66. Суляк С.Г. Язык русинов Бессарабии в трудах дореволюционных этнографов // Русин. 2015. № 3. С. 14–24.
67. Золтан А. *Inter Slavica. Исследования по межславянским языковым и культурным контактам.* М.: Индрик, 2014. 224 с.
68. *Грамоты великих князей литовских с 1390 по 1569 год* / под ред. В. Антоновича, К. Козловского. Киев, 1868. X + II + 166 с.
69. Суляк С.Г. Русины Карпато-днестровских земель в молдавской средневековой дипломатике (общий обзор) // Русин. 2016. № 1 (43). С. 95–119.
70. *Соболевский А.И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907. 309 с.
71. Корлэтяну Н.Г. К вопросу об изучении славяно-молдавских языковых взаимоотношений // Восточнославяно-молдавские языковые взаимоотношения. Ч. 2 / редкол.: С.Г. Бережан, М.А. Габинский, Н.М. Печек, Р.Я. Удлер. Кишинев, 1967. С. 16–28.
72. *Densușianu O.* Histoire de la langue Roumaine. Vol. 1. Les origines. Paris: Leroux, 1901. XXXI, 510 s.
73. Асаки Георге. Напутное слово к «Истории Российской империи» / Георге Асаки. Исторические новеллы. Дневник молдавского путешественника: избр. ст. Кишинев: Литература артистикэ, 1988. С. 149–151.
74. Аристов Ф.Ф. Карпато-русские писатели: Исследования по неизданным источникам: в 3 т. Т. 1 / Изд. Галицко-русского общества в Петрограде. М., 1916. 304 с.

ON THE LANGUAGE OF THE SLAVONIC-MOLDAVIAN DOCUMENTS OF THE 14TH–17TH CENTURIES

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 73–97. DOI: 10.17223/19986645/42/7

Sergey G. Sulyak, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sergei_suleak@rambler.ru

Keywords: Moldavia, Rumania, Galician Rus', diplomacy, official language, Rusin language.

A review of the study of the official language of the Office of the Medieval Moldavian Principality is presented in the article. The history of the study of the official language of medieval Moldavian diplomacy began in the first half of the 19th century. It is connected to the name of the Rusin Iu. Venelin who collected and commented on the Wallachian and Moldavian Literary Documents published in 1840.

In 1905 the Russian Slavist I. Yatsimirskiy noted that the Wallachian and Moldavian documents written in Slavonic have a significant meaning in the study of the culture of the Principalities. While there are several thousands of such documents “the Wallachian are twice less than the Moldavian”.

The study of the Literary Documents and Acts of the Moldavian State was carried out by scholars from various countries – the largest of which are the works of prominent scholars of Russia/USSR, Austro-Hungary, Rumania, Moldavia and the Ukraine.

The research of the public figure of the Carpatho-Russian Rebirth Yakov Golovatskiy, the legal expert and historian V.A. Ulyanitskiy, the philologist-Slavist Bessarabians A.A. Kochubinskiy, P.A. Syrku and A.I. Yatsimirskiy, the Czech historian K.I. Jireček, the Polish Slavist E. Kałuźniacki, the Slovenian linguist F. Miklosich, the Rumanian researchers I. Bogdan, A. Rosetti, I. Barbulescu, P. Panaitescu, D. Bogdan, the Soviet philologist M.N. Sergievskiy, his Moldavian colleagues N.G. Corlătianu, N.D. Raevskiy and many others made a substantial contribution to the study of the language of the written sources of medieval Moldavia.

The majority of the scholars held an opinion that the language of the Moldavian office was South-West Russian, that is, the language of the local Slavic population – the Rusins. Galician elements in the language were noted. Understandably to a lesser degree, there was an Old Bulgarian influence, and occasionally Moldavian lexicon was used.

The author comes to a conclusion that it was the language of the Rusins, the native population of the Carpatho-Dniestrovian Lands, that was the official language of Moldavia from the moment of its formation in the second half of the 14th to the beginning of the 18th centuries. This language had a great influence on the development of the Moldavian language. In the actual lexicon of contemporary Moldavian there are more than 2000 words of East Slavic origin.

The Rusin influence is traced through all of the Moldavian diplomacy of the 14th–17th centuries in various governmental documents (plaintive, dedications, confirmations, diplomatic immunity, judicial, security) and other administrative and state documents.

A further study of the culture and the official language of the medieval principality of Moldova, taking into account the interaction with the culture and language of the Rusins in the Carpatho-Dniestrovian Lands, can lead to new and interesting discoveries.

References

1. Grekul, F.A. (1961) *Agrarnye otnosheniya v Moldavii v XV - pervoy polovine XVII v.* [Agrarian relations in Moldova in the 15th – first half of the 17th centuries]. Kishinev: Kartya Moldovenyaske.
2. Grekul, F.A. (1950) *Sotsial'no-ekonomicheskii i politicheskii stroi Moldavii vtoroy poloviny XV veka* [Socio-economic and political system of Moldova the second half of the 15th century]. Kishinev: Gosudarstvennoe izdatel'stvo Moldavii.
3. Yatsimirskiy, A.I. (1905) Valashskie gramoty v paleograficheskom i diplomaticheskom otnosheniyakh [Wallachian letters in paleographic and diplomatic relations]. *Russkiy filologicheskii vestnik*. 54:3. pp. 49–67.
4. Pop, I. (2006) *Entsiklopediya Podkarpatskoy Rusi* [Encyclopedia of Sub-Carpathian Rus]. Uzhgorod: Izd-vo V. Padyaka.
5. Venelin, Yu.I. (1840) *Vlako-bolgarskie, ili dako-slavyanskije gramoty, sobrannye i ob'yasnennye na izhdivenii Imp. Ros. akad. Yuriem Venelinym* [Vlach-Bulgarian, or Daco-Slav letters collected and explained by a dependent of the Imperial Russian Academy Yuri Venelin]. St. Petersburg: tip. Imp. Ros. akad.
6. Bernshteyn, S.B. (1948) *Razyskaniya v oblasti bolgarskoy istoricheskoy dialektologii* [Research in the field of Bulgarian historical dialectology]. Vol. I. Moscow: USSR AS.
7. Bogdan, D.P. (1962) Tri drevneyshikh slavyano-valashskikh gramoty [Three ancient Slavic-Wallachian documents]. In: Tikhomirov, M.N. (ed.) *Arkheograficheskii ezhegodnik za 1960 god* [Archeographic Yearbook for 1960]. Moscow: USSR AS.
8. Academy of the Socialist Republic of Romania. (1966) *Documenta Romaniae Historica. Seria B: Țara Românească* [Documenta Romaniae Historica. Series B: Romanian Country]. Vol. 1. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
9. Academy of the Socialist Republic of Romania. (1975) *Documenta Romaniae Historica: A. Moldova* [Documenta Romaniae Historica: A. Moldova]. Vol. 1. (1384-1448). Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste Române.
10. Ginkulov, A. (1840) *Nachertanie pravil valakho-moldavskoy grammatiki* [Inscription of rules of Wallachia and Moldova grammar]. St. Petersburg: Tip. Imp. Akademii nauk.
11. Golovatskiya, Ya.F. (1868) Gramoty ugro-vlakhiskie i moldavskie (XV-XVI vv.) [Ugri-Vlach and Moldovan Documents (15th–16th centuries)]. In: *Letopis' zanyatiy arkheograficheskoy komissii (1865–1866)* [Annals of activities of the Archeography Committee (1865–1866)]. Vol. 4. II Materials. St. Petersburg: tipografiya A. Transhelya.
12. Murzakevich, N. (1848) Moldo-vlakhiskie gramoty, khranyashchiesya v Bessarabii [Moldovan-Vlach documents stored in Bessarabia]. In: *Zapiski Odesskogo obshchestva lyubiteley istorii i drevnostey* [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 2. pp. 562–567.
13. Murzakevich, N. (1853) Moldo-vlakhiskie gramoty, khranyashchiesya v Bessarabii [Moldovan-Vlach documents stored in Bessarabia]. In: *Zapiski Odesskogo obshchestva lyubiteley istorii i drevnostey* [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 3. pp. 248–268.
14. Murzakevich, N. (1858) Materialy dlya istorii Moldavii [Materials for the history of Moldova]. In: *Zapiski Odesskogo obshchestva lyubiteley istorii i drevnostey* [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 4. 1858. pp. 320–330.
15. Murzakevich, N. (1858) Moldo-vlakhiskie gramoty, khranyashchiesya v Bessarabii [Moldovan-Vlach documents stored in Bessarabia]. In: *Zapiski Odesskogo obshchestva lyubiteley istorii i drevnostey* [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 4. pp. 331–354.
16. Murzakevich, N. (1863) Moldo-vlakhiskie gramoty, khranyashchiesya v Bessarabii

[Moldovan-Vlach documents stored in Bessarabia]. In: *Zapiski Odesskogo obshchestva lyubiteley istorii i drevnostey* [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 5. pp. 838–841.

17. Ulyanitskiy, V.A. (1887) *Materialy dlya istorii vzaimnykh otnosheniy Rossii, Pol'shi, Moldavii, Valakhii i Turtsii v XIV–XVI vv.* [Materials for the history of mutual relations between Russia and Poland, Moldavia, Wallachia and Turkey in the 14th–16th centuries]. Moscow: Univ. tip. (M. Katkov).

18. Kochubinskiy, A.A. (1889) Lapidarnye nadpisi XV st. iz Belgoroda, chto nyne Akkerman [Lapidary inscriptions of the 15th century from Belgorod that is now Ackerman]. In: *Zapiski Odesskogo obshchestva lyubiteley istorii i drevnostey* [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 15. pp. 506–547.

19. Kochubinskiy, A.A. (1903) Chastnye moldavskie izdaniya dlya russkoy shkoly (bibliograficheskie zametki) [Private Moldovan publications for the Russian School (bibliographical notes)]. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya*. CCCXXXVII. June. pp. 389–418.

20. Syrku, P.A. (1906) Iz perepiski rumynskikh voevod s Sibinskim i Brashovskim magistratami. Teksty 28 slavyanskikh dokumentov valashskogo proiskhozhdeniya XV–XVII vv., gorodskikh arkhivov Sibina, Brashova i Bryukental'skogo muzeya v Sibine [From the correspondence of the Romanian governors with Sibir and Brashov magistrates. Texts of 28 Slavic documents of Wallachian origin of the 15th–17th centuries, City archives of Sibir, Brashov and Bryukental Museum in Sibir]. In: *Sbornik otdeleniya russkogo yazyka i slovestnosti Imperatorskoy Akademii nauk* [Collection of the Department of the Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences]. Vol. LXXXII:2. St. Petersburg: Tip. Imperatorskoy Akademii nauk.

21. Yatsimirskiy, A.I. (1910) Yazyk slavyanskikh gramot moldavskogo proiskhozhdeniya [Language of Slavic documents of Moldovan origin]. In: Lamanskiy, V.I. (ed.) *Stat'i po slavyanovedeniyu* [Articles on Slavic studies]. Vol. 3. St. Petersburg: Tip. Imperatorskoy Akademii nauk.

22. Yatsimirskiy, A.I. (1906) Moldavskie gramoty v paleograficheskom i diplomaticheskom otnosheniyakh [Moldovan documents in paleographic and diplomatic aspects]. *Russkiy filologicheskii vestnik*. 55:1–2. pp. 177–198.

23. Jablonowski, A. (1878) *Sprawy wołoskie za Jagiellonów: akta i listy. Źródła dziejowe* [Wallachian case for Jagiellonians: records and lists. Historical sources]. Vol. 10. Warszawa: Gebethner i Wolff.

24. Safarik, P.J. (1847) *Slavyanskije drevnosti. Chast' istoricheskaya* [Slavic antiquities. Historical part]. Translated from Czech by O. Bodyanskiy. 2nd ed. Vol. 2. Book 1. Moscow: Universitetskaya tipografiya.

25. Bogdan, I. (1891) Vechile cronice moldovenesci până la Urechia. Texte slave cu studiu, traduceri i note [Old Moldovan chronicles. Slavic study texts, translations and notes]. Bucharest: Lito-tipografia Carol Göbl.

26. Jireček, C. (1893) *Slavische Chroniken der Moldau* [Slavonic chronicles of Moldova]. Archive for Slavic philology. XV. Berlin.

27. Kałuźniacki, E. (1878) Dokumenta Moldawskie i Multańskie z archiwum miasta Lwowa [Moldovan and Multańskie documents of the archive of the city of Lviv]. In: *Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego* [Town and land laws from the times of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the so-called Bernardine archive in Lviv founded by Count Alexander Stadnicki. Ed. by the efforts of the Galician National Department]. Vol. 7. Lviv.

28. Miklosich, F. (1861) *Die slavischen Elemente im Rumänischen* [The Slavic elements in Romanian]. Vienna: Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philos.-historische Klasse.

29. Cihac, A. (1879) *Dictionnaire d'étymologie daco-romane. Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais* [Daco-Roman etymology dictionary. Slavs, Magyars, Turkish, modern Greek and Albanian elements]. Frankfurt: Ludolphe St-Giar.

30. Bogdan, I. (1908) Über die Sprache der ältesten moldauischen Urkunden [About the language of the oldest Moldovan certificates]. In: *Jagić-festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića* [A collection in memory of Vatroslav Jagić]. Berlin, Weidmann.

31. Bogdan, I. (1913) *Documentele lui Ștefan cel Mare* [Documents of Stephen the Great]. Vol. 1. Bucharest: Atelierele Grafice Socec & Co.

32. Bogdan, I. (1913) *Documentele lui Ștefan cel Mare* [Documents of Stephen the Great]. Vol. 2. Bucharest: Atelierele Grafice Socec & Co.
33. Costăchescu, M. (1931) *Documentele moldovenești înainte de Ștefan cel Mare* [Moldavian documents before Stephen the Great]. Vol. 1. Iași: Viața Românească.
34. Rosetti, A. (1932) *Limba română în secolul al XVI-lea* [The Romanian language in the sixteenth century]. Bucharest: Cartea Românească.
35. Bărbulescu, I. (1929) *Individualitatea limbii române și elementele slave vechi* [Individuality of the Romanian language and ancient Slavic elements]. Bucharest: Editura Casei Școalelor.
36. Cartoian, N. (1980) *Istoria literaturii române vechi* [Old Romanian literary history]. Bucharest: Editura Minerva.
37. Panaitescu, P. (1932) *Alexandru cel Bun: la cinci sute de ani dela moartea lui* [Alexander the Good: five hundred years after the death]. Bucharest: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională.
38. Panaitescu, P.P. (1991) *Istoria românilor* [History of Romanians]. Chișinău: Logos.
39. Petrașcu, N.N. & Bezviconi, G.G. (1945) *Relatiile ruso-române* [Russian-Romanian relations]. Bucharest.
40. Bogdan, D.P. (1946) *Caracterul limbii textelor slavo-române* [The character language of Slavic-Romanian texts]. Bucharest.
41. Bogdan, D.P. (1958) Foneticheskie osobennosti yazyka slavyano-rumynskikh gramot XIV v. [Phonetic features of the language of Slav-Romanian documents of the 14th century]. *Romanoslavica*. II. pp. 55–75.
42. Shishmarev, V.F. (1952) Romanskie yazyki Yugo-Vostochnoy Evropy i natsional'nyy yazyk Moldavskoy SSR [Romance languages of South-Eastern Europe and the national language of the Moldavian SSR]. *Voprosy yazykoznaniiya*. 1. pp. 80–106.
43. Buganov, V.I. (1982) Slavyano-moldavskie gramoty kontsa XV - pervoy chetverti XVII v. [Slavic-Moldavian documents of the 15th – first quarter of the 17th centuries]. In: Buganov, V.I. (ed.) *Istochnikovedenie otechestvennoy istorii. Sbornik statey. 1981* [Source studies of national history. Digest of articles. 1981]. Moscow: Nauka.
44. Udal'tsov, A.D. (ed.) (1951) *Istoriya Moldavii* [History of Moldova]. Vol. 1. Kishinev: Shkoala sovetike.
45. Cherepnin, L.V. et al. (eds) (1965) *Istoriya Moldavskoy SSR* [History of the Moldavian SSR]. Vol. 1. Kishinev: Kartya Moldovenyaske.
46. Tsaranov, V.I. et al. (eds) (1984) *Istoriya Moldavskoy SSR s drevneyshikh vremen do nashikh dney* [History of the Moldavian SSR from ancient times to the present day]. Kishinev: Shtiintsa.
47. Sergievskiy, M.V. (1959) *Moldavo-slavyanskije etyudy* [Moldova-Slavic studies]. Moscow: USSR AS.
48. Il'yashenko, T.P. (1983) *Formirovanie romanskikh literaturnykh yazykov. Moldavskiy yazyk* [Formation of the Romance literary languages. The Moldavian language]. Kishinev: Shtiintsa.
49. Borshch, A.T. (1967) Staroslavjanskiy yazyk kak komponent slavyano-romanskogo dvuyazychiya [Old Church Slavonic language as a component of the Slavo-Romanic bilingualism]. In: Berezhan, S.G. et al. (eds) *Vostochnoslavjano-moldavskie yazykovye vzaimootnosheniya* [East-Slavic and Moldovan language relationships]. Vol. 2. Kishinev: Kartya Moldovenyaske.
50. Eremiya, L.I. (1983) Ob etimologicheskoy interpretatsii moldavskikh toponimov slavyanskogo proiskhozhdeniya [On the etymological interpretation of Moldavian place names of Slavic origin]. In: Il'yashenko, T.P. (ed.) *Sotsial'no-istoricheskaya obuslovlennost' razvitiya moldavskogo natsional'nogo yazyka* [Socio-historical conditionality of the development of the Moldovan national language]. Kishinev: Shtiintsa.
51. Il'yashenko, T.P. (1970) *Yazykovye kontakty na materiale slavyano-moldavskikh otnocheniy. Kratkiy ocherk* [Language contacts on the material of Slavic-Moldavian relations]. Moscow: Nauka.
52. Kosnichyanu, M.A. (1983) Slavyanskoe vliyanie v antroponimii i formirovanie moldavskoy derivatsionnoy sistemy [Slavic influence on anthroponyms and the formation of the Moldovan derivational system]. In: Il'yashenko, T.P. (ed.) *Sotsial'no-istoricheskaya obuslovlennost' razvitiya moldavskogo natsional'nogo yazyka* [Socio-historical conditionality of the development of the Moldovan national language]. Kishinev: Shtiintsa.
53. Korletyanu, N.G. (1983) *Moldavskiy yazyk segodnya* [The Moldovan language today]. Kishinev: Shtiintsa.
54. Raevskiy, N.D. (1988) *Kontaktele romanichilor reseriten' ku slaviy. Pe baze de date lingvistice*. Kishinev: Shtiintsa.

55. Stati, V.N. (2009) *Za nash moldavskiy yazyk. Istoricheskoe, sotsiolingvističeskoe issledovanie* [For our Moldovan language. A historical sociolinguistic research]. Tiraspol: Benderskaya tipografiya “Poligrafist”.

56. Bogdan, D.P. (1958) Fonetičeskie osobennosti yazyka slavyano-rumynskikh gramot XIV veka [Phonetic features of the language of Slav-Romanian documents of the 14th century]. *Romanoslavica*. 2. pp. 55–75.

57. Semchins'kiy, S.V. (2004) Ukraïns'ko-rumuns'ki movni kontakti [Ukrainian-Romanian language contacts]. In: Rusanivs'kiy, V.M. et al. (eds) *Ukraïns'ka mova. Entsiklopediya* [The Ukrainian language. Encyclopedia]. 2nd ed. Kyiv: Vid-vo “Ukraïns'ka entsiklopediya” im. M.P. Bazhana.

58. Rusanivs'kiy, V.M. (2004) Zakhidnorus'ka pisemna mova [West-Russian written language]. In: Rusanivs'kiy, V.M. et al. (eds) *Ukraïns'ka mova. Entsiklopediya* [The Ukrainian language. Encyclopedia]. 2nd ed. Kyiv: Vid-vo “Ukraïns'ka entsiklopediya” im. M.P. Bazhana.

59. Rusanivs'kiy, V.M. (2001) *Istoriya Ukraïns'koï literaturnoï movi. Pidručnik* [History of the Ukrainian literary language. Textbook]. Kyiv: Artek.

60. Ohiyenko, I. (2001) *Istoriya Ukraïns'koï literaturnoï movi* [History of the Ukrainian literary language]. Kyiv: Nasha kul'tura i nauka.

61. Gumetskaya, L.L. (1971) K voprosu o yazyke moldavskikh gramot XIV-XV vv. [On the issue of the language of Moldovan documents of the 14th–15th centuries]. In: Hejl, F. (ed.) *Otázky dějin střední a východní Evropy* [Issues in the History of Central and Eastern Europe]. Vol. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně.

62. Timochko, B. (2013) Slovníkový sklad Ukraïns'ko-moldavs'kikh gramot XIV-XV st. i bukovins'ka dialektna leksika [The vocabulary of the Ukrainian-Moldovan documents of the 14th–15th centuries and Bukovynian dialect vocabulary]. *Naukoviy visnik Chernivets'kogo universitetu: Istoriya. Politichni nauki. Mizhnarodni vidnosini*. 676–677. pp. 12–16.

63. Rozov, V. (1928) *Ukraïns'ki gramoti* [Ukrainian documents]. Vol. 1. Kyiv: Z drukarni Ukraïns'koï Akademii nauk.

64. Rusanivs'kiy, V.M. (ed.) (1974) *Gramoti XIV st.* [Documents of the 14th century]. Kyiv: Naukova dumka.

65. Rusanivs'kiy, V.M. (ed.) (1965) *Ukraïns'ki gramoti XV st.* [Ukrainian documents of the 15th century]. Kyiv: Naukova dumka.

66. Sulyak, S.G. (2015) The Language of the Rusins of Bessarabia in the Works of the Pre-Revolutionary Ethnographers. *Rusin*. 3. pp. 14–24. (In Russian). DOI 10.17223/18572685/41/1

67. Zoltan, A. (2014) *Interslavica. Issledovaniya po mezhslavyanskim yazykovym i kul'turnym kontaktam* [Interslavica. Research on the Slav linguistic and cultural contacts]. Moscow: Indrik.

68. Antonovich, V. & Kozlovskiy, K. (eds) (1868) *Gramoty velikikh knyazey litovskikh s 1390 po 1569 god* [Documents of the Great Princes of Lithuania from 1390 to 1569]. Kiev: V universitetskoy tipografii.

69. Sulyak, S.G. (2016) Rusins of the Carpatho-dniestrovian lands in medieval moldavian diplomacy (a general review). *Rusin*. 1(43). pp. 95–119. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/43/7

70. Sobolevskiy, A.I. (1907) *Lektsii po istorii russkogo yazyka* [Lectures on the History of the Russian language]. 4th ed. Moscow: Universitetskaya tipografiya.

71. Korletyanu, N.G. (1967) K voprosu ob izuchenii slavyano-moldavskikh yazykovykh vzaimootnosheniy [On the issue of studying the Slavic-Moldovan language relations]. In: Berezhan, S.G. et al. (eds) *Vostochnoslavyano-moldavskie yazykovye vzaimootnosheniya* [East-Slavic and Moldovan language relationships]. Vol. 2. Kishinev: Kartya Moldovenyashke.

72. Densușianu, O. (1901) *Histoire de la langue Roumaine* [History of the Romanian language]. Vol. 1. Paris: Leroux.

73. Asachi, G. (1988) Naputnoe slovo k “Istorii Rossiyskoy imperii” [A foreword to the History of the Russian Empire]. In: Asaki, G. *Istoricheskie novelly. Dnevnik moldavskogo puteshestvennika. Izbrannye stat'i* [Historical novels. The diary of a Moldovan traveler. Selected articles]. Kishinev: Literatura artistike.

74. Aristov, F.F. (1916) *Karpato-russkie pisateli. Issledovaniya po neizdannym istochnikam. V 3 t.* [Carpatho-Russian writers. Research on unpublished sources. In 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Tipografiya t-va Ryabushinskikh.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 3.09 - 821.161.12

DOI: 10.17223/19986645/42/8

В.Ю. Баль

«ГОГОЛЕВСКИЙ ТЕКСТ» В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК»

В статье рассматривается «гоголевский текст» в романе М. Шишкина «Письмовник». В центре внимания находятся «скрипторский сюжет» и тип героя «homo scribens» как составляющие основу «гоголевского текста» в романе «Письмовник». Выявляются предпосылки обращения к гоголевскому «скрипторскому тексту» в творчестве М. Шишкина на рубеже XX–XXI вв. как в историко-литературном, так и индивидуально-авторском аспектах. Описывается рецептивный сценарий актуализации «гоголевского текста» в романе М. Шишкина «Письмовник».

Ключевые слова: современная русская проза, М. Шишкин, Н.В. Гоголь.

Современный писатель Михаил Шишкин – фигура яркая и заметная в современном литературном процессе. Во-первых, он один из тех авторов, которые неоднократно удостоивались престижных отечественных литературных премий: роман «Взятие Измаила» (2000) получил Букеровскую премию в 2000 г., роман «Венерин волос» (2005) – премию «Национального бестселлера» в 2006 г. и роман «Письмовник» (2010) – премию «Большая книга» в 2011 г. Во-вторых, у критиков и литературоведов нет единого мнения о художественных достоинствах прозы писателя. С одной стороны, есть негативные отзывы, определяющие писателя как «рафинированного умника» [1] и указывающие на чрезмерную «литературность» прозы Шишкина, его очевидное подражание И. Бунину, В. Набокову и С. Соколову (П. Басинский, Л. Данилкин, Н. Елисеев, А. Немзер). С другой стороны, есть положительные отзывы (А. Агеева, Н. Иванова, И. Каспэ, М. Кучерская, Г. Нефагина, В. Пригодич, С. Оробий), подчеркивающие оригинальность его писательской манеры.

К разговору исследователей и критиков об оригинальности авторского стиля писателя примыкают многочисленные дискуссии о его художественном методе. Художественный метод Шишкина пытаются определить в эстетических координатах реализма, модернизма и постмодернизма, в пространстве которых существует вся современная русская литература. И. Скоропанова, Г. Нефагина, А. Мережинская относят творчество писателя к постмодернизму, Д. Бавильский считает, что проза Шишкина – это «постмодерн, понятый и исполненный как модерн» [2], М. Липовецкий характеризует прозу Шишкина как необарочную [3. С. 269]. Учитывая этот «разброс мнений», можно сказать, что «взаимодействие силовых линий, формирующих современный литературный процесс, в творчестве Михаила Шишкина образует сложную, острую, даже интригующую динамичную систему» [4. С. 233].

Привлекает внимание исследователей также интертекстуальная природа романов современного писателя. На сегодняшний день интертекстуальный аспект произведений Шишкина рассмотрен в работах Г. Нефагиной [5], С. Оробия [6] и Т.Л. Рыбалченко [7]. Авторы в своих исследованиях акцентируют внимание на исключительной полифоничности произведений Шишкина, в которых представлен широкий спектр отсылок к мировой словесной культуре. В целом, определяя характер «межтекстовых связей» произведений Шишкина с опорой на существующие наблюдения, можно обозначить их следующие особенности.

Во-первых, у Шишкина интертекстуальность, являясь одним из ведущих приемов художественной игры со смыслами, связана с авторской установкой на обновление литературы через её «самонасыщение» [8. С. 49]. Включение Шишкиным опыта предшествующей культуры в свои произведения актуализирует «онтологические свойства текста», которые определяют его «вписанность в процесс литературной эволюции» [9. С. 14.]. Не случайно в своих интервью Шишкин признается, что «мой текст, по крайней мере, мне бы очень этого хотелось, есть не что иное, как классический русский роман, написанный сегодня» [10]. Можно заметить, что в этом признании Шишкин подчеркивает свою писательскую сосредоточенность на обновлении устойчивой «формы» художественного мышления русской словесной культуры. Во многом именно в силу этой эстетической установки писателя С.П. Оробий, отмечая появление в начале XXI в. новой волны литературной «модернизации русской прозы» [6], упоминает в том числе и имя М. Шишкина.

Во-вторых, в интертекстуальном поле прозы Шишкина особое место занимает русская классика. В процессе выстраивания диалога с русской классикой писатель опирается на опыт В. Набокова. Е. Ермолин отмечает, что «глобальная основа близости между современным писателем в России и Набоковым – усугубляющееся диаспоральное состояние отечественной словесности. На нашем горизонте явственно маячит архетипическая фигура Сирина-Набокова, полвека назад обозначившего вехи судьбы русского литератора в ситуации диаспоры» [11]. Не случайно Е. Ермолин рассматривает Шишкина, который с 1995 г. живет в Швейцарии, как носителя эмигрантского сознания, находящегося в ситуации «потери родины». Исследователь отмечает, что писатели четвертой волны эмиграции переживают травму, близкую набоковской. Е. Ермолин подчеркивает, что эмиграция для Шишкина, как и для Набокова, становится возможностью для обретения безграничной творческой свободы, необходимой для поиска новых творческих решений. Для Шишкина актуальна не только набоковская художественная стратегия обновления творческого метода, но и набоковская рецептивная модель русской классики как наиболее отвечающая современной культурной ситуации.

Обозначим ключевые черты интертекстуального диалога Набокова с русской классикой. Аллюзивно-реминисцентная аура набоковских произведений является предметом постоянной исследовательской рефлексии. В многочисленных работах подчёркивается, с одной стороны, насыщенная интертекстуальность прозы Набокова, а с другой – отсутствие прямой линии генетической преемственности к бесспорному писательскому авторитету, так как вся русская словесность присутствует в творческом сознании Набокова. Подоб-

ное сохранение и представление классики в творчестве Набокова обуславливает невозможность установления единственного «претекста», поскольку один и тот же элемент поэтики может одновременно «отправлять» к нескольким источникам.

Набоковский принцип диалога с русской классикой для Шишкина приобретает особое значение. В условиях эмиграции, которые не мыслятся Шишкиным как катастрофические, с наибольшей остротой актуализируется традиционная ситуация для современной культуры, когда писатель не столько взаимодействует с реальностью, сколько погружается в процесс «самосознания литературы», связанный с поиском «внутритекстовых» источников для развития.

Несмотря на насыщенную интертекстуальную основу произведений Шишкина, «претекстом» которой выступает вся русская литература, имеет право на существование исследовательский подход, ориентированный на установление межтекстовых отношений с художественными системами отдельных классиков. В связи с этим стоит обратить внимание на характер интертекстуальных связей между произведениями Шишкина и Гоголя. Наблюдения исследователей (Т.Л. Рыбальченко, С.П. Оробий) показывают, что обращения к «гоголевскому тексту» у Шишкина имеют не единичный, а систематический характер.

Своеобразной точкой «рецептивного отсчета» Шишкина по отношению к Гоголю можно назвать типологию героя – homo scribens и связанного с ним «скрипторского сюжета». Рассмотрение «скрипторского текста» как основы «гоголевского текста» в романе «Письмовник» М. Шишкина требует выявления принципов соотношения архетипического, культурно-исторического и индивидуально-авторского в типе homo scribens. Подобный подход вполне объясним, так как Гоголь сам не миновал культурно-генетических связей «пишущего человека» при включении его в свою художественную систему.

При рассмотрении логики формирования в европейской культуре архетипа homo scribens и отношения к нему стоит обратиться к работе С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы», в которой описана «психологическая атмосфера» [12. С. 192] вокруг письма, начиная с периода античной культуры и заканчивая эпохой раннего средневековья. Исследователь рассматривает этапы последовательного переосмысления образа «пишущего человека» в европейской культуре. С. Аверинцев, сосредоточивая внимание на переходном периоде от греко-римской культуры к культуре раннего Средневековья, описывает предпосылки к изменению статуса пишущего человека. В эпоху господства греко-римской культуры было пренебрежительное отношение к писцу, труд которого считался рабским. Отсутствие уважения к пишущему человеку в этот период было связано с приматом устного слова над письменным. В эпоху раннего Средневековья начинает формироваться традиция почтительного отношения к труду писцов, обусловленного христианским поклонением перед Библией как письменно фиксированным «словом Божиим». Также исследователь подчеркивает, что в этой логике перехода была задействована и культура ближневосточного круга, в частности древнееврейская, которой было присуще «прочувствованное, патетическое отношение к письменному труду и к написанному слову» [12. С. 198]. Если просле-

живать дальнейшую судьбу «человека пишущего» в пространстве европейской культуры, то можно отметить, что начиная с XVI в. он постепенно лишается своего святого ореола, а умение писать становится повседневной и будничной практикой бумажного делопроизводства. Иными словами, сформированное в эпоху Средневековья сакрально-уважительное отношение к писцу, владевшему тонкостями красивого письма, разрушается, разрушается и целостность образа скриптора. Распад связан как с дискредитацией монашества, разрушением вокруг него сакральной ауры, так и с изобретением книгопечатания, наступлением эры Гуттенберга, которая окончательно разделила букву и дух.

Аналогичные сдвиги в этот момент происходят на Руси, в основах культуры которой образ «пишущего человека» связан с идеей духовного служения, сформированной в традициях монастырского уклада. В работе Л.А. Черной «Русская культура переходного периода: от средневековья к новому времени» [13] указывается, что «человек пишущий» к XVII в. – это не только участник делопроизводственного процесса в светских и высших церковных кругах, но и мелкий чиновник – подъячий, который, проявляя трудолюбие и усердие, может успешно продвигаться по служебной лестнице. Эпоха Петра I справедливо может быть названа золотым веком чиновничьего письма, которое создавалось в невероятных объемах и с невероятным усердием.

Таким образом, на момент обращения Гоголя к образу «пишущего человека» произошла десакрализация идеи *письма* в пространстве как общеевропейской культуры, так и национальной. Петербургские повести о «маленьких» пишущих людях, Башмачкине и Поприщине, Гоголь создает в литературном контексте, который «пропитан» темой маленького человека. В гоголевский период развития этой темы маленький человек находится в статусе мелкого чиновника, обязанности которого чаще всего связаны с переписыванием бумаг. М. Вайскопф основательно, с привлечением большого литературного контекста показал, что повести Гоголя – это гениальная версия на «модную» литературную тему [14]. Немаловажным является и отмеченное Вайскопфом обстоятельство, что Гоголя не обошло и влияние идей каллиграфии и буквенной мистики, связанной с кабалистическими воззрениями, вошедшими в литературный обиход гоголевской эпохи через эстетику немецкого романтизма.

В историко-литературном аспекте пишущий гоголевский герой имеет переходный характер. И тут дело не только в хрестоматийном мифе о том, что «вся русская литература вышла из гоголевской "Шинели"». В работах С.Г. Бочарова «Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной истории» [15] и О.Г. Дилакторской «Петербургская повесть Достоевского» [16] подчеркивается рубежное значение повести «Шинель» в развитии русской литературы, так как она является одной из точек отсчета в творчестве Достоевского. Продолжает логику исследователей Н.В. Константинова в работе «Гоголевский текст в ранних произведениях Ф.М. Достоевского» и отмечает, что «в художественном сознании Достоевского сопрягаются два гоголевских образа: чиновник-переписчик и чиновник-автор, пишущий герой-сочинитель, сопоставляются два процесса копирования: переписывание и сочинительство» [17. С. 16]. Существует также особая связь между Башмач-

киным и Мышкиным, которая была осмыслена М. Эпштейном: «Писчая страсть – точка соприкосновения Мышкина и Башмачкина, от которой оба героя движутся в противоположные стороны <...> Ужасающий своим убожеством гоголевский персонаж оборачивается (в духе тыняновского "пародийного выверта") трагически возвышенной фигурой князя Мышкина; ограниченный и жалкий человек, никому не нужная жертва предстает одним из тех "нищих духом", которые и составляют "соль земли" <...> Вряд ли в какой-либо другой литературе мира так коротка дистанция между ее полюсами, между самым ничтожным и самым величественным ее героями, которые представляют здесь, по сути, вариацию одного типа» [18. С. 66].

Если в логике исследовательских наблюдений, приведенных выше, акцент сделан на «вписанности» гоголевского «скрипторского сюжета» в историю развития русской литературы, то в работе Е.П. Барановской «Homo scribens: антропологические аспекты письма в творчестве Н.В. Гоголя (от «Шинели» к «Размышлениям о Божественной Литургии») «пишущий герой» рассматривается в контексте эстетических исканий Гоголя в поздний период творчества. Исследовательница соотносит образ «пишущего человека» «с учительскими идеалами писателя, с концептом словесного служения, со средневековыми теориями письма, следы которого обнаруживаются в гоголевской переписке» [19. С. 4]. «Скрипторский сюжет» у Гоголя Е.П. Барановской прочитывается как своеобразная антроподицея: «...в повести «Шинель» Гоголь предпринял, с одной стороны, попытку оправдать человека, опираясь на святоотеческую традицию. С другой стороны, сам человек, взятый в акте письма/говорения, просветляет темную цивилизацию» [19. С. 123]. Таким образом, вся логика исследования Е.П. Барановской ориентирована на выявление принципов гоголевского перехода от конкретного образа-персонажа (чиновника-копииста) к образу-архетипу (homo scribens). Этот переход становится возможен в силу сопряжения в структуре образа антиномичных смысловых пар: человека и чиновника, чиновника и поэта, а в самой технике его письма – голоса и буквы, буквы и духа, письма поэтического и канцелярского, сакрального текста и бюрократической бумаги.

Таким образом, «скрипторский сюжет», включающий образ «homo scribens» и воплотившийся с наибольшей полнотой в гоголевской повести «Шинель», одновременно стал символом как художественных исканий самого Гоголя в поздний период творчества, которые были сопряжены с грядущим духовно-эстетическим кризисом, так и перехода к новому этапу в развитии русской литературы, берущему начало в творчестве Достоевского. Содержательный аспект «скрипторского сюжета» в обоих направлениях ориентирован на выявление путей для формирования новой парадигмы творчества с отличным от прежнего авторского статуса и персонального повествования.

Очевидно, что актуализация образа homo scribens в творчестве Шишкина происходит в ореоле этой «литературной памяти». Но у Шишкина есть собственный сценарий актуализации «гоголевского текста», который имеет как историко-литературный, так и индивидуально-авторский аспект.

Тип героя homo scribens Шишкин впервые представил в дебютном рассказе «Урок каллиграфии» (1993) и продолжил его художественное осмысле-

ние во всех последующих романах – «Всех ожидает одна ночь», «Венерин волос», «Взятие Измаила» и «Письмовник».

Первый рассказ «Уроки каллиграфии», по справедливому замечанию С.П. Оробия, имеет программный характер для всего творчества Шишкина, так как он – «модель шишкинской литературы, наглядно демонстрирующая процесс её разложения на атомы письма – буквы, символы» [6. С. 25]. При чем этот «атомный распад» трактуется исследователем двояко, с одной стороны, это «культурный распад, гибель, даже убийство литературы», а с другой – единственный способ её «очищения» и «приведения к чистой форме» [6. С. 25]. Прочтение рассказа исследователем является увертюрой к его трактовке всех последующих романов Шишкина.

Обращаясь к рассмотрению интертекстуального взаимодействия рассказа Шишкина «Урок каллиграфии» и повести Гоголя «Шинель», исследователь отмечает перенесение в «художественную идеологию» рассказа этико-эстетической амбивалентности образа Башмачкина, которая существует в интерпретационной традиции гоголевской повести. Первая традиция берет начало от Белинского и выделяет этический императив в произведении и определяет его как одно из ведущих направлений русской словесности – нравственно-дидактическое. Вторая связана с интерпретацией повести Б. Эйхенбаумом, в которой тема маленького человека оказывается периферийной. Исследователь при анализе повести «Шинель» подчеркивает её исключительные формально-стилистические особенности, а не содержательные.

С.П. Оробий, трактуя рассказ как идейно-эстетическую увертюру ко всем большим романам писателя, подчеркивает, что во многом «гоголевский текст» определяет конфликт рассказа, связанный с противостоянием «формы» и «содержания». Исследователь намечает логику шишкинского «приращения смысла» к гоголевскому образу «переписчика», которая связана с представленной в рассказе мыслью о мистическом доминировании языка, его графическом воплощении и попытках преодоления этого языкового догматизма. В этом контексте рассуждений исследователь приводит цитату из эссе И. Бродского «С любовью к неодушевленному. Четыре стихотворения Томаса Гарди»: «От нее <поэзии> возникает ощущение, что язык способен на такие конструкции, которые низводят человека в лучшем случае до роли писца. Что на самом деле язык использует человека, а не наоборот. Что язык течет в мир человека из царства нечеловеческих истин и зависимостей, что в конечном счете это – голос неодушевленной материи и что поэзия лишь время от времени регистрирует исходящие от него волны» [20]. Тем самым Оробий актуализирует мысль о внесении в проблемное поле рассказа вечного конфликта между этикой и эстетикой.

Рассматривает значение гоголевского «скрипторского текста» в смысловом пространстве рассказа «Урок каллиграфии» и Т.Л. Рыбальченко. Евгений Александрович, герой первого рассказа Шишкина, не просто работает письмоводителем в суде, но и как его литературный предшественник, Акакий Акакиевич Башмачкин, он «философ красивого письма, каллиграфии» [7. С. 333]. Т.Л. Рыбальченко, выявив точку сближения между произведениями в «утрате последней иллюзии маленького человека» [Там же], указывает, что

Шишкин «зафиксировал сдвиг сознания маленького человека в XX в. – его уверенность в гармонизации реальности» [Там же]. Герой Шишкина, в отличие от героя Гоголя, «не просто уходит в мир красоты, каллиграфии, но хотел бы исправить почерк людей, дать им урок каллиграфии, чтобы написать хоть один поступок, хоть одно слово по принципам красоты, гармонии, поднять к небу» [Там же].

Можно заметить, что в наблюдениях обоих исследователей подчеркивается активное начало в образе героя, который пытается быть субъектом письма, осознающим цель своего скрипторского порыва. В смысловом пространстве образа *homo scribens* у Шишкина актуализируется идея трансформации слова в дело, что и влечет за собой активное вмешательство в языковую стихию, которое связано со стремлением выйти из рамок роли простого копииста, фиксирующего чужой голос.

Обозначенный в рассказе «Урок каллиграфии» комплекс смыслов, связанный с темой письма и «пишущего героя», приобретает во всех последующих романах («Всех ожидает одна ночь», «Венерин волос», «Взятие Измаила») различные акценты, в романе «Письмовник» получает радикально иной ракурс освещения, так как это во многом роман о творчестве и о художнике. В «Письмовнике» архетип пишущего героя рассматривается как первооснова архетипа писателя, профессиональная деятельность которого до наступления эры печатных машин и компьютеров была связана с психологическим вживанием в таинство письма при создании и переписывании рукописей.

Продолжение темы письма в романе «Письмовник» определяет композицию романа – это роман в письмах и его нарративную структуру – это соположение двух нарраторов. В рамках данной статьи нас будет интересовать не столько нарративные стратегии романа «Письмовник», которые представлены перепиской двух находящихся в разлуке возлюбленных, Володи и Саши, сколько сюжетная линия Володи, содержащая этапы его взаимоотношений с буквами, словами и его путь к выявлению в себе возможностей быть субъектом письма и «написать книгу» [21. С. 221].

«Скрипторский сюжет» героя организован, с одной стороны, письмами возлюбленной, в которых разлита не только тоска из-за разлуки, но и рефлексия о значении слов и письма в его жизни, с другой стороны, его службой писарем в штабе армии, где он «строчит приказы и похоронки» [Там же]. Эти два смысловых пласта не существуют изолировано друг от друга, а тесно взаимосвязаны и пересекаются между собой. Остановимся сначала на поручениях, которые выполняет герой, являясь писарем в штабе армии. Приказы и похоронки по своему статусу – это классические образцы канцелярского письма. Но если обратиться к содержательному аспекту не столько приказов, сколько похоронок, то они проявляют свойства далеко не простого канцелярского письма. В силу того, что похоронки фиксируют факт смерти человека, то они имеют отношение к пространству небытия. В этом контексте *письмо* героя приобретает иной статус – метафизический. Через переход от *письма* канцелярского к *письму* метафизическому актуализируется идея совмещения «службы» и «служения» в образе героя. Уже в эпизоде назначения на эту должность имплицитно идея будущего «служения» присутствует: на признании Володи о том, что у него «недоступный почерк» [Там же] звучит ответ,

что «писать нужно не доступно, а искренне» [21. С. 62]. В этом эпизоде возникает воспоминание о предшественнике Володи, который не выдержал этого груза ответственности:

Как сильно выпьет, навалится мне на плечо и плачет, как мальчишка: “Коль, прости меня, что не погиб, ведь я за всю войну ни разу не был на передовой...”. Просил прощения у меня, а сам как будто говорил со всеми теми, на кого довелось ему писать извещения [Там же].

«Внутренняя должность» героя связана не только с оповещением родных о гибели солдат, но и с сохранением за ними бытийного статуса через *письмо*. Герой к этому приходит не сразу, а постепенно. Но именно это понимание обуславливает его внутреннюю мотивацию письма, его антропологическую основу. Как нам представляется, в самой идее списков, которые составляет и переписывает герой, тоже можно говорить о гоголевском «акценте». В данном случае в качестве «претекста» выступает поэма «Мертвые души» с ее актуализацией «скрипторского сюжета», который был связан с созданием и переписыванием списков мертвых душ помещиками и Чичиковым. И Чичиков, и помещики в поэме имели свои «скрипторские методики». Им, как и Башмачкину, было свойственно трепетное отношение к буквам как первоэлементам каллиграфического действия, и поэтому каждый из них «выставлял» буквы на свой «собственный манер», создавая списки мертвых душ. Пик мистического таинства письма, представленный в эпизоде с Чичиковым, составляющим итоговый список душ, актуализирует идею пребывания пишущего человека в пороговой ситуации между живым и мертвым, которая значима для смыслового пространства романа Шишкина. Думается, правомерно в этой логике рассуждений вспомнить парадоксальное наблюдение М. Эпштейна о генетической близости Башмачкина и русского религиозного философа Николая Федорова: «...с одной стороны, всеохватная “философия общего дела”, с другой – “этаково-то дело этакое” (один из любимых оборотов Акакия Акакиевича). И тем не менее есть множество черточек, по видимости мелких и случайных, которые символически связывают великана и лилипута, а может быть, образуют и историческую преемственность одного типа, условно говоря, “переписчика”, который в своем восхождении становится “воскресителем” <...> Воскрешать – значит переписывать “во плоти”, воспроизводить уже не символические начертания мыслей, а телесное бытие людей» [22].

Гуманистический пафос у Володи при составлении списков погибших сродни идеям философии «общего дела»:

Переписываю эти списки и думаю – этих ведь тоже никто никогда не пожалеет <...> Мне теперь Кирилл дорог, как брат, и чем длиннее становятся списки убитых и раненых, тем дороже мне становится этот неуклюжий человек со своими толстыми очками [21. С. 283].

Соприкосновение со смертью является для героя источником порыва, который ставит его перед необходимостью выхода из «небратского» состояния.

Вполне очевидно, что в приведённой выше цитате выявляется с большей отчётливостью «толстовский текст»: неуклюжий человек в очках – это явная аллюзия на Безухова, полное имя которого было Петр Кириллович. Но в то же самое время именно гоголевский «пишущий герой» попытался озвучить идею братства впервые в русской литературе. Немаловажной является деталь, что Кирилл Глазенап в романе – это каллиграф, который в перерывах между сражениями практикуется в каллиграфии. Слепота, которая усилена в семантике фамилии (Глазенапы (разг.-сниж.) – то же, что глаза), также может отсылать к Башмачкину, который «подслеповат». Иными словами, эта цитата – яркий пример насыщенной интертекстуальности прозы М. Шишкина, когда один образ может отсылать к нескольким источникам.

Одновременно с этим «гуманным местом», в котором актуализируются идеи братской любви, проснувшейся в герое, в романе представлено и «антигуманное место»:

А еще сегодня сделал первую запись о смерти <...> Думал, будет как-то особенно, но рука выводила страшные слова как ни в чем не бывало <...> Вот, написал рапорт о смерти человека, и рука не дрогнула. Хорошо [21. С. 110].

Справедливо будет утверждение, что генетически эта аллюзия в большей степени восходит к прозе о войне, где актуализируется тема смерти и письма (например, повесть «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого). Поэтому можно говорить о том, что «гоголевский текст» имеет в данном случае свойства факультативного интертекста, который проявляет себя в романе именно в паре с «гуманным эпизодом».

Володю, в отличие от Башмачкина, нельзя назвать философом красивого письма. Он пытается брать уроки каллиграфии у Глазенапа, но, сделав несколько неудачных мазков, решает каллиграфией больше не заниматься. Вместе с тем ему близка идея искусства каллиграфии:

Оказывается, древнее письмо начиналось как запись порядка жертвоприношений. Картинки изображали сцены служения с участниками и ритуальной утварью. И это как раз понятно. А вот дальше произошло удивительное! Смотри, ведь получалось, что это таинство становилось доступным каждому, взглянувшему на картинку. Собака была собакой, рыба – рыбой, лошадь – лошастью, человек – человеком. И тогда письмо стали специально запутывать, чтобы его могли понять только посвященные. Знаки стали освобождаться от дерева, от солнца, от неба, от реки. Знаки раньше отражали гармонию, всеобщую красоту. Гармония переместилась в писание. Теперь письмо не отражение красоты, но сама красота! Как мне все это близко и понятно! [21. С. 163].

В представленном совмещении восторженного принятия идеи самодостаточности письма и невладения навыком искусства каллиграфии обнаруживается еще один содержательный аспект «внутренней должности» героя. Разговор о письме в романе Шишкина становится разговором о письме как форме

существования: перефразируя Декарта – «Scribo ergo sum». В этом смысле *письмо* становится индивидуальным способом борьбы с бессмертием:

Вот, раз я пишу эти строчки, значит, ничего со мной не случилось! Пишу – значит, еще жив <...> когда ты получишь это письмо? И получишь ли? Но ведь знаешь как говорят: не доходят только те письма, которые не пишут [21. С. 151].

Но *письмо* как форма существования героя не мыслится только в идиллическом ключе, как это было у Башмачкина. С одной стороны, герой знает спасительную силу *письма*:

А я себе, наверно, тоже именно поэтому придумываю дело – писать тебе при первой возможности. То есть делать буквы. И ты меня так спасешь, родная моя [Там же]!

С другой стороны, *письмо* – это тяжелый и выматывающий как физически, так психологически труд:

Смерть. Столько раз слышал это слово и сам произносил и записывал эти шесть букв, но теперь я не совсем уверен, понимал ли я по-настоящему, что оно значит [Там же] <...> Иногда приходится много писать – как вчера. Рука устает, болит, суставы кисти ноют. Стараюсь писать мельче, чтобы не так уставала, но на меня кричат, чтобы писал крупнее. А при этом от жары пот капает на бланки, размывает буквы. Бумаги прилипают к руке. Размажешь буквы, приходится снова все начинать. Опять ругань [Там же].

Далее в переписке героем фиксируется писание вопреки всему – силам, желанию, возможностям:

На самом деле единственное, что хочется, – это поскорее забыть. Но я все равно буду записывать все, что здесь происходит. Ведь кто-то должен это сохранить, может, я здесь для того, чтобы все увидеть и записать [21. С. 319].

Герой в рефлексии о своих скрипторских возможностях отмечает совмещение в них антиномичных крайностей – *письмо* о жизни и *письмо* о смерти:

Непонятно, кто мы, где и зачем мы вместе. Необъясним этот дождь, какие-то далекие выстрелы. Немыслимы эти бумаги, которые я должен переписывать бесконечно. Не может быть, чтобы та же рука, которая пишет тебе эти письма о моей любви, потом выводила буквы, которые принесут в чей-то дом горе, будто я вестник, приносящий плохую весть [21. С. 298].

К пониманию своей «внутренней должности» герой приходит не сразу, а именно в пограничной ситуации между жизнью и смертью. Юношеский же период в жизни героя – это период любви к словам «до одури» [Там же].

В этот период любовь была неразделённой, так как герой обнаружил самостоятельность слов, которые существуют вне субъекта письма:

А потом слова уходили, гудение исчезало, и снова начинались приступы пустоты, настоящие припадки – меня знобило, трясло, я валялся днями на своем диване и не выходил никуда – не мог себе объяснить: зачем нужно куда-то выходить? Кому нужно выходить? Что такое – выходить? Что такое – я? Что такое – что? И самое страшное – а вдруг слова больше не придут? [21. С. 216].

Тем самым в «скрипторском сюжете» в романе «Письмовник» homo scribens становится фигурой авторской антропологии, так как в нём внимание сосредоточено на живом пишущем человеке. В этом смысле *письмо*, как деятельность, связанная с определенным образом жизни, описано в романе с опорой на полярные характеристики: мучительное и одновременно спасительное, равнодушное, безучастное и вместе с тем дарующее силу, дающее власть и могущество и в то же время все отбирающее.

Метафизические основы письма, связанные с соприкосновением со сферой небытия, актуализируют мотив зрения и слепоты в романе. Именно поэтому внимания заслуживает слепота героя или, точнее, условия для её приобретения. Если Башмачкин сразу представлен как «несколько подслеповатый», то герой Шишкина изображен в ситуации ухудшения зрения:

Еще неприятно, что от письменной работы в темноте, а писать приходится много по вечерам, когда уже стемнеет, очень болят глаза. Пишешь при свете огарка, напрягаешь зрение, и все начинает мерцать, двоиться. Когда вернусь, придется пойти к врачу, наверно, выпишет мне очки [21. С. 301].

Для характеристики обоих героев этот физический недуг имеет символическое значение. «Подслеповатость» Башмачкина, прочитываемая в контексте идей романтизма, – это свидетельство не только его незаинтересованности во внешней стороне реальности, но и его возможности прозревать идеальный мир:

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы [23. С. 326].

Герой Шишкина, в свою очередь, не столько теряет остроту физического зрения, а сколько постепенно приобретает навык метафизического зрения. Он сосредоточен именно на выявлении у себя способности «заглядывания» за границы бытия, находящегося за пределами возможностей человеческого познания. В раннем детстве героя страх перед смертью сопряжен со страхом к «мраку» и «темноте», в которых пребывают слепые, входящие в его круг общения: слепые дети в детском саду и отчим. В этом смысловом сдвиге в

образе «пишущего человека» в романе Шишкина можно предположить, что одним из возможных прецедентных текстов является гоголевский «Вий». Это произведение значимо именно в силу присутствия в нём попыток зрительного контакта со сферой небытия. Общение со слепыми детьми дарует герою Шишкина шанс быть невидимкой в пространстве небытия и тем самым сохранить свою безопасность, которая в свое время не была дана гоголевскому Хоме Бруту. «Так, способность видеть, когда тебя не видят, ценна как непрерывное условие существования. Хома Брут совершает ошибку: вместо того, чтобы притвориться мертвым и незрячим, он попытался увидеть то, что не может быть видимо, он захотел распространить право жизни на область мертвого, увидеть собственный страх и тем самым избавиться от него» [24. С. 103]. Если первый опыт соприкосновения со сферой небытия в сюжетной линии героя в романе Шишкина происходит в пространстве мирной жизни, то следующий опыт – в пространстве войны, которое синонимично смерти. Военные части романа Шишкина имеют ярко выраженный интертекстуальный характер. Е. Рогова отмечает, что способы воплощения войны в романе связаны с реалистическими традициями мировой литературы, которая сформировалась в произведениях о войне Стендаля, Л.Н. Толстого, Э.Т. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Р. Олдингтона. [25. С. 11]. Отсюда можно говорить лишь о возможности гоголевского «следа», который проявляется в стремлении героя не приблизить свой финал, а прозреть недостижимое обычному человеческому взгляду. Герой пытается заглянуть в глаза смерти:

Знаешь, что в мертвых удивляет? Что они все становятся похожи друг на друга. При жизни были разные, а потом у всех глаза одинаковые – зрачки глаз тусклые, кожа восковая, а рты почему-то всегда открыты [21. С. 255] <...> Вижу одного из штабных – мертвый <...> Глаза смотрят, но ничего не видят <...> [21. С. 307] когда он умер, я протянул руку к его лицу, провел ладонью и закрыл ему глаза. Оказывается, в этом нет ничего такого <...> [21. С. 308].

Думается, в описании попытки героя увидеть именно отражение смерти в глазах человека актуализируется гоголевская семантика «мертвого» и «живого» взгляда, которая максимальной выразительности достигла в повести «Портрет». «От первой ко второй редакции повести «Портрет» в творчестве Гоголя произошло изменение представлений о «живом» взгляде ростовщика от мистико-инфернального к сущностно-онтологическому» [26. С. 15]. В этом смысле у героя Шишкина семантика ситуации «заглядывания» в глаза связана с обнаружением «дыр в мироздании» [21. С. 361], которые поглощают все живое. Мотив зрения/слепоты в романе Шишкина актуализирует не только приобретение героем навыка обозревать бездну небытия, запечатленную в мёртвом человеческом взгляде, но и навыка «видеть сквозь слова»:

Ты знаешь, это ведь я слепой был. Видел слова, а не сквозь слова. Это как смотреть на оконное стекло, а не на улицу. Все сущее и мимолетное отражает свет. Этот свет проходит через слова, как через стекло. Слова существуют, чтобы пропускать через себя свет [21. С. 220].

Несомненно, мотив зрения/слепоты привносит дополнительные смыслы в реализацию «скрипторского сюжета» у Шишкина. В романе особое значение получает стремление «пишущего героя» выявить соотношение в языке «идеального» и «реального», «отражающего» и «преображающего», «физического» и «метафизического» компонентов. «Пишущий герой» Шишкина, принимая необходимость *письма* в условиях тотальной негармоничности жизни, отстоит от Башмачкина, который замыкает свое *письмо* только в идеальном мире разлинованной страницы. Логосная идея письма, связанная с собиранием букв в «премудрое целое» в изоляции от внешнего мира, которая была близка Гоголю, в романе Шишкина смещена в сторону поиска утраченных трансцендентных основ письма.

Таким образом, «скрипторский сюжет» о чиновнике-переписчике не теряет своей актуальности и наращивает дополнительные смыслы в романе М. Шишкина «Письмовник». Шишкин, обращаясь к образу *homo scribens*, фиксирует очередной переходный этап в развитии русской литературы. Если принять за исходный тезис, что модель русской литературы заложена и коренится в идее оправдания «бедного чиновника для письма» [19. С. 6], то Шишкин следует именно по этому пути, стремясь «рассказать о любви к Акакию Акакиевичу на языке Джойса» [10]. «Межтекстовые отношения» между Гоголем и Шишкиным не содержат идеи литературной преемственности и не отличаются противостоянием двух художественных систем – классика и современного автора. Скорее можно говорить о том, что гоголевский «скрипторский сюжет» был прочитан Шишкиным в контексте оформляющего нового комплекса философских идей, в котором происходит переход «от письма к пишущему» [27]. Этот сдвиг обозначен в работе М. Эпштейна «Скрипторика. Введение в антропологию и персонологию письма»: «именно нынешняя интеллектуальная диктатура письма побуждает критически отнестись к грамматологии в ее постструктуралистском изводе и искать ей альтернативы в другой дисциплине – скрипторике» [27]. В этом смысле роман Шишкина – это исповедь «пишущего человека», который прошел через любовь к словам «до одури», потерял себя среди слов и обрел свое собственное я в *письме*. Иными словами – он стал субъектом письма, обладающим индивидуально-психологической мотивацией. «Художественную наглядность» в романе М. Шишкина этот переход к «персоналистскому письму» [27] получил через обращение к одному из ядерных элементов «скрипторского текста» Гоголя – антиномичное совмещение «службы» и «служения», «канцелярского» и «метафизического» письма.

Литература

1. Немзер А. Все культурненько, все пристойненько. URL: <http://www.ruthenia.ru/nemzer/nacbest-fin.html> (дата обращения: 01.03.2015).
2. Бавильский Д. Шишкин лес // Частный корреспондент. 2010. 23 дек. URL: http://www.chaskor.ru/article/shishkin_les_19083 (дата обращения: 01.03.2015).
3. Липовецкий М.Н. Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов, М.: Новое литературное обозрение, 2008. 840 с.
4. Абашева М.П., Лашова С.П. Стратегии и тактики Михаила Шишкина (к вопросу о художественном методе) // Polilog. Studia Neofilologiczne, 2012. № 2. С. 233–241.

5. Нефагина Г.Л. Полифония культур в романе М. Шишкина «Венерин волос» // Русская и белорусская литература на рубеже XX–XXI веков: сб. науч. ст.: в 2 ч. Минск, 2010. Ч. 1. С. 135–143.
6. Орбий С.П. «Вавилонская башня» Михаила Шишкина: опыт модернизации русской прозы. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. 161 с.
7. Рыбальченко Т.Л. Человек пишущий и человек живущий в повести Н.В. Гоголя «Шинель» и рассказе М. Шишкина «Урок каллиграфии» // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепция): сб. ст. Томск, 2008. Вып. 2. С. 329–340.
8. Пьер-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: ЛКИ, 2008. 240 с.
9. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих мир: человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
10. Шишкин М. «Язык – это оборона»: Михаил Шишкин о новом типе романа, русском языке и любви к Акакию Акакиевичу // Критическая Масса. 2005, №2. URL: <http://magazines.russ.ru/km/2005/2/sh3-pr.html> (дата обращения: 01.03.2015).
11. Ермолин Е. Ключи Набокова. Пути новой прозы и проза новых путей // Континент. 2006. № 127. URL: <http://magazines.russ.ru/continent/2006/127/ee20.html> (дата обращения: 01.03.2015).
12. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 192–221.
13. Черная Л.А. Русская культура переходного периода: от средневековья к новому времени. М.: Языки русской культуры, 1999. 281 с.
14. Вайскопф М.Я. Сюжет Гоголя: морфология, идеология, контекст. М.: Радикс, 1997. 588 с.
15. Бочарова С.Г. Холод, стыд и свобода: История литературы sub specie Священной истории // Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 121–152.
16. Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 347 с.
17. Константинова Н.В. «Гоголевский текст» в ранних произведениях Ф.М. Достоевского: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск. 2006. 24 с.
18. Эпштейн М.Н. Князь Мышкин и Акакий Башмачкин (к образу переписчика) // Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX вв. М., 1988. С. 65–82.
19. Барановская Е.П. «Ното scribens: антропологические аспекты письма в творчестве Н.В. Гоголя (от «Шинели» к «Размышлениям о Божественной литургии»): дис. ... канд. филол. наук. Омск. 2006. 190 с.
20. Бродский И. С любовью к неодоушленному: Четыре стихотворения Томаса Гарди // Звезда. 2000. № 5. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/5/gardi.html>. (дата обращения: 1.03.2015).
21. Шишкин М.П. Письмовник. М.: АСТ: Астрель, 2012. 412 с.
22. Эпштейн М.Н. Фигура повтора: философ Николай Федоров и его литературные прототипы // Вопросы литературы. 2000. № 6. URL: <http://magazines.russ.ru/voplit/2000/6/epsht.html> (дата обращения: 01.03.2015).
23. Гоголь Н.В. Шинель // Собр. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 3. 429 с.
24. Подорога В. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. 1: Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М.: Культурная революция: Логос: Logos-altera, 2006. С. 100–105.
25. Рогова Е.Н. Некоторые аспекты художественной целостности романа М. Шишкина «Письмовник» // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 5 (31). С. 105–118.
26. Баль В.Ю. Мотив «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет»: текст и контекст: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Томск. 2011. 24 с.
27. Эпштейн М.Н. Скрипторика: Введение в антропологию и персонологию письма // Новое литературное обозрение. 2015, № 131 (1). URL: <http://www.nlobooks.ru/node/5845> (дата обращения: 01.03.2015).

“GOGOL’S TEXT” IN THE NOVEL *PISMOVNIK* BY MIKHAIL SHISHKIN

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 98–113. DOI: 0.17223/19986645/42/8

Vera Yu. Bal, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ver_bal@ibmail.com

Keywords: N.V. Gogol, Mikhail Shishkin, modern Russian prose.

The focus of the article is on the novel *Pismovnik* by the contemporary Russian writer Mikhail Shishkin, which was first published in 2012. On the one hand, the novel is a novel in letters which reflect the story of two lovers, Volodya and Sasha, and, on the other hand, it is a novel about the artist and the essence of literary art. The content of the novel, associated with reflections on the essence of creativity and the stages of the creative method of the artist-hero in the novel, has a broad intertextual field. A special place in the intertextual field of the novel, which has a distinct philosophical and aesthetic overtone, belongs to the figure of Gogol. For Shishkin, the classic of Russian literature is not a role model and unquestioned authority, but a reference point for the reflections on art and ways of its image in the contemporary literary context. Gogol's echo appears in two motive and thematic complexes of writing and vision that actualize the philosophical and aesthetic problems in the novel. On the one hand, Shishkin includes Gogol's view on writing which makes it possible to identify the meta-physical basis of reality in his aesthetic reflection space. The interest in this aspect of creativity determines the typology of Shishkin's hero in the novel, the *homo scribens*, which has a gene of Gogol. Shishkin's hero in his development as an artist goes from a blind passion for writing and words to the perception of a possibility to "lead" the world to beauty and harmony through writing. On the other hand, Gogol's philosophy of vision, including reflections on the ability to perceive both visible and invisible worlds, turns out to be significant for Shishkin. Shishkin's reflections give special interpretation to Gogol's motive of dead eyes, which becomes a symbol of the artist's interest in the sphere of nothingness, in the space of death, inaccessible to the perception of a living person. The mystery of death not only in everyday life, associated with personal fears, but also on the ontological level, related to the theme of art, occupies an important place in the semantic space of the image of the hero. By combining the two directions of Gogol's aesthetic reflection, writing and vision, Shishkin in his *Pismovnik* primarily seeks creative self-determination. The need of creative self-determination is connected with the existence of Shishkin's individual artistic method in the gap between the classical and post-classical art traditions. Shishkin, bypassing Gogol's dramatic reflection on the essence of creativity in the ethical and anthropological, moral and aesthetic aspects, connected with the need to "hold the frontiers of knowledge" in art, reveals the plasticity and even blur of the boundaries between being and nothingness in verbal creativity through his original narrative poetics.

References

1. Nemzer, A. (2005) *Vse kul'turnen'ko, vse pristoynen'ko* [All neat and decent]. [Online] Available from: <http://www.ruthenia.ru/nemzer/nacbest-fin.html>. (Accessed: 01st March 2015).
2. Baviľ'skiy, D. (2010) Shishkin les [Shishkin's Forest]. *Chastnyy korrespondent*. 23 December. [Online] Available from: http://www.chaskor.ru/article/shishkin_les_19083. (Accessed: 01st March 2015).
3. Lipovetskiy, M.N. (2008) *Paralogii. Transformatsii (post)modernistskogo diskursa v russkoy kul'ture 1920-2000-kh godov* [Paralogs. Transformations of (post)modernist discourse in the Russian Culture of the 1920s–2000s]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
4. Abasheva, M.P. & Lashova, S.P. (2012) Strategii i taktiki Mikhaila Shishkina (k voprosu o khudozhestvennom metode) [Strategies and tactics of Mikhail Shishkin (to the question of art method)]. *Polilog. Studia Neofilologiczne*. 2. pp. 233–241.
5. Nefagina, G.L. (2010) Polifoniya kul'tur v romane M. Shishkina "Venerin volos" [The polyphony of cultures in Mikhail Shishkin's Maidenhair]. In: *Russkaya i belorusskaya literatura na rubezhe XX–XXI vekov: v 2-kh ch.* [Russian and Belarusian literature at the turn of the 21st century: in 2 vols]. Vol. 1. Minsk: RIVSh.
6. Orobij, S.P. (2011) "Yavilonskaya bashnya" Mikhaila Shishkina: opyt modernizatsii russkoy prozy [The Tower of Babel by Mikhail Shishkin: experience of modernization of Russian prose]. Blagoveshchensk: Blagoveshchensk State Pedagogical University.
7. Rybal'chenko, T.L. (2008) Chelovek pishushchiy i chelovek zhivushchiy v povesti N.V. Gogolya "Shinel'" i rasskaze M. Shishkina "Urok kalligrafii" [Man writing and man living in N.V. Gogol's "The Overcoat" and in M. Shishkin's "A Lesson of Calligraphy"]. In: Khomuk, N.V. (ed.) *N.V. Gogol' i slavyanskiy mir (russkaya i ukrainskaya retseptsiya)* [N.V. Gogol and the Slavic world (Russian and Ukrainian reception)]. Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University.
8. Pierre-Grau, N. (2008) *Vvedenie v teoriyu intertekstual'nosti* [Introduction to the theory of intertextuality]. Moscow: LKI.
9. Lotman, Yu.M. (1996) *Vnutri myslyashchikh mirov: chelovek – tekst – semiosfera – istoriya* [Inside thinking worlds: man – text – semiosphere – history]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

10. Shishkin, M. (2005) "Yazyk – eto oborona". Mikhail Shishkin o novom tipe romana, russkom yazyke i lyubvi k Akakiyu Akakievichu ["Language is a defense". Mikhail Shishkin on a new type of novel, the Russian language and love for Akaki Akakiyevich]. *Kriticheskaya Massa*. 2. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/km/2005/2/sh3-pr.html>. (Accessed: 01st March 2015).
11. Ermolin, E. (2006) Klyuchi Nabokova. Puti novoy prozy i proza novykh putey [Nabokov's keys. Ways to a new prose and prose of new ways]. *Kontinent*. 127. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/continent/2006/127/ee20.html>. (Accessed: 01st March 2015).
12. Averintsev, S.S. (1997) *Poetika rannevizantiyskoy literatury* [Poetics of early Byzantine literature]. Moscow: Soda.
13. Chernaya, L.A. (1999) *Russkaya kul'tura perekhodnogo perioda: ot srednevekov'ya k novomu vremeni* [Russian culture of transition from medieval to modern times]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
14. Vayskopf, M.Ya. (1997) *Syuzhet Gogolya: morfologiya, ideologiya, kontekst* [Gogol's plot: morphology, ideology, context]. Moscow: Radiks.
15. Bocharov, S.G. (1999) Kholod, styd i svoboda. Istoriya literatury sub specie Svyashchennoy istorii [Cold, shame and freedom. Literary history as sub specie of Sacred History]. In: Bocharov, S.G. *Syuzhety russkoy literatury* [Plots of Russian literature]. Moscow: Yazyki russkoy literatury.
16. Dilaktorskaya, O.G. (1999) *Peterburgskaya povest' Dostoevskogo* [The Petersburg novel of Dostoevsky]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin.
17. Konstantinova, N.V. (2006) "Gogolevskiy tekst" v rannikh proizvedeniyakh F.M. Dostoevskogo [The "Gogol text" in the early works of F.M. Dostoevsky]. Abstract of Philology Cand. Diss. Novosibirsk.
18. Epshteyn, M.N. (1988) Knyaz' Myshkin i Akakiy Bashmachkin (k obrazu perepischika) [Prince Myshkin and Akaki Bashmachkin (the image of the copyist)]. In: Epshteyn, M.N. *Paradoksy novizny: O literaturnom razvitiy XIX-XX vv.* [Paradoxes of novelty: On the literary development of the 19th–20th centuries]. Moscow: Sovetskiy pisatel'.
19. Baranovskaya, E.P. (2006) "Homo scribens: antropologicheskie aspekty pis'ma v tvorchestve N.V. Gogolya (ot "Shineli" k "Razmyshleniyam o Bozhestvennoy Liturgii")" ["Homo scribens: anthropological aspects of writing in the works by N.V. Gogol (from "The Overcoat" to "Reflections on the Divine Liturgy)"]. Philology Cand. Diss. Omsk.
20. Brodsky, I. (2000) S lyubov'yu k neodushhevlenomu. Chetyre stikhotvoreniya Tomasa Gardi [With love to the inanimate. Four Poems of Thomas Hardy]. *Zvezda*. 5. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/5/gardi.html>. (Accessed: 01st March 2015).
21. Shishkin, M.P. (2012) *Pis'movnik* [Letter writer]. Moscow: AST: Astrel'.
22. Epshteyn, M.N. (2000) Figura povtora: filosof Nikolay Fedorov i ego literaturnye prototipy [The repetition: philosopher Nikolai Fedorov and his literary prototypes]. *Voprosy literatury*. 6. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/voplit/2000/6/epsht.html>. (Accessed: 01st March 2015).
23. Gogol, N.V. (1984) Shinel' [The Overcoat]. In: Gogol, N.V. *Sobr. soch.: v 8 t.* [Works: in 8 vols]. Vol. 3. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
24. Podoroga, V. (2006) *Mimesis. Materialy po analiticheskoy antropologii literatury* [Mimesis. Materials in analytical literature anthropology]. Vol. 1. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya, Logos, Logos-altera.
25. Rogova, E.N. (2014) Some aspects of the artistic integrity of M. Shishkin's novel Pismovnik. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 5 (31). pp. 105–118. (In Russian).
26. Bal', V.Yu. (2011) Motiv "zhivogo portreta" v povesti N.V. Gogolya "Portret": tekst i kontekst [The motif of a "living portrait" in N.V. Gogol's "A Portrait": Text and Context]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk.
27. Epshteyn, M.N. (2015) Skriptorika. Vvedenie v antropologiyu i personologiyu pis'ma [Scriptorics. Introduction to anthropology and personology of writing]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 131 (1). [Online] Available from: <http://www.nlobooks.ru/node/5845>. (Accessed: 01st March 2015).

УДК 82.09

DOI: 10.17223/19986645/42/9

Ю.А. Говорухина

ФАНТОМНАЯ САМОИДЕНТИЧНОСТЬ ЭМИГРАНТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИЦИСТИКИ ЖУРНАЛОВ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ» И «МОСТЫ»)

Статья посвящена отражению процесса самоидентификации эмиграции «четвёртой волны» (ее антироссийской части) в публицистике журналов «Литературный европеец», «Мосты» (Германия). Обреченная на невыгодное сравнение с предыдущими волнами, получившая неофициальное название «колбасная», она встраивает себя в контекст русской эмиграции. Однако конструируемый образ и миссия представляются фантомными.

Ключевые слова: эмиграция, четвертая волна эмиграции, литература русского зарубежья, «Литературный европеец», «Мосты», самоидентичность.

Эмиграция четвертой волны остается сегодня малоизученным явлением. Причины этого не только в малой хронологической дистанции, недостаточной для продуктивной позиции вненаходимости, чтобы обозреть явление в целом, обнаружив тенденции развития и возможный диалог с предшествующими и последующей, пятой, волнами. Литературоведение и литературная критика точно осваивают творчество М. Шишкина, Д. Рубиной, А. Крамера и др., как правило, не выходя на обобщения. В этом смысле дальше продвинулись лингвистика, изучающая языковые особенности современных эмигрантов и создающая речевой портрет эмигранта [1–4]; психология, исследующая механизмы адаптации эмигрантов постперестроечного периода [5, 6], социология и культурология, включившие феномен четвертой волны эмиграции в проблемное поле мультикультурализма и постколониализма.

Редкие попытки выйти на уровень типологии представляются особенно ценными, однако они не лишены погрешностей, когда обобщающие суждения вступают в противоречие с конкретикой разнообразных, нередко противостоящих друг другу идеологически явлений новейшей эмигрантской литературной жизни.

Так, И.Н. Минеева в учебном пособии «Литература русского зарубежья (XX – начало XXI в.)» [7] ставит перед собой среди прочих цель прояснить, каков самоидентификация писателя-эмигранта и его ценностные установки; как бытует эмигрантский художественный текст, каковы его отношения с нелитературными дискурсами; каковы основные темы и особенности поэтики в сравнении с литературным опытом эмигрантов предшествующих трех волн. Несмотря на замечания о мироощущении эмигрантов четвертой волны, проблематике их творчества, ряд выводов неприложим к той части эмиграции, которая позиционирует себя как антироссийски/антипутински/антисоветски настроенную. Речь идет о стремлении эмигрантов «не противопоставить себя иномиру, а вписаться в него, не отрываясь при этом от родной литературы»;

несвойственности четвертой волне такого типа самоидентификации, как «мессия, последние Представители, Хранители и Продолжатели русской культуры»; чувстве оторванности от России.

Исследуемый материал противоречит выводу А. Гениса о том, что «необходимость духовного, этического, эстетического противостояния эмигрантской литературы советской идеологии отпала» [8], что, по мнению автора, должно явиться аргументом в пользу нелегитимности использования номинации «эмиграция» по отношению к современным волнам.

Литературная эмиграция «четвертой волны», обреченная на невыгодное сравнение с предыдущими волнами, получившая неофициальное название «колбасная», особенно драматично переживает самоидентификационные процессы. На наш взгляд, именно ракурс (само)идентификации позволит создать некую объяснительную модель, откорректировать созданный образ эмиграции 1990-х гг.

Материалом статьи послужили публицистические и литературно-критические тексты, опубликованные на страницах журналов «Литературный европеец» (далее ЛЕ) и «Мосты» (Германия, Франкфурт-на-Майне¹). Идеологически близкие, эти издания объединили эмигрантов, занимающих открыто антироссийскую (антипутинскую) позицию. Под номинацией «четвертая волна эмиграции» будет иметься в виду только этот сегмент эмигрантской литературы.

Журнал «Литературный европеец» заявлен как «журнал Союза русских писателей в Германии», что уже включает указание на одну из идентичностей.

В самом общем значении идентификация – отождествление себя с некой группой, в данном случае – этнической² (мы – русские). Однако, на наш взгляд, речь не идет о титульном этносе России. Публицистика ЛЕ и «Мостов» представлена текстами, авторы которых дистанцируются от бывших соотечественников, от русскости в поведении и образе мыслей³, отмечают нерусскость артефактов, ставших частью русской культуры (в интерпретации Э. Бернгарда – присвоенных [9]). Заметим, что слово «соотечественники» пишется часто в кавычках, это тоже знак дистанцирования.

¹ «Литературный европеец» – ежемесячный журнал Союза русских писателей в Германии, выходит с 1998 г. «МОСТЫ» – ежеквартальный «толстый» литературный журнал. Выходит с января 2004 г. в Германии. Редактор обоих журналов Владимир Батшев.

² В социологии (особенно отечественной) имеет место тенденция отождествления понятий «этническая» и «национальная» идентичность. Мы придерживаемся точки зрения, фиксирующей разницу в этих двух типах идентичности, и принимаем конструктивистскую концепцию (Э. Хобсбаум, В. Тишков, В. Малахов, В. Коротева и др.), а также положение о том, что человек принципиально незавершен, что объясняет множественный характер идентичности. Национальная идентичность обусловлена политическими и экономическими предпочтениями человека, соотнесение себя с политическим сообществом граждан. Этническая идентичность – это соотнесенность индивидов с определенной культурной целостностью (ее компоненты: язык, религия, искусство, устное творчество, обычаи, нормы поведения, привычки).

³ Дистанцирование как ценностная установка и коммуникативная стратегия характерно для публицистики Э. Бернгарда: «...в окна моей квартиры нередко влетает мерзкая русская ругань. <...> Привет, дорогие земляки! Давайте побеседуем по душам, откровенно! Поведение ваше нередко скотское. Скотская матерная брань. И взгляды такие же...» [9. Ч. 2]; «Это такой “особый” этнос – советский скот... простите, советский человек» [9. Ч. 3].

В таком случае что означает «русский» в презентации ЛЕ? Эмиграция четвертой волны совершает категориальную ошибку, отождествляя русское и советское. Решение о переезде, в представлении эмигранта, – это не только осознанный отказ от советской власти, но и осознанный выбор пути собственного освобождения от «совка». В статье «Обиженные и оскорбленные» Т. Розина героям книги Татьяны Масс «Город женщин», несчастным эмигрантам-совкам с их амбициями и высокомерием, с пренебрежением к тому, что непонятно, противопоставляет других эмигрантов, которые «пытаются вырваться из состояния совковости», учатся «смотреть на мир иными глазами» [10]. Второй образ выдаёт идентификационные ориентиры самой Т. Розиной, типичного «своего» автора ЛЕ и «Мостов». При реальной открытости пространственных границ эмигранты-публицисты настаивают на непреодолимости границы мировоззренческой. «Они», оставшиеся в пространстве России, – носители советского образа мыслей, «руссоветские люди», которых не учит горькая история.

Итак, эмиграция отказывается от идентификации себя с «руссоветскими» людьми. В этом случае формулировка «мы – журнал русских писателей в Германии» может прочитываться следующим образом: «мы истинно русские». Такая интерпретация требует ответа на вопрос: кто истинно русский в понимании эмигранта? Содержание публицистических текстов, опубликованных в журналах на рубеже XX–XXI вв., позволяет утверждать, что истинно русский не значит сопротивляющийся советскости на территории России. Об этом заявляет И. Шестков: «Если ты можешь в ней (в России. – Ю.Г.) жить, если ты не задыхаешься от имперской вони, то ты автоматически – часть этой мясорубки! Будь ты хоть сто раз критиком или триумфальным несогласным – каждой минутой своего пребывания в этой стране ты поддерживаешь Путина. Самим своим дыханием. Экзистенцией» [11]. Факт эмиграции, таким образом, мыслится обязательным условием не сохранения, но очищения, возвращения, приобщения к русскости.

А. ван Геннеп в книге «Обряды перехода» [12] выявил повторяющиеся фазы во всем множестве вариантов опыта перехода: отделение – промежуточная фаза – включение. Эти фазы, наблюдаемые в любом переживаемом опыте, в случае с эмиграцией оказываются обрядовыми, сопряженными с демонизацией и предписанностью. Акт эмиграции в этом смысле – осознанный переход, инициированный нуждой/нехваткой/отделением (в данном случае это отделение себя от «руссоветских» соотечественников, осознанная нужда в отбрасывании наносного советского), к новому статусу «истинно русский». Как в любом обряде, описываемом Геннепом, возвращение к прошлому статусу не предусматривается; отсюда негативная реакция эмигрантов на «возвращенцев», ностальгирующих.

В поиске репрезентативного (и авторитетного) контекста единственной идентификационной стратегией для эмиграции 1990-х становится встраивание себя в контекст русской эмиграции в целом, презентация сходств. Кон-

текст позволяет оправдать и факт отъезда, и собственное существование, не отмеченное литературными взлетами¹.

Происходит это в форме констатации, не требующей доказательств. Так, В. Батшев, редактор и идеолог журналов, говоря от лица русской зарубежной литературы, утверждает: «Русская зарубежная литература всегда была независима от внешних воздействий – откуда бы они ни шли – с Запада или Востока. Писатели, наверно, были иные: Бунин, Зайцев, Набоков, Солженицын, Бродский...» [14]. Еще более явно встраивание в желаемый контекст заметно в статье «Их имя...»: «Ну, а вся эта накипь – все эти донцовы, горлановы, денежкины, стогоффы, данилкины, веллеры, и имя им легион – пройдут. А останется литература Русского Зарубежья – Бунин, Зайцев, Мережковский, Цветаева, Елагин, Галич, Бродский, мы с вами, и – имя нам легион» [15]. Указание на генетическую связь дано в статье «Да, это наша литература!»: «...мы – эмигранты, и это звучит вызывающе гордо. ...Да, мы горды тем, что наша литература – иная, чем литература российская. Она настояна на других соках – на русской зарубежной литературе. На литературе Бунина, Зайцева, Ремизова, Мережковского, Набокова, Яновского, Елагина, Бродского... А основой российской литературы был и оставался социалистический реализм т-ща Горького и прочих товарищей» [16].

Другим доказательством названной идентификационной стратегии являются факты символического лишения «прописки» в «своем» контексте. Так, В. Батшев отказывает выходящему в Дортмунде альманаху «Зарубежные записки» в статусе преемника «Современных записок» на том основании, что редакция в числе «вдохновителей» назвала Генеральное консульство России в Бонне [17]. При составлении справочника о писателях-эмигрантах В. Батшев руководствуется принципом: не включать в справочник «тех, кто, физически проживая здесь, душою и мыслями продолжает жить ТАМ, в Роспутищине. Ибо они не являются писателями Русского Зарубежья, сподвижниками Бунина и Набокова, Елагина и Бродского» [18].

Столь активное встраивание себя в авторитетный контекст объясняется не только необходимостью оправдания и лакировки причины эмиграции, это еще и реакция на тенденцию отказа от номинации «эмигрант» по отношению к четвертой волне, сложившуюся в конце 1990-х гг. Так, А. Генис в интервью 1999 г. заявил, что «к концу XX в. можно смело говорить о конце эмигрантской литературы, завершении целого этапа в истории русской литературы <...> Сегодня никакой эмигрантской литературы нет, как и нет сейчас у

¹ Не уходя в область оценки литературных произведений, публикуемых в ЛЕ и «Мостах», в зыбкое проблемное поле феномена художественной удачи и неудачи, заметим, что имеется в виду отсутствие литературных произведений/имен, вызвавших резонанс в литературно-критической среде за пределами «своего» идеологического поля, в литературоведческой среде; отсутствие такого новаторского опыта, из которого бы «выросла» литературная тенденция, поддержанная писателями второго ряда; публицистичность прозы как компенсация художественной слабости, что дало повод Г. Ермошиной высказать суждение о том, что «они (произведения, публикуемые в ЛЕ. – Ю.Г.) ничем не отличаются от многочисленных текстов многочисленных российских провинциальных журналов. Традиционные, добротные, тщательно и крепко сделанные произведения в лучших традициях провинциального самиздата» [13]. Возможно, невысокая литературная «планка» – следствие публикационной политики, озвученной журналом: («Печататься в нем могут только его подписчики») и не предполагающей серьезнейшего редакторского отбора. Не случайно при сопоставлении себя с предыдущими волнами «европейцы» избегают литературных параллелей.

эмиграции никакой специфической цели и задачи, потому что у России появилась свобода слова» [19]. П. Кузнецов столь же категоричен: «Культура русского изгнания окончательно завершена, а нынешняя и будущая эмиграция не сможет добавить ничего существенного» [20]. В этой ситуации эмигрантам особенно важно не потерять контекст, акцентировав внимание на близкой предшественникам миссии – сохранить истинно русскую культуру. Для них недопустимо «потерять» связывающую номинацию «эмиграция».

Самоидентификацию как продолжение предыдущих волн эмиграции объясняет феноменологическая (понимающая) социология. П. Бергер, Т. Лукман, обосновывая свою теорию социального конструирования, писали: «Индивид становится тем, кем он является, будучи направляем значимыми другими» [21. С. 215]. Значимыми «другими» для четвертой волны становятся успешные в самоидентификации и литературной самореализации предыдущие волны. В утверждении П. Бергера и Т. Лукмана обнаруживается сила влияния Другого и пассивности индивида.

Несомненно, существуют точки сближения четвертой волны эмиграции с предшествующими: неоднородность и размежевание в оценке российской действительности, в том числе антисоветскость; жесткая политическая полемика в публицистике; рефлексия границы (переход границы выписывается как отдельный сюжет) и процесса адаптации к иной культуре; общие мотивы. Но очевидна и разность – мировоззренческая, ценностная, разность обстоятельств эмиграции. В осознании произошедшего у эмигрантов четвертой волны нет трагедийности, а ностальгия ассоциируется с предательством. Первая волна все 1920-е жила с психологической установкой «когда мы в Россию вернемся...», воспоминаниями о России, все темные стороны российской жизни вытесняются в сознании эмигранта идеализированным образом родной страны. У четвертой волны такого идеализированного образа родины нет. Родившиеся в Советском Союзе, некоторое время жившие во внутренней эмиграции, ее представители конструируют идеальный образ страны, ориентируясь на Запад. Миссия сохранения русскости, всечеловеческий масштаб русской идеи в рамках первой волны были панацеей от уничтожения чужой культурой – для четвертой эмиграции эта миссия малоактуальна: европейские ценности поддерживаются и нередко идеализируются, русскость же выполняет сугубо прагматическую роль в выстраивании идентичности.

Ценностная разница становится очевидной при попытке наложить самоидентификационные суждения представителей первой волны на идейный посыл публицистики современной эмиграции. Так, Г.П. Федотов в статье «Зачем мы здесь?» (1935) писал, что эмиграция получила от нации наказ нести наследие культуры, так как большевики решили перековать народное сознание, воспитать в новой России, на основе марксизма, «нового человека, лишённого религии, личной морали и национального сознания»; в сложившихся обстоятельствах русские эмигранты должны стать голосом всех молчащих в России, «чтобы восстановить полифоническую целостность русского духа» [22. С. 440]. Эмиграция четвертой волны не представитель молчащей России, она не мыслит для себя наказ от нации «руссоветских». В 1934 г. Ф.А. Степун ставил перед эмигрантской интеллигенцией задачу обдумывания «русской идеи». «Русскость», по его мнению, выражается в каждоднев-

ном труде на благо будущей России, в сохранении национальной духовности, национального самосознания в условиях иной культуры [23. С. 20]. Труд на благо России – не в ценностной иерархии четвертой волны. Образ будущей России, как правило, апокалиптичен, альтернативных существующему порядку образов не рисуется. Н. Бердяев в «Душе России» писал о русской душе как безграничной, устремлённой в бесконечность, стихийной и отторгающей оформленность как насилие над собой [24. С. 300]. Философы русского зарубежья видели опасность заимствования иной культуры, угрозу смуты в сознании, потери самодостаточности. Четвертая волна идеализирует европейские ценности в противоположность российским (советским), она далека от веры в уникальность русской души.

В осознании русскими эмигрантами первой волны своей национальной идентичности проявлялась ностальгия, «устойчивое психологическое состояние, вызванное ощущением утраты, потери, разлуки, невозможностью возвратиться назад свой прежний мир, свое социально-психологическое окружение» [5. С. 19]. Бывшая одним из главных мотивов русской зарубежной литературы прежде, в 1990–2000-е она начинает противоречить антироссийскому/антипутинскому пафосу. Среди причин ностальгии первой волны Н. Хрусталева называет устойчивые духовные ценности, воспитание в традициях монархизма и христианства; чувство патриотизма в интеллигенции; сопричастность классической русской культуре; невозможность возвращения; отсутствие идентификации образа большевиков с образом оставленной России [5]. Четвертая волна «собирает» (в значении М. Мамардашвили) себя по принципу негативной идентичности: мы другие, противоположность современной России. Показательно заявление редактора ЛЕ, очерчивающего круг «своих» и «чужих» авторов: «...о тех, кого мы еще не печатаем: авторов, ностальгирующих по прежней жизни, в чем бы эта ностальгия ни проявлялась – от классической тоски по оставленной родине (никто никого тут не держит, и на сегодняшний день границы открыты для всех в обе стороны) до, выражаясь в стиле советского уголовного кодекса, “распространения заведомо ложных измышлений, восхваляющих советский государственный и общественный строй”»¹. Четвертая волна не живет надеждой вернуться, как первая, надеждой на кратковременные встречи с бывшими соотечественниками, на скорейшие изменения в стране, как третья. Выбранная идентификационная парадигма не терпит расхождений. Четвертая волна оказалась между образами первой и третьей волн. Сближение с третьей объяснило бы жесткий разрыв с русской (советской) культурой, но обозначила бы явное отличие от первой, «унесшей» Россию с собой. Однако ориентация на первую волну дает обоснование истинной русскости, которая может существовать лишь в эмиграции.

Парадигмы самосознания писателей-эмигрантов первой волны и четвертой мало пересекаются. Первая обусловлена онтологией «изгнания», метафизического состояния, потерей первоначальной духовной цельности и самобытности, и в «изгнании» актуализировались мифологизированные типы са-

¹ Галина Ермошина комментирует это заявление: «Ау, советский железный занавес! Редакция журнала сознательно или неосознанно копирует модель советского общества, потому что другого не знает и знать не хочет» [13].

моидентификации (теурги, мессии, последние Представители, Хранители, страдающие гении) [25. С. 167–168]. Они были формой сохранения русского самосознания. Такой высокой «ноты» в самопредставлении четвертой волны нет. На наш взгляд, это связано с тем, что в четвертой самоидентификационные процессы происходят не на основе духовной трагедии/катастрофы, а на осознаваемой необходимости конструировать идентичность.

Эмигрантам четвертой волны необходимо встроиться в желаемый контекст максимально непротиворечиво, что приводит к существенной корректировке, переозначиванию реальных фактов. Добровольность сменяется вынужденностью, открытость границы – ее мировоззренческой непреодолимостью.

По аналогии с первой волной четвертая формулирует свою миссию, продолжая традицию «мы в послании». В эту миссию входит сохранение русского языка и русской культуры. Но какой *русской* культуры? Эмиграция первой волны «увозила» Россию дореволюционную, четвертая же выросла в России советской, с ее (не)официальными культурными потоками (от обоих, как было отмечено, современная антироссийская эмиграция отрешивается). Ее миссия – фантом. Тем более что публицистика демонстрирует совершенно советскую риторику с оппозицией своей – чужой, с воинственностью.

Публицисты ЛЕ акцентируют свою свободу (свободу мысли, слова, печати). Т. Иглтон в «Идее культуры» замечает: «Свобода – это когда больше не нужно беспокоиться о том, кто ты есть» [26. С. 100]. В этом смысле эмигранты несвободны от этой обеспокоенности (в том числе об устойчивости созданной идентификационной конструкции). Очевидно, эмигранты четвертой волны болезненно переживают несоответствие создаваемого образа и реального имиджа.

Литература

1. Земская Е. Особенности русской речи эмигрантов четвертой волны [Электронный ресурс]. URL: http://www.russian-online.net/ru4ki/pdf/osobennosti_russkoj_rechi_emigrantov.pdf
2. Язык русского зарубежья: общие процессы и речевые портреты: сб. науч. тр. Москва; Вена, 2001.
3. Земская Е.А. Сорняк или роза? (к вопросу о сохранности русского языка у эмигрантов четвертой волны) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2002. Т. 61, № 4. С. 37–42.
4. Никиторец-Такигава Г. Язык русской диаспоры в Японии // Вопросы языкознания. 2009. № 1. С. 50–62.
5. Хрусталева Н.С. Психология эмиграции: социально-психологические и личностные проблемы: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. СПб., 1996.
6. Маховская О. Соблазн эмиграции, или Женщинам, отлетающим в Париж. М.: ПЕР СЭ, 2003.
7. Минеева И.Н. Литература русского зарубежья (XX – начало XXI в.): учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во КГПА, 2012.
8. Генис А. Новый Архипелаг, или Конец эмигрантской литературы // Континент. 1999. № 102. URL: <http://magazines.russ.ru/continent/1999/102/ad27.html>.
9. Бернгард Э. Родом из ненависти, или Необыкновенный фашизм // Мосты. № 15. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=44
10. Розина Т. Обиженные и оскорбленные // Мосты. № 22. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_wrapper&Itemid=73
11. Шестков И. Только метафоры // Литературный европеец. № 165. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=38

12. *Геннеп ван А.* Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / пер. с фр. Ю.В. Ивановой, Л.В. Покровской. М.: Вост. Лит., 2002.
13. *Ермошина Г.* Литературный европеец: Ежемесячный журнал Союза русских писателей в Германии // *Знамя*. 2004. № 9. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2004/9/erm27.html>
14. *Батишев В.* Страница редактора. Гости парижского книжного салона // Литературный европеец. 2003. № 85. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=38
15. *Батишев В.* Их имя... // Литературный европеец. 2008. № 120. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=38
16. *Батишев В.* Да, это наша литература! // Литературный европеец. 2010. № 156. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=38
17. *Батишев В.* О засыпанных рвах и советской патриотизме // Литературный европеец. 2005. № 93. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=27
18. *Батишев В.* О советской власти // Литературный европеец. 2011. № 163. URL: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=38
19. *Новый Архипелаг, или Конец эмигрантской литературы: интервью Марины Адамович с Александром Генисом* // *Континент*. 1999. № 102. URL: <http://magazines.russ.ru/continent/999/102/ad27.html>
20. *Кузнецов П.* Эмиграция, изгнание, Кундера и Достоевский // *Звезда*. 2001. № 4. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2002/4/kuz.html>
21. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.
22. *Федотов Г.П.* Зачем мы здесь? // *Современные записки*. 1935. № 58.
23. *Степун Ф.* Идея России и формы ее раскрытия // *Новый град*. 1934. № 8.
24. *Бердяев Н.А.* Душа России // *Русская идея: сб. произведений русских мыслителей / сост. Е.А. Васильев. М., 2004. С. 289–317.*
25. *Осипова Н.О.* Поэзия эмиграции как семиотическая система // «В рассеянии сущие...»: культурологические чтения «Русская эмиграция XX века»: сб. докл. М., 2006.
26. *Иглтон Т.* Идея культуры. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

PHANTOM SELF-IDENTITY OF EMIGRANTS OF THE FOURTH WAVE (ON THE BASIS OF PUBLICISTIC TEXTS OF THE *LITERATURNYY EVROPEETS* AND *MOSTY JOURNALS*)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 114–123. DOI: 10.17223/19986645/42/9

Yulia A. Govorukhina, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: yuliya_govorukhina@list.ru

Keywords: emigration, first wave of literary emigration, Russian émigré literature, *Literaturnyy evropeets*, *Mosty*, self-identity.

The “fourth wave” of literary emigration unofficially named as “sausage” emigration, is doomed to a disadvantageous comparison with the previous waves, which results in the dramatic process of its self-identification. The present article is based on the journalistic and literary-critical texts published in the journals *Literaturnyy evropeets* (LE) and *Mosty* (Germany, Frankfurt on the Main), these journals espouse a similar ideology, and bring together emigrants with an anti-Russian (anti-Putin) position. The article touches upon this particular segment of the emigrant literature.

The journal *Literaturnyy evropeets* is known as “journal of the Union of Russian writers in Germany”. The name clearly indicates one of the identities. However, the authors disassociate themselves from ex-compatriots, from Russianness in behavior and way of thinking. They put the word “compatriots” in quotation marks, which is also a sign of disassociation.

Emigrants deny their identity with “Russian-Soviet” people. In this case, the statement “we are the journal of Russian writers in Germany” means “we are purely Russian”. The content of the journalistic texts shows that “being purely Russian” does not mean “resisting being Soviet on the territory of Russia” for emigrants. True Russians do not live in Russia. Emigration is a prerequisite of purification and belonging to Russianness.

Emigration of the 1990s is looking for a representative (and authoritative) context and finds it in the Russian emigration as a whole, demonstrating similarities. The context can justify both the fact of departure and its own existence without any literary achievements.

Undoubtedly, there are similarities between the fourth wave of emigration and previous ones: a common theme, heterogeneity and difference in the assessment of the Russian reality, heated political debates in journalism, reflection of the border and the process of adapting to another culture. However, the difference in the world views, values and circumstances of emigration is also obvious.

Similarly to the first wave, the fourth wave states its mission “we are missioned” thus perpetuating the tradition. This mission includes the preservation of the Russian language and the Russian culture. But what Russian is meant? The emigration of the first wave occurred in pre-revolutionary Russia, but the fourth grew up in Soviet Russia with its official and unofficial cultural flows. Its mission is phantom. Journalism shows a very Soviet rhetoric with the opposition “friend-or-foe” and militancy.

References

1. Zemskaya, E. (c. 2006) *Osobennosti russkoy rechi emigrantov chetvertoy volny* [Features of Russian speech of the fourth wave of emigrants]. [Online] Available from: http://www.russian-online.net/ru4ki/pdf/osobennosti_russkoj_rechi_emigrantov.pdf.
2. Zemskaya, E.A. (2001) *Yazyk russkogo zarubezh'ya: obshchie protsessy i rechevye portrety* [Russian language abroad: general processes and speech portraits]. Moscow; Vienna: Yazyki slavyanskoy kul'tury; Venskiy slavisticheskiy al'manakh.
3. Zemskaya, E.A. (2002) Sornyak ili roza? (k voprosu o sokhrannosti russkogo yazyka u emigrantov chetvertoy volny) [A weed or a rose? (The question of the preservation of the Russian language in the fourth wave of emigrants)]. *Izv. RAN. Seriya literatury i yazyka*. 61:4. pp. 37–42.
4. Nikiporets-Takigava, G. (2009) Yazyk russkoy diaspory v Yaponii [The language of the Russian diaspora in Japan]. *Voprosy yazykoznanija*. 1. pp. 50–62.
5. Khrustaleva, N.S. (1996) *Psikhologiya emigratsii: sotsial'no-psikhologicheskie i lichnostnye problemy* [Emigration psychology: socio-psychological and personal problems]. Psychology Dr. Diss. St. Petersburg.
6. Makhovskaya, O. (2003) *Soblazn emigratsii, ili zhenshchinam, otletayushchim v Parizh* [The lure of emigration, or to women who fly off to Paris]. Moscow: PER SE.
7. Mineeva, I.N. (2012) *Literatura russkogo zarubezh'ya (XX – nachalo XXI v.)* [Russian Literature Abroad (20th – early 21st centuries)]. Petrozavodsk: Izd-vo KGPA.
8. Genis, A. (1999) Novyy Arkhipelag, ili Konets emigrantskoy literatury [A New Archipelago, or the end of the emigre literature]. *Kontinent*. 102. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/kontinent/1999/102/ad27.html>.
9. Bergard, E. (n.d.) Rodom iz nenavisti ili neobyknovenny fashizm [Originally from hatred or unusual fascism]. *Mosty*. 15. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=44.
10. Rozina, T. (n.d.) Obizhennyye i oskorblennyye [Hurt and offended]. *Mosty*. 22. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_wrapper&Itemid=73.
11. Shestkov, I. (n.d.) Tol'ko metafory [Metaphors only]. *Literaturnyy evropeets*. 165. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=38.
12. Gennep van, A. (2002) *Obryady perekhoda: Sistematischeskoe izuchenie obryadov* [Rites of passage: A systematic study of the rites]. Translated from French by Yu.V. Ivanova, L.V. Pokrovskaya. Moscow: Vostochnaya literatura.
13. Ermoshina, G. (2004) *Literaturnyy Evropeets: Ezhemesyachnyy zhurnal Soyuza russkikh pisateley v Germanii* [Literaturnyy Evropeets: a monthly magazine of the Union of Russian Writers in Germany]. *Znamya*. 9. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/znamia/2004/9/erm27.html>.
14. Batshev, V. (n.d.) Stranitsa redaktora. Gosti parizhskogo knizhnogo salona [The editor's page. Guests of the Paris Book Fair]. *Literaturnyy evropeets*. 85. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=38.
15. Batshev, V. (n.d.) Ikh imya... [Their name...]. *Literaturnyy evropeets*. 120. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=38.

16. Batshev, V. (n.d.) Da, eto nasha literatura! [Yes, it is our literature!] *Literaturnyy evropeets*. 156. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=38.
17. Batshev, V. (n.d.) O zasypannykh rvakh i sovetskoy patriotizme [On filled ditches and Soviet patriotism]. *Literaturnyy evropeets*. 93. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=27.
18. Batshev, V. (n.d.) O sovetskoy vlasti [On the Soviet regime]. *Literaturnyy evropeets*. 163. [Online] Available from: http://www.le-online.org/old/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=38.
19. Adamovich, M. (1999) Novyy Arkhipelag, ili Konets emigrantskoy literatury: interv'y u Mariny Adamovich s Aleksandrom Genisom [A New Archipelago, or the end of the emigre literature: an interview of Marina Adamovich with Alexander Genis]. *Kontinent*. 102. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/continent/1999/102/ad27.html>.
20. Kuznetsov, P. (2001) Emigratsiya, izgnanie, Kundera i Dostoevskiy [Emigration, exile, Dostoevsky and Kundera]. *Zvezda*. 4. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2002/4/kuz.html>.
21. Berger, P. & Lukman, T. (1995) *Sotsial'noe konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [Social Construction of Reality. A treatise on the sociology of knowledge]. Moscow: Medium, 1995.
22. Fedotov, G.P. (1935) Zachem my zdes'?' [Why are we here?]. *Sovremennye zapiski*. 58.
23. Stepun, F. (1934) Ideya Rossii i formy ee raskrytiya [The Russian idea and form of its disclosure]. *Novyy grad*. 8.
24. Berdyayev, N.A. (2004) Dusha Rossii [The Soul of Russia]. In: Vasil'ev, E.A. *Russkaya ideya: sb. proizvedeniy russkikh mysliteley* [Russian idea: works of Russian thinkers]. Moscow: Airiss-press.
25. Osipova, N.O. (2006) [Emigration poetry as a semiotic system]. "V rasseyanii sushchie...": kul'turologicheskie chteniya "Russkaya emigratsiya XX veka" ["Living in scatter...": cultural readings "Russian emigration of the 20th century"]. Proceedings of the conference. Moscow: Izd-vo Dom-muzey M. Tsvetaevoy (In Russian).
26. Eagleton, T. (201) *Ideya kul'tury* [The idea of culture]. Moscow: Higher School of Economics.

УДК 821.161.1+82.0

DOI: 10.17223/19986645/42/10

А.Е. Козлов

НАРРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОМАНА В.А. СЛЕПЦОВА «ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»: ПРОБЛЕМЫ «ТАЙНОПИСИ»

В статье изучается нарративная организация романа В.А. Слепцова «Трудное время». Взятые за основу тезисы К.И. Чуковского о «тайнописи» слепцовского романа и рассуждения У. Брумфилда о русском романе как социальном проекте определяют методологию исследования. «Тайнопись» рассматривается как свойство импликации, распространяемое на героев и объекты эстетической действительности. Предпринятый опыт изучения повествовательной структуры как нарративного целого, определяемого не только идеологическими, но и эстетическими задачами, позволяет интерпретировать произведение вне контекста полемического романа 1860-х гг. как своеобразный «реквием» по «новому человеку», прозвучавший из демократического лагеря.

Ключевые слова: русская литература XIX века, беллетристика, литературная репутация, В.А. Слепцов, альтернативность и вторичность, нарратив, роман.

Традиция изучения романа¹ В.А. Слепцова «Трудное время» на протяжении продолжительного периода определялась социологическим подходом и марксистским взглядом на эстетику словесного творчества. Среди оценочных высказываний, обусловленных идеологическим контекстом, хорошо известны суждения В.И. Ленина, А.М. Горького, Е.И. Жуковской и др. В совокупности эти высказывания создавали идеализированный образ писателя – революционного демократа и идейного вдохновителя народничества. В этом ключе воспринимались не только биографические обстоятельства, но и всё его творчество: крупные повествовательные формы, как и игровые сценки, отвечающие злободневным обличительным тенденциям, неоднократно вводились в таких работах в разряд программных манифестов передовой части общества.

В ряду подобных исследований особое место занимает исключительная по пронизательности монография К.И. Чуковского «Люди и книги 60-х годов». Значительная часть исследования, наряду с изучением личности Слепцова (в том числе и образующих эту личность противоречий), посвящена анализу лингвостилевых особенностей его произведений, и в частности «Трудного времени». Основной тезис Чуковского, как известно, был связан с «тайнописью» слепцовского романа, эзоповым языком произведения, построенном на импликации содержательно значимых частей текста. По мнению Чуковского, «Трудное время» возникает как компромиссный текст, отражающий действие писательской личности Слепцова и противодействие государственной цензуры [1].

¹ Здесь и далее мы определяем жанр произведения В.А. Слепцова как роман, руководствуясь спецификой сюжетной коллизии и особенностями хронотопа.

После этого изучение романа в большей мере носило регрессивный характер, часто соответствуя идее социального заказа. Так, в комментируемых изданиях для массового читателя, часто упрощая тезисы К.И. Чуковского, воспроизводилась мысль о революционно-демократических взглядах писателя, посвятившего свою жизнь борьбе с цензурой и бюрократической несправедливостью.

В двухтомной «Истории русской литературы» показана связь произведения с романом И.С. Тургенева «Отцы и дети»: «...автор “Трудного времени” пошел дальше по этому же пути, создав образ разночинца-революционера в том же помещичьем окружении, но близкого народу и черпающего в народной жизни материал для своих идей» [2. С. 45]. Подобные наблюдения, выполняющие программу вульгарного социологизма, представлены и в академической десятитомной «Истории литературы»: «“Трудное время” было написано через два года после опубликования эпохального программного произведения революционно-демократической мысли 60-х гг. – романа “Что делать?” и испытало на себе его сильное влияние, которое обнаруживается не только в основных идеях, но и в художественных особенностях повести» [3. С. 580]. Так устанавливалась не только типологическая, но и идеологическая взаимосвязь, обретала свою нормативность концепция преемственности революционно-демократических взглядов в русской литературе 1860-х годов. В «Истории русского романа» произведение, взятое вне биографических обстоятельств, рассматривается как результат социальной реакции на прецедентные тексты: «Отталкиваясь от романа “Отцы и дети”, полемизируя с Тургеневым в понимании идей и психологии “новых людей”, Чернышевский, Слепцов и последующие писатели демократического лагеря, создавшие десятки повестей и романов на тему “о новых людях”, так или иначе творчески учитывали опыт Тургенева, создавшего роман, где представители основных борющихся сил эпохи 60-х годов впервые были изображены в качестве непримиримых антагонистов, борьба между которыми исторически неизбежна» [4. С. 512]. При верности оценки романа и образующего его контекста данное высказывание не освобождено от тенденциозного взгляда на конфликт произведения.

Обращение к библиографическим словарям позволяет убедиться, что интерпретация «Трудного времени», равно как и других произведений писателя-разночинца, в полной мере определяется его литературной репутацией, которая связана «...прежде всего с повестью “Трудное время”» [5. С. 238]. Оговоримся, что логика причинно-следственных отношений, скорее всего, диаметрально противоположна: уже сложившаяся литературная репутация повлияла на восприятие данного романа. С этим связано несколько устойчивых мифов, сопровождающих фигуру Слепцова в историко-литературном процессе.

К подобным мифам можно отнести представление о разночинном происхождении В.А. Слепцова. Если Слепцов – разночинец, при этом сотрудник «Современника», «соратник» Чернышевского, то, по логике марксистской истории литературы, роман «Трудное время» продолжает развитие сюжета о «новых людях». Однако в данном случае целесообразнее говорить об особом типе поведения, его семиотике, нашедшей отражение в текстах и эпистоля-

рии Слепцова. Кажется, именно в этом ключе следует трактовать слова писателя, взятые из частной переписки: «Вы можете припомнить хоть некоторые из моих многосторонних способностей и разнообразных занятий, например: слесарь, столяр, портной, механик, лепщик, рисовальщик, резчик, маляр...» [1. С. 289]. Очевидно, что данный ряд сигнумов, воплощая в жизнь идеализированные образы русского подлиповца, сказочного труженика, мастера на все руки, создает непротиворечивый портрет писателя, освобожденный от черт интеллигента или дворянина.

Вторым устоявшимся мифом является устойчивое представление о том, что *Слепцов выходец из Саратова, хорошо знакомый с городской средой, был «соратником» Чернышевского*. Тем не менее отношения Слепцова и Чернышевского в 1850–1860-е гг. по-прежнему недостаточно прояснены. Кроме того, испытав после ареста 1866 г. тяжелый жизненный кризис, Слепцов вообще прекратил заниматься общественной и литературной деятельностью.

Наконец, весь жизненный путь Слепцова, представленный в литературоведении советского периода как *трудовой подвиг*, при ближайшем рассмотрении предстает чередой авантюры сомнительного качества и достоинства, в ряду которых самой неоднозначной становится Знаменская коммуна¹. Организация коммуны, представлявшая, с одной стороны, переход от теории к практике, ставшая открыто манифестируемым эмпирическим действием, в то же время предстает попыткой сделать литературную модель жизнеспособной. Неудача слепцовской коммуны становится закономерным следствием такой практики, и то, что последний, до конца нереализованный авторский проект получил название «Остров Утопия», говорит не только об особом типе авантюрного поведения писателя, но и о специфике его утопических, заведомо нереализуемых проектов.

Деконструкция сложившегося образа личности В.А. Слепцова и опыт интерпретации его произведений осуществлены У. Брумфилдом. В его статьях и монографии приведены *pro et contra*, заставляющие критически отнестись к случайно и зачастую произвольно выстраиваемым обстоятельствам жизни и творчества В.А. Слепцова [7–9]. Однако ощущаемая потребность верификации биографического и художественного материала дает возможность более тщательного разграничения интенций автора и реальных взглядов (и возможностей) писателя.

Резюмируя историю становления и утверждения литературной репутации В.А. Слепцова, можно констатировать, что писатель не стал «новым Чернышевским», его роман не сыграл такой образующей (и образовательной), роли, как роман-утопия «Что делать?», критиками и современниками консервативного толка он был оценен преимущественно негативно, многими демократами – с большой долей подозрения. Тиражи романа в XX в. также несопоставимы с тиражами «Что делать?».

¹ Исследование Знаменской коммуны в аспекте литературной репутации писателя осуществлено Т.И. Печерской [5]. В создании коммуны можно видеть эмпирическую проверку тезисов Н.Г. Чернышевского, что соответствует не только его программному роману, но и диссертации. Нежизнеспособность литературной модели и ее неприменимость к жизни могли обусловить потребность в проверке иных тезисов романа.

Основная проблема романа Слепцова, на наш взгляд, заключается в сознательном отказе автора от сложившейся сюжетной схемы нигилистического романа и привычной для жанра аксиологии [10]. Идентификация нового человека, обладающего особым характерологическим комплексом, невозможна в произведении, равно как и разведение героев по привычным полюсам *враг-консерватор* и *друг-разночинец-демократ*. Последнее обстоятельство определяет цель настоящего исследования – изучение нарративных особенностей произведения в свете концепции К.И. Чуковского о «тайнописи» романа. По нашему предположению, импликация значимых частей произведения в меньшей мере связана с идеологическими задачами создания универсального шифра, во многом эта особенность объясняется особенностями авторского сознания (и самосознания).

Обыгрывая название романа, трудным можно назвать не только сюжет произведения, но и его прочтение, тем более адекватную интерпретацию. Опубликовавший к тому времени серии петербургских и провинциальных очерков, Слепцов, как и большинство разночинцев, не имел опыта создания крупных повествовательных форм. О неопытности Слепцова говорят, в частности, неровность авторского стиля и невыдержанность повествовательной интонации во всех его романах («Трудное время», «Хороший человек»). Это неоднократно «ставилось» беллетристу в вину и становилось поводом для развенчания художественных достоинств произведения. Однако, на наш взгляд, подобные «перебивы» можно объяснить, исходя из содержания произведения: большая часть романа, представляя эпизоды вне их привычной событийности, ориентирована на такой жанр малой прозы, как сценка.

Идет баба с ведрами; повар в белой куртке несет с погреба говядину; лошадей ведут на водопой; лягавая собака идет, хвостом машет [11. С. 226].

– Ну, так как же, братцы? – громко спросил один старик, отходя от стены и оглядывая всю толпу. – Колько ни толкуй, а, видно, тово...

Оба мужика встрепенулись – и вытянулись.

– Да нет, ты погоди! Нет, постой, – опять заговорили в толпе.

– Чаво стоять-то? Отбузунил их, да и к стороне.

– Знамо. Рожна ли тут еще, – подтвердил другой.

– Им потачки давать нечего.

– Зачем потачку давать?

– Что на них глядеть? Да пра.

– Гляди не гляди, а подать за них все плати.

– Ишь они ловки! [11. С. 323–324].

За счет таких сценок (составляющих свыше 20 фрагментов романа) повествовательная ткань предстает разорванной и чрезмерно пёстрой. Очевидная связь с очерковой традицией определяется здесь и дагерротипной фокализацией, объективизацией повествовательного слова. Вместе с тем очевиден «внешний этнографизм», введенный в повествовательную прозу Н.В. Успенским и Ф.М. Решетниковым. На этом фоне перипетии в жизни главных действующих лиц незначительны и лишены какого-либо содержания: Рязанов,

Щетинин и Мария Щетинина предстают героями-функциями, скрепляющими данные «сцены», зарисовки и очерки из народной жизни в нарративное целое. Следует отметить, что в задачи повествователя не входит описание быта и разъяснение бытовых подробностей: сценка позволяет показать мир как данность, лишив его аксиологического наполнения и самой возможности как-либо судить о нем. Этим приемом Слепцов особенно часто пользуется в XII главе, которая представляет типичный день, проведенный в деревне:

Полдень. На берегу озера, под тенью, на траве сидит Рязанов <...>

Сумерки. Рязанов сидит в своей комнате у окна и, подпершись локтями, смотрит в сад <...>

Вечер. На террасе сидит Марья Николаевна и готовит чай <...>

Воскресенье. Утром, после обедни, пришел батюшка и принес Марье Николаевне просвиру <...>

[11. С. 312–313].

Так, незаметно в одной главе бессмысленно проведенный день становится синонимом бессмысленно прожитой недели, а в конце главы – знаком бессмысленно, бесплодно проживаемой жизни. Повседневность, представленная таким образом, предстает одной из наиболее часто репрезентируемых в романе форм «трудного» времени¹.

Тем не менее мелодраматическая сюжетная линия *Рязанов – Щетинина – Щетинин* аранжирована иным стилем: в частности, здесь можно говорить о влиянии тургеневского повествования. Обращаясь к описанию событий в жизни Марии Щетининой, повествователь заостряет внимание на портрете героини (и окружающих ее людей), интерьере комнат, функциональным значением наделяются даже пейзажные зарисовки. Иными словами, Слепцов задействует ряд опознаваемых приемов, позволяющих добиться мелодраматического эффекта (как и Н.Д. Хвоцинская, Н. Данковский, Ив. Весеньев и пр.).

Таким образом, нарратив «Трудного времени» существует между двумя основными полюсами, при этом переключение нарративов объясняется авторской стратегией. На фоне выпукло событийных сценок, в основе которых социальная или семейная несправедливость, где действует коллективно-обезличенный образ народа, разворачивается мелодраматический сюжет, отражающий коллизии семейного романа и затрагивающий персонифицированных действующих лиц (ср.: «Кто виноват?» А.И. Герцена, «Поленька Сакс» А.В. Дружинина, «Подводный камень» М.В. Авдеева и т.д.). Синтез этих уровней, мастерски осуществленный И.С. Тургеневым в романе «Отцы и дети», доведен здесь до логического предела: вместо ровной повествова-

¹ Такой тип времени полностью соответствует провинциальному хронотопу: «Время лишено здесь поступательного исторического хода, оно движется по узким кругам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни. День никогда не день, год не год, жизнь не жизнь. Изю дня в день повторяются те же бытовые действия, те же темы разговоров, те же слова и т.д. Люди в этом времени едят, пьют, спят, имеют жен, любовниц (безроманных), мелко интригуют, сидят в своих лавочках или конторах, играют в карты, сплетничают. Это обыденно-жизненное циклическое бытовое время» [12. С. 325–326]. Рассуждения об интегральном характере этого хронотопа в «провинциальном романе» русской литературы см.: [13].

тельной интонации читатель встречает разорванное, лоскутное повествование, что находит отражение и в графическом оформлении текста. Следствием этого становится нарушение традиционной для русской литературы событийности. По справедливому замечанию В.Н. Сажина, продолжающего наблюдения Б.Ф. Егорова [14], «как в пьесах Чехова, в “Трудном времени” почти ничего не происходит, и если бы Станиславский ставил инсценировку повести, драматургическая форма эту родственность еще отчетливее бы выявила» [15. С. 189].

В жизни слепцовских героев происходят и одновременно не происходят события; кажется возможным утверждать, что сюжет произведения Слепцова построен на нейтрализации события, устранении событийности через сознание трех основных действующих лиц. Используя принцип любовного треугольника, Слепцов, по справедливому замечанию У. Брумфилда, не строит *ménage à trois*. Вместо этого создается иная геометрия сюжета, когда любой угол треугольника – точка зрения героя – так противопоставлен противоположному, что традиционная событийная ткань «рвется», не выдерживая данного напряжения.

В основе фабулы «Трудного времени» схемы романов «Подводный камень», «Отцы и дети» и «Что делать?». Однако если в романе Авдеева образующим становится уход Натальи от Соковлина к Комлеву (мелодраматический вариант), если в основе поэтики тургеневского романа сюжетообразующим является внутреннее переживание (психологический вариант), если в рахметовской эпопее самое явление разночинца из дворянской среды становится событийно значимым (эпический вариант), здесь подобные изменения действительности предстают немаркированными происшествиями с нулевым потенциалом событийности.

Как известно, в основе конфликтного сюжета романа – появление разночинца Рязанова, являющегося другом помещика Щетинина. Если рассматривать Рязанова в контексте семантической деривации *нового человека*, приходится констатировать, что Рязанов, в сравнении с Базаровым или Рахметовым, является резонерствующим героем, он многословен и не всегда последователен в своих словах. Следуя тургеневской традиции, Слепцов использует принцип сюжетной имплицации и информационной недостаточности¹, однако при этом «внутренний человек» Рязанова практически всегда совпадает с «внешним», сознание героя, его внутренняя речь – это черный ящик, недоступный для восприятия читателя. Кроме того, неожиданно для всех явившийся в далекий уезд и путешествующий в город вместе с Щетининым Рязанов предстает героем хлестаковского типа, чья самоуверенность зачастую становится много выше его реальных интеллектуальных и физических возможностей².

¹ По замечанию Н.А. Ермаковой, речевые стратегии Базарова также не позволяют «...квалифицировать базаровское слово как авторитетное свидетельство убеждений героя» [16. С. 404]. Однако в отличие от Базарова, который «не “говорит”, но *проговаривается*» [Там же], Рязанов оторван от осознания экзистенциального и метафизического несовершенства своего бытия.

² Мы понимаем данный характер в контексте семиотики поведения Ю.М. Лотмана [17]. Кстати говоря, сюжетная пара *Рязанов/Щетинин* в ряде случаев приближается к комическому дуэту *Подколесин/Кочкарев*.

По нашим наблюдениям, если учитывать полнозначимые выражения и фразы, реплики Рязанова дискурсивно и нарративно отличаются от высказываний Базарова. Герой Слепцова часто повторяет слова собеседника, доводит разговор до абсурда без видимой риторической цели, не использует угроз и других открыто агрессивных манипуляций. Характерной чертой речи героя является частица *-то*, основная функция которой – повторение ранее сказанного. Анализируя дискурс героя-разночинца, следует отметить, что выпуклая провокативность его высказываний не содержит конструктивной программы действий. Слова Рязанова зачастую производят впечатление спонтанных, сиюминутных реакций на внешние стимулы.

– Я завтра хочу начать. Мне бы, знаете, хотелось поскорей.

– То-то. Не опоздать бы.

– Я уж все приготовила и с батюшкой переговорила.

– Да? Уж переговорили?

– Переговорила.

– Ага. Так за чем же дело стало? [11. С. 275].

– И после этого вы сами можете писать?

– А почему ж мне не писать?

– После того, что вы говорите?

– После этого-то и можно; а если бы ничего этого не было, тогда и писать было бы незачем [11. С. 280].

Как и Базаров в споре с Павлом Петровичем, Рязанов вуалирует свои чувства и намерения. Однако, если «внутренний человек» Базарова вольно или невольно *прорывается* в спорах и тем более в разговорах с Одинцовой, то внутреннее и внешнее Рязанова объединяется под общим знаменателем посредственности. Учитывая кумулятивный принцип наращивания диалогов в «Трудном времени», действующий вне зависимости от смыслового развития, можно сказать, что слова Рязанова становятся неразрывной частью всеобщего пустословия – категории, ассоциируемой с художественным миром Голя.

В связи с этим кажется возможным скорректировать тезис Чуковского о тайнописи романа. Не исключая возможности использования автором аллегорического эзопова языка, в ряде случаев слова Рязанова следует воспринимать вне имплицитных смыслов, т.е. исходя из эксплицируемой семантики высказываний. Так, в интимном разговоре с Щетининой герой рассказывает о своей жизни и своем самочувствии: «...живу я теперь на летнем положении, в деревне, время провожу приятно; простудился было немного, но теперь напился малины и начал потеть; ну, вот еще думаю, что сидит передо мною женщина, хорошая женщина, и пересыпаем мы с нею из пустого в порожнее» [11. С. 333]. В этом же диалоге Рязанов замечает: «Напротив; я и для них, и для вас, и для всех говорю именно то, что думаю» [11. С. 333]. Более того, уподобляясь Хлестакову, Рязанов не всегда контролирует то, что говорит. Зачастую его слова определяются внешними изменениями среды, поэтому «конспиративность» его высказываний – свойство непоследовательности

мышления, отсутствия отточенной, как у Степана Рулева (и далее – у Раскольникова), диалектики или замкнутой и не знающей противоречий логики Рахметова.

Возражая Щетининой, Рязанов доказывает, что его бытие определяет язык и сознание:

– Да ведь тон... Как вам сказать? Это такая вещь, которая зависит не от одного желания.

– От чего же?

– Да больше, я полагаю, от окружающей нас жизни.

– Вы хотите сказать, что в этой жизни диссонансы?

– Нет, я хочу сказать, что тон задается жизнью, а мы только подпеваем.

Пожалуй, можно и повыше его поднять, да что толку? Жизнь сейчас и осадит [11. С. 332].

В плане прямых, не завуалированных фраз Рязанова заслуживает неоднократно привлекавший внимание исследователей эпизод у рояля, представленный в XII главе. Вслед за У. Брумфилдом назовем этот эпизод ироническим: сам факт исполнения марша свободной Франции в глухой деревне безымянного уезда (ср. с аналогичными петербургскими эпизодами в «Что делать?») находит отчетливую параллель с аналогичной ситуацией в романах Чернышевского и Тургенева¹.

Рязанов опять начал ходить. Марья Николавна, размышляя и улыбаясь в то же время, говорила про себя: «Это мне очень, очень понравилось, – потом приложила палец к губам, еще подумала немного и сказала так же тихо: – Очень... вообще все хорошо», – потом вдруг ударила по клавишам и громко, с лихорадочною силою заиграла марсельезу. Эти звуки в одно мгновение преобразили ее: глаза засверкали, она вся вытянулась, подняла голову и, грозно нахмутив брови, смело бросила свои красивые загорелые руки. Сделав последний внезапный переход, она прижала педаль и с новою силою ударила по клавишам. Все лицо ее сияло небывалою отвагою... Она кинула на Рязанова самоуверенный, вызывающий взгляд и остановилась.

Рязанов тоже остановился [11. С. 309–310].

Если в литературной традиции закрепляется мотив музыки-преображения и очищения, «высшего языка», соединяющего души (например, в романе «Обломов»), то в настоящем контексте единственной реакцией Рязанова становится остановка (чувств, мыслей, шагов), что маркирует фальшивость исходной ситуации.

– Привычка-то что значит, – сказал он, подходя к роялю. – Вот вы заиграли марш, мне сейчас же и представилось, что вот тут, рядом со мной, ходит фельдфебель и твердит: левой, правой, левой, правой...

¹ В романе Тургенева этот элегический по смыслу эпизод оценивается иронически только Базаровым: «Помилуй! в сорок четыре года человек, *pater familias*, в ...м уезде – играет на виолончели!» [18. С. 145].

– Что вам за охота вспоминать об этих фельдфебелях, – с неудовольствием ответила Марья Николаевна.

– Нет, изредка ничего. Это освежает мысли.

Марья Николаевна посмотрела на него и спросила:

– Да вы знаете ли, какой это марш?

<...>

– Разумеется. Но какой бы он там ни был, а все-таки марш; следовательно, рано или поздно будет “стой – равняйся” и “смирррно” будет; и этого никогда не нужно забывать.

– Я и не забываю [11. С. 310].

В этом высказывании проявляется скептицизм и пессимизм слепцовского героя. Выражая близкие к философскому анархизму взгляды, Рязанов фактически отрицает какую-либо радикальную программу действий. Представая противником любой авторитарной или тоталитарной власти, Рязанов предполагает неизбежным перерождение социальных идеалов, превращение поэзии в прозу, демократии – в авторитаризм.

– Однако вот эта жизнь уж перестала вам нравиться. А почему? Вы поняли ее нелепость и уж не можете жить этой жизнью. Стало быть, чем больше вы будете узнавать жизнь вообще, тем больше и больше будете лишаться возможности жить, как люди живут.

– Но что же тогда? – почти с ужасом спросила Марья Николаевна, – что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?

– Остается... – Рязанов посмотрел кругом. – Остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...

Он махнул рукой [11. С. 338].

Рассуждая о жизненном неустройстве, Рязанов не даёт итогового ответа на поставленный вопрос. Фактически, беседуя с Щетининой в последний раз, он декларативно отказывается от конструктивной программы преобразований¹. Кажется знаменательным, что в романе неоднократно упоминается особая деятельность Рязанова – он литератор, известный в столичных кругах. Однако мотивы письма и писания не находят развития в сюжете произведения: таким образом, предлагая выдумать и создать новую жизнь, идеолог утопического и заведомо невозможного проекта, неспособен воплотить свой замысел².

Следует заметить, что два вышеприведенных эпизода становятся своеобразным способом проверки тезисов утопии Н.Г. Чернышевского. При этом способ проверки литературы литературой (что в принципе соответствует положениям диссертации Чернышевского) дает довольно значимый результат:

¹ Подобный отказ можно назвать программируемым вариантом действий биографического сценария Слепцова, завершившего свой жизненный путь произведением «Остров Утопия».

² Таким образом, потенциал сюжета о герое-художнике / писателе / музыканте (как, например, в романах И.С. Тургенева «Рудин» или «Обрыв» И.А. Гончарова) не находит своего развития. Происходящее с Рязановым не референтно его статьям, они, как и многое из жизни героя, остаются за скобками сюжета романа.

мысленно перенеся действие романа «Что делать?» в деревню (или вернувшись к исходной ситуации «Подводного камня»), лишив героев возможности организовать иной социальный порядок в семейном и гражданском быту и поставив героиню в сложную ситуацию супружеской измены (без волшебных помощников вроде Рахметова), Слепцов (намеренно или подсознательно) показывает несостоятельность теоретической программы Чернышевского.

То, что «Трудное время» – роман разочарования, утверждалось и в марксистском литературоведении. Однако при этом совершенно не учитывалось, что разочарование становится не только социальной позицией, определяемой политикой, но и распространяется на все сферы жизни. Н.К. Михайловский достаточно точно отметил «безволие» героев, противопоставив им деятельную женщину Марию Щетинину¹. Как справедливо замечает У. Брумфилд: «Отношения этой троицы напоминают отношения участников пресловутого *ménage à trois*, в котором в один клубок сплетаются элементы и сексуальные, и идеологические. Рязанов отказывается ей и в ее сексуальных притязаниях, как и в предложении помочь ему в его лишь смутно обрисованной “радикальной” деятельности. Несмотря на это, Щетинина не меняет своего решения и уезжает в Петербург, где она намерена попытаться вступить в ряды “новых людей” – вопреки скептическому отношению к этой модной форме радикализма Рязанова» [8. С. 293]. Сексуальный эротический подтекст отражается уже в первом споре Щетинина с женой: «Да если бы я желала быть такой, какую ты меня сделал, – так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня, может быть, уж трое детей было бы. Тогда я по крайней мере знала бы, что я самка, что я мать; знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь...» [5. С. 298]. Психологическая травма, связанная с невозможностью состояться в качестве самки, т.е. родить детей, определяет вектор социальной деятельности героини. С этим, кстати говоря, связано и слово «гуманничать», которое в тексте романа приобретает отчетливые сексуальные коннотации². Сущностная специфика треугольника заключается в невозможности двух мужчин – Рязанова и Щетина – удовлетворить, выражаясь языком «реальной критики», потребности Марии Щетининой. Эта духовная и физическая импотенция окружающих героиню мужчин³ показывает неожиданное сходство двух социальных антагонистов (работающего Щетинина и бездействующего Рязанова), в равной мере относящихся к галерее лишних, или, говоря о частной деривации этого типа, слабых людей [20].

¹ «Трудное время» роднит с романом Чернышевского и поиск решений «женского вопроса», где проблемы образования и воспитания ставились наравне с вопросами семейной организации и женской эмансипации.

² См.: «...а поглядели бы вы прежде, как только женился, – вот гуманничали-то! По три дня без обеда сидели от этого от гуманства» [11. С. 293].

³ Как заметил Н.С. Лесков, рассуждая о литературных типах в социальной действительности начала 1860-х гг., «рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими» [19. С. 598]. Это замечание довольно точно описывает тип героя в романе В.А. Слепцова.

«Новый человек», оставляющий женщину, практически бегущий от нее¹, как бы воплощает в жизнь онегинскую программу, обнаруживая кровное родство с ветхим и архетипически связанным с русской культурой «лишним человеком». Существовая между Печориным и Грушницким, Бельтовым и Круциферским, Кирсановым и Лопуховым, Щетинин и Рязанов предстают частью ветхого, но единственно существующего посредственного мира. С этим колебанием между, с одной стороны, возможным, но однозначно плохим и, с другой – хорошим, но не воплотимым, на наш взгляд, и связана специфика нарративной организации романа.

Суммируя вышесказанное, имеет смысл обратиться к основной аллюзии романа – стихотворению Н.А. Некрасова «Рыцарь на час». Ранее исследованный А.Н. Венгеровым и В. Сажиним, стихотворный текст тем не менее сохраняет значительный потенциал для интерпретации слепцовского романа².

И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
“Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе” [21. С. 154].

Элегическая интонация, сменяющая утопические картины первой части произведения, создает определенный резонанс при прочтении романа Слепцова. «Насмешливый внутренний голос», являющийся характеристикой целокупного бытия и самосознания отдельного человека, приводит в романе к катастрофе, незаметной на фоне бессмысленной повседневности. «Ничтожное племя» как тип конкретной эпохи, или человечество в целом, неспособно осуществить нечто полнозначимое, сделать возможным событие, наполнить жизнь событийностью.

Захватило нас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано... [21. С. 154].

Начиная разговор с обсуждения смерти и небытия, Щетинина, уже не слыша собеседника, движется от танатоса к эросу; при этом ее желание покинуть мужа и *послужить общему делу* продиктовано «благими порывами» и эфемерной мечтой о деле. Не случайно последний диалог между простудившимся, заболевшим (*я проснулся ребенка слабей; но для дела мертвы вы дав-*

¹ Вместо фиктивного брака или супружеской измены Слепцов использует другой сюжетный механизм – вместе с Рязановым уезжает «иницируемый» им дьячковский сын. Заметим, что используемая в финале деталь – зачий тулупчик, надетый на спутника Рязанова, – наделяется отчетливым семиотическим смыслом, представляя, вне зависимости от интенций автора, связь с «Капитанской дочкой» А.С. Пушкина. Отъезд Марии Щетининой, «Маши» в Петербург продолжает эту сюжетную линию.

² Следует отметить, что перевод некрасовской поэзии в прозу был характерен для многих писателей-разночинцев. Однако если большинство, вслед за Ф.М. Решетниковым, сосредоточили свое внимание на сюжетах о страдающем народе, В.А. Слепцов, как и А.И. Левитов, обратились к сознанию страдающего демократа (в духе некрасовских «Тяжело и прискорбно мне видеть...» или «О по-годе»).

но) Рязановым, «рыцарем на час», и мятущейся Щетининой (*что в нем сердце неробкое билось; что умел он любить*) завершается осознанием взаимного непонимания. Это непонимание перерастает обыкновенную коммуникативную неудачу, представляя рассогласование двух аксиологий.

Такая конструкция определяет «гиперкомпенсацию» смысловых частей романа. Время романа, освобожденное от событий в их обязательной фабульной последовательности, предстает в мельчайших зачастую неотрефлексированных происшествиях, однако всё, что происходит в народной среде: насилие, преступления, недуги и болезни, близкая к животной любовь и ненависть¹, – являясь частью видимого мира, не может быть понято, принято, а следовательно, осмыслено как событие ни одним из героев. «Трудное время» в этом ключе не только предвосхищает идеологию народничества, но и исчерпывающим образом свидетельствует о невозможности ее воплощения, т.е. обретения общего языка между двумя социальными мирами.

В заключение предпримем попытку определить положение романа Слепцова в истории беллетристики. Очевидно, что произведение может быть рассмотрено как деривация полемического романа, романа о новых людях, типологически связанного с прозой Чернышевского, и как вторичный текст, связанный с репрезентацией героя базаровского типа, содержащий «завязь» неждановского типа. Однако представленный выше анализ нарративных и миротворческих стратегий Слепцова открывает иную возможность интерпретации произведения. В этом ракурсе «Трудное время» становится романом разочарования, выходя за пределы социального и затрагивая онтологическое.

Перефразируя А.А. Казакова, можно назвать «Трудное время» текстом-двойником нигилистического романа [22. С. 243], который самим фактом декларируемой вторичности открывает возможности альтернативного взгляда не только на текст, но и тип нового человека, фактически вуалирующий архетипический образ лишнего и слабого человека. Соотнося произведение с антинигилистической прозой 1860–х годов, следует отметить, что реалистический взгляд Слепцова на природу человека мог произвести значительный отстраняющий эффект. Если в «Некуда» Н.С. Лескова или «Взбаламученном море» А.Ф. Писемского среди разночинцев и нигилистов выделялись незаурядные фигуры, в романе Слепцова, среда, сюжетные ситуации и сами способы рассказывания перечеркивают возможность выражения «недюжинных характеров», погружая происходящее в мир посредственности. Последовательно рассматривая идеи и идеалы, сталкивая героев с анарративной и бесфабульной действительностью, осмысляя происходящее в оптике произведений Гоголя и Некрасова, Слепцов повергает и утопические проекты Чернышевского, и романтическое мировидение тургеневского Базарова.

Определяя место произведения в историко-литературном процессе, можно сравнить «Трудное время» с комментарием, освещающим вопросы быта,

¹ Определенную перспективу в изучении поэтики слепцовских произведений представляет изучение их взаимосвязи с французской литературой. Не говоря об очевидных совпадениях с адюльтерными фабулами романов Жорж Санд и Гюстава Флобера, нерешенным остается вопрос о включенности в эстетическое сознание писателя «Les Fleurs du mal» Ш. Бодлера. Декларируемая Слепцовым антиэстетика создает впечатление намеренно конструируемого эстетического кода, а описание мертвой лошади в XII главе кажется связанным с «Carrion».

литературы и самосознания поколения разночинцев 1860-х гг. В семиотическом плане это произведение может быть названо «реквиемом» по новому человеку, который, как бы парадоксально это ни было, прозвучал из демократического лагеря. Этим определяется «Трудное время», сочетающее «трудные характеры» и «трудные дни», от этого зависит и нарративная организация произведения, представляющая трудный для интерпретации пессимистический текст. Такой вариант прочтения, доказательность которого определяется вышеприведенными наблюдениями, показывает, что «тайнопись» как свойство нарратива объясняется не «боевым характером» прозы Слепцова, не «эзоповым языком» текста, а особым, «внепартийным» взглядом писателя на природу человека и его сознательным отказом от умозрительной позитивистской антропологии.

Сказанное выше показывает нерешенность многих вопросов, связанных с аксиологией романа, обнаруживая потребность в его новом, герменевтическом, комментарии.

Литература

1. Чуковский К.И. Тайнопись «Трудного времени» // Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934.
2. История русской литературы XIX века: в 2 т. Т. 2. М.: Гос. учеб.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1963.
3. Сергин И.Н. Слепцов // История русской литературы: в 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). М.; Л., 1941—1956. Т. 8: Литература шестидесятых годов. Ч. 1. 1956.
4. Пруцков Н.И. Роман о «новых людях» // История русского романа: в 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2.
5. Слепцов, Василий Алексеевич // Русские писатели: биобиблиогр. сл. / под ред. Б.Ф. Егорова, Ю.В. Манна, П.А. Николаева и др.: в 2 т. Т. 2. А—Л. М., 1990.
6. Печерская Т.И. Свидетельство современников как источник литературной репутации // Памяти А.И. Журавлевой. М., 2012.
7. Брумфилд У. Социальный проект в русской литературе XIX века. М.: Три квадрата, 2009.
8. Брумфилд У. Базаров и Рязанов: романтический архетип в русской литературе // Знание. Понимание. Умение. 2015. № 3.
9. Brumfield W. Sleptsov Redivivus // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2.
10. Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860—1870-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2003.
11. Слепцов В.А. Трудное время // Русские повести XIX века: в 2 т. Т. 1. М., 1956.
12. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975.
13. Козлов А.Е. Формы и образы времени в произведениях Н.Д. Хвощинской и В.А. Слепцова // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2016. № 3.
14. Егоров Б.Ф. Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1963.
15. Сажин В.Н. Книги горькой правды. М.: Книга, 1989.
16. Ермакова Н. А. Метафизика базаровской злобы // «Точка распространяется на всё»: К 90-летию профессора Ю.Н. Чумакова. Новосибирск, 2012.
17. Лотман Ю.М. О Хлестакове // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 2012.
18. Тургенеv И.С. Отцы и дети // Собр. соч.: в 30 т. М., 1965. Т. 7.
19. Лесков Н.С. Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» // Собр. соч.: в 11 т. Т. 10. М., 1958.
20. Пономарева А.А. Онегинский код в беллетристике 1850-х годов: к постановке вопроса // Сиб. филол. журн. Новосибирск, 2015. № 3.
21. Некрасов Н.А. Избранные сочинения. М.: Худож. Лит., 1987.
22. Казаков А.А. Ценностная архитектура произведений Достоевского. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012.

NARRATIVE ORGANIZATION OF V. SLEPTSOV'S *HARD TIMES*: SOME PROBLEMS OF CRYPTOGRAPHY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 124–138. DOI: 10.17223/19986645/42/10

Alexey E. Kozlov, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: alexey-kozlov@rambler.ru

Keywords: Russian literature of the 19th century, fiction, literary reputation, V.A. Sleptsov, alternativity and secondariness, narrative, novel.

The paper deals with the narrative organization and narrative features of Vasily Alekseevich Sleptsov's novel *Hard Times*. This matter is investigated on the material of research papers, articles and monographs of Korney Chukovsky, Valeriy Sazhin, William Brumfield and others. Sleptsov's novel is investigated as a social project that depended on the ideology and aesthetic processes of the second part of the 19th century.

In the first part of the paper the reputation of Vasily Sleptsov is studied as a phenomenon of the history of Russian literature. So, facts, opinions and suggestions are a complex myth which depended on the literature texts and contexts. Continuing the thoughts of William Brumfield, the author of the paper presumes a different interpretation of the writer and his worldview.

In the second part of the article an attempt is made to describe the cryptography of the plot (by Korney Chukovsky). The narrative structure is determined by several narrative techniques. So, one narrative tactic presents a folksy world with "hard eventfulness". Genesis of this type is physiological sketches (by Alexander Levitov, Nikolay Uspensky, sketches of Vasily Sleptsov himself). The other tactic presents the social provincial world (by Ivan Turgenev, and his epigones Nadezhda Khvoshchinskaya, Nikolay Vesenev and others). Narrative diversity is explained by the competition of these two strategies.

As is known, the basis of the plot conflict of the novel is the emergence of the commoner Ryazanov, who is a friend of the landowner Shchetinin. It must be noted that Ryazanov, compared with Bazarov or Rakhmetov, is a moralizing hero; he is verbose and not always consistent in his words. Following the tradition of Turgenev, Sleptsov uses the principle of the story and the implications of information failure, but the "inner man" of Ryazanov almost always coincides with the "outside", the consciousness of the hero, his inner speech is a thing in itself, a blackbox not available for the perception of the reader.

If to consider Ryazanov in the context of semantic derivation of a new man, he represents the traditional type of a superfluous man.

Consistently considering ideas and ideals, colliding heroes with the uncreative reality of the novel, Sleptsov tests Chernyshevsky's utopian projects and the romantic world vision of Turgenev's Bazarov. So, the motif of impotence and powerlessness is general in the narrative structure of the novel, which is connected with Nikolay Nekrasov's lyrical plot of "Knight for an Hour".

In the conclusion it is shown that the novel could be considered outside the context of the polemical novel of the '60s as a kind of "Requiem" on the "new man" that came from the democratic camp. *Hard Times* in this way not only foreshadows the socialistic and communistic ideology, but also shows the exhaustive evidence of the impossibility of its realization, i.e. finding a common language between the two social worlds.

Results and observations which the paper presents can be used in teaching the history of Russian literature of the 19th century.

References

1. Chukovskiy, K.I. (1934) Taynopis' "Trudnogo vremeni" [Cryptography of *Hard Times*]. In: Chukovskiy, K.I. *Lyudi i knigi shestidesyatykh godov* [People and books of the sixties]. Leningrad: Izd-vo pisateley.
2. Sokolov, A.N. (ed.) (1963) *Istoriya russkoy literatury XIX veka: V 2 t.* [History of Russian literature of the 19th century. In 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo ministerstva prosveshcheniya RSFSR.
3. Seregin, I.N. (1956) Sleptsov. In: *Istoriya russkoy literatury: V 10 t.* [History of Russian literature: in 10 vols]. Vol. 8. Pt. 1. Moscow; Leningrad: USSR AS.

4. Prutskov, N.I. (1964) Roman o “novykh lyudyakh” [A novel about a “new people”]. In: *Istoriya russkogo romana: V 2 t.* [History of the Russian novel: In 2 vols]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: Nauka.
5. Egorov, B.F. et al. (eds) (1990) Sleptsov, Vasilii Alekseevich. In: *Russkie pisateli. Biobibliograficheskiy slovar'* [Russian writers. A Bibliographic Dictionary]. Vol. 2. Moscow: Prosveshchenie.
6. Pecherskaya, T.I. (2012) Svidetel'stvo sovremennikov kak istochnik literaturnoy reputatsii [Contemporaries' evidence as a source of literary reputation]. In: Zyкова, G.V. & Penskaya, E.N. (eds) *Pamyati A.I. Zhuravlevoy* [In memory of A.I. Zhuravleva]. Moscow: Tri kvadrata.
7. Broomfield, W. (2009) *Sotsial'nyy proekt v russkoy literature XIX veka* [A social project in the Russian literature of the 19th century]. Moscow: Tri kvadrata.
8. Broomfield, W. (2015) Bazarov i Ryazanov: romanticheskiy arkhetyp v russkoy literature [Bazarov and Ryazanov: a romantic archetype in Russian literature]. *Znanie. Ponimanie. Umenie.* 3.
9. Broomfield, W. (2014) Sleptsov Redivivus. *Znanie. Ponimanie. Umenie.* 2. (In Russian).
10. Starygina, N.N. (2003) *Russkiy roman v situatsii filosofsko-religioznoy polemiki 1860–1870-kh godov* [Russian novel in the situation of philosophical and religious debate of the 1860s–1870s]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury.
11. Sleptsov, V.A. (1956) Trudnoe vremya [Hard Times]. In: *Russkie povesti XIX veka: V 2 t.* [Russian story of the 19th century: In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.
12. Bakhtin, M.M. (1975) *Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let* [Questions of literature and aesthetics. Studies over the years]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
13. Kozlov, A.E. (2016) Forms and types of the “provincial chronotope” in the Russian novels of the 19th century (V. Sleptsov and N. Khvoshchinskaya). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology.* 3. pp. 106–114. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/41/10
14. Egorov, B.F. (1963) *Roman 1860-kh – nachala 1870-kh godov o “novykh lyudyakh”* [Novel of the 1860s – early 1870s about the “new people”]. Tartu: Tartu State University.
15. Sazhin, V.N. (1989) *Knigi gor'koy pravdy* [Books of bitter truth]. Moscow: Kniga.
16. Ermakova, N.A. (2012) Metafizika bazarovskoy zloby [Metaphysics of Bazarov's malice]. In: *Tochka rasprostranyaetsya na vse”: K 90-letiyu professora Yu.N. Chumakova* [“The point applies to all”: on the 90th anniversary of Professor Yu Chumakov]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
17. Lotman, Yu.M. (2012) O Khlestakove [On Khlestakov]. In: Lotman, Yu.M. *O russkoy literature* [On Russian literature]. St. Petersburg: Iskusstvo.
18. Turgenev, I.S. (1965) Ottsy i deti [Fathers and Sons]. In: Turgenev, I.S. *Sobr. soch.: V 30 t.* [Works: in 30 vols]. Vol. 7. Moscow: Nauka.
19. Leskov, N.S. (1958) Nikolay Gavrilovich Chernyshevskiy v ego romane “Chto delat'?” [Nikolai Chernyshevsky in his novel What Is to Be Done?]. In: Leskov, N.S. *Sobr. soch.: V 11 t.* [Works: in 11 vols]. Vol. X. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
20. Ponomareva, A.A. (2015) Onegin code in the fiction of the 1850s: statement of the problem. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology.* 3. pp. 99–105. (In Russian).
21. Nekrasov, N.A. (1987) *Izbrannye sochineniya* [Selected works]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
22. Kazakov, A.A. (2012) *Tsennostnaya arkhitektonika proizvedeniy Dostoevskogo* [Axiological architectonics of works of Dostoevsky]. Tomsk: Tomsk State University.

УДК 82'06

DOI: 10.17223/19986645/42/11

Н.Е. Никонова, П.А. Ковалев, Ю.С. Серягина

**«И КЛИЧ ОБ НЕМ И СЛАВА МРАЧНОГО ФИЛОСОФА ЛЕТЕЛА
ОТОВСЮДУ»: Ф. НИЦШЕ В ЗЕРКАЛЕ СИБИРСКОЙ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОДИКИ¹**

В статье представлена первая попытка исследования региональной рецепции наследия Ф. Ницше на материале библиографических, критических публикаций, переводов и художественных сочинений, представленных на страницах газет университетского Томска 1890–1900-х гг. Выявляются стратегии восприятия и их динамика в сопоставлении со спецификой русского ницшеанства и антиницшеанства конца XIX – начала XX вв. в целом, делается вывод об оригинальном характере сибирской рецепции.

Ключевые слова: Ф. Ницше, рецепция, литературная периодика, словесная культура в Сибири.

Наследие Ф. Ницше (1844–1900) до сих пор привлекает к себе живой интерес гуманитарной науки и остается во многом неизведанным, выступая благодатным полем для интерпретаций и разысканий философов, лингвистов, литературоведов. Латентная функциональность его произведений достигает искомой цели, порождая отличные, сменяющие друг друга варианты понимания, толкования, представления учений мыслителя в разных национальных, историко-культурных, индивидуальных измерениях. По наблюдениям Н.К. Бонецкой, «русский Ницше» – это «коллективное создание мыслителей Серебряного века», «плод “русской герменевтики”», «не портрет, а скорее икона, и представленный ею лик не индивидуален, а тяготеет к универсальной человечности» [1]. На рубеже XX–XXI вв. имя Ницше снова вызывает оживленный интерес в отечественной мысли и гуманитарной науке, и современное прочтение вновь отражает характер эпохи, не стремясь открыть неизвестные грани его философии: «Для нас Ницше, скорее, непреходящая интеллектуальная провокация, втягивающая нас в опасную и непредсказуемую игру мышления, которая в случае удачи позволит добиться новой “оптики”, способной открыть новые тематические горизонты» [2]. Таким образом, имя и наследие германского мыслителя уже почти полтора века выступает продуктивным имагологическим конструктом, зачастую больше говорящим о состоянии воспринимающей культуры.

Идеи Ницше стали предметом оживленных дискуссий в России еще в 1890-х гг., когда появились первые переводы и критические статьи как ницшеанского, так и антиницшеанского толка. Ю.В. Синеокая отмечает, что «первоначальное (примерно с 1892 по 1899–1900 гг.) отношение российских интеллектуалов к творчеству Ницше можно охарактеризовать как резкое отрицание позитивной роли его учения, в котором традиционно усматривали

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МД-4756.2016.6.

симптом и отражение кризисных тенденций, присущих европейской культуре», в результате этого в публикациях столичных авторов России «был создан устойчивый образ Ницше – декадента, имморалиста, ниспровергателя идеалов, сторонника рабства и крепостного права, безбожника и проповедника зла» [3]. И первым ницшеанцем по праву считается В.П. Преображенский, выпустивший в 1892 г. очерк, содержащий критику ницшеанской «морали альтруизма» [4]. Резкий взлет популярности Ницше в России начинается после его смерти и связывается с выходом первого собрания сочинений в 9 томах в 1900 г. [5], принятием его философии, способствовавшей «российскому духовному возрождению», развитию русского новоидеализма [6].

В настоящей статье мы впервые попытаемся определить специфику восприятия Ницше в кругах сибирской мыслящей интеллигенции 1890–1900-х гг., отразившуюся на страницах провинциальной периодики.

В 1894–1907 гг. в сибирской печати («Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирские отголоски») развернулась оживленная дискуссия о Ницше и его идеях, участниками которой стали видные общественные деятели Томска: Петр Иванович Макушин, основатель правовых основ областничества Сибири Рафаил Львович Вейсман; правнук Н. Лобачевского, поэт и переводчик Василий Эдуардович Дембовецкий; авторитетный литературный критик Петр Львович Черневич и др.

Первый этап рецепции Ницше связан с именем П.Л. Черневича, широкий кругозор и талант которого отмечали современники [7. С. 72]. Впервые имя философа появляется в 1895 г. в рубрике «Очерки заграничной жизни». П.Л. Черневич сообщает читателю о выходе скандально известной книги Ницше «Антихрист» и некоторых обстоятельствах ее издания:

Другой, не менее интересной литературной новостью является посмертное, если можно так выразиться при живом еще авторе, только что вышедшая в печать книга Ницше «Антихрист». Это последний том сочинений, надевавшего столь много шума философа, сошедшего с ума еще в 1888 г. До последнего времени мать и сестра отказывались печатать последнюю рукопись несчастного больного, но в конце концов, к сожалению, согласились [8. С. 2].

Из этого краткого отзыва явствует негативный характер восприятия фигуры философа и его наследия, представляющего в образе помешанного.

В том же году Черневич продолжает свою ницшеану в анализе романа Д.С. Мережковского «Отверженный» (1895). Рецензент отзывается о произведении одобрительно, прочитывая его ницшеанские мотивы адекватно современности:

Этот роман интересен еще кроме того и в том отношении, что в нем разрешаются некоторые вопросы, которыми не так давно Ницше взбудоражил мир и которые до сих пор еще волнуют многие легко увлекающиеся головы. Перед вами «сверхчеловек», дерзающий на все, восставший против богов и думающий преобразовать мир, сделать его снова столь же прекрасным, каким он был некогда, во время древних героев и великих мудрецов. Но мир уже позабыл старые идеалы. Они перестали быть понятными для него и к

ним не вернут уже его никакие сверхчеловеческие усилия. Сверхчеловек поэтому должен погибнуть [9. С. 2].

Сверхчеловек Ницше, а за ним и Мережковского предстает в статье сибирского критика последним романтиком, Черневич вчитывает собственные смыслы в интерпретацию Мережковского, подчеркивая конструктивность этого образа и предвзято, по сути, то толкование, которое философы Ницше найдут в русском неоидализме начала XX в. Тенденция к романтизации, аксиологическому консерватизму, вере в незыблемость вечных моральных ценностей прошлого, в частности, прошлых периодов словесной культуры, характерна для провинциальной рецепции западной мысли в целом, что оказывается созвучным интенциям Мережковского (см., например, [10]). И мышления томского обозревателя наглядно это демонстрируют:

Некоторые наши критики удивляются, что Мережковский сделал под влиянием проповеди Ницше своего героя – сверхчеловеком по той причине, что сверхчеловек порождение якобы нашего декадентского *Fin de siècle*. Как будто в то время борьбы двух миров и страшного крушения отживших мировоззрений подобные идеалы были немислимы! [9. С. 2].

Сверхчеловек император Юлиан характеризуется Черневичем с помощью типичных формул эпохи романтизма: *последний рыцарь язычества и всего того, что только было в нем прекрасного, последний эллин, умирающий на развалинах Эллады; человек с удивительной силой воли, но скрытный и склонный к мечтательности, отважный до безумия и вместе с тем трусливо-осторожный, философ и суевер, жесток и нежен, как девушка*. Эта особенность субэтнического культурного сознания видится и в том, что томский критик не принимает социологического прочтения Сверхчеловека, представленного в историческом романе либерала П.Д. Боборыкина «Перевал» (1894), сопоставляя его с «Отверженным» Мережковского:

Этот роман еще более выигрывает среди разных других произведений наших беллетристов, которые, как будто прилагают все усилия к тому, чтобы отбить у читателя всякую охоту к чтению. Умалчиваем в этот раз об огромном романе Боборыкина, растянувшемся в целых шести книжках «Вестн<ика> Евр<опы>» [9. С. 2].

Восхищаясь интерпретацией Мережковского, Черневич, с одной стороны, выявляет резонансные черты в духе религиозного идеализма, с другой – сознательно не приемлет пессимистические, эпатажные, нигилистские идеи Ницше в дальнейших своих заметках на страницах сибирской периодики, которые свидетельствуют об оригинальной рецептивной стратегии и исключают вероятное провинциальное неофитство.

Образ сумасшедшего философа Черневич разворачивает в своей следующей подробной статье «Проповедь безумца» (1895) [11. С. 2]. На риторический вопрос «Не безумец ли он, не зазнавшийся ли пророк?» автор очерка дает утвердительный ответ, подчеркивая, что душевный недуг – воздаяние,

постигшее «странного апостола» («судьба страшно наказала его»). Опираясь на очерк Преображенского, Черневич пересказывает идеи Ницше, признавая разрушительную силу его таланта:

Наша цивилизация никогда не видела еще до сих пор более страстного и непримиримого врага. Из всех нигилистов Нитче¹ самый отчаянный. Никто до сих пор не нападал так резко на всю нашу культуру, не отрицал так безропотно современных идеалов; не осмеивал так жестоко науку и все наши излюбленные «измы» и идеи, как этот беспощадный отрицатель [11. С. 2].

В то же время сибирский обозреватель отдает должное художественному гению германского философа.

Редкий писатель, – замечает автор статьи, – сумеет вылить какую-нибудь группу мыслей в такую краткую и вместе с тем художественную форму, какой отличаются многие афоризмы Нитче. <...> Они действительно поражают не только силою языка и изумительным мастерством в передаче самых неуловимых оттенков мысли, но и красотой своей формы, обладающей прелестью пластики и музыки. Проза Нитче – это образец художественности [11. С. 2].

Очерк Черневича представляет собой характерный обзор первого этапа русского (анти)ницшеанства, повторяет его логику и опорные постулаты мифотворческого характера, к примеру, симптоматичное утверждение о польских корнях философа:

Для русской публики учение Фридриха Нитче должно представлять двойной интерес. Во-первых, потому что он славянин по происхождению; во-вторых, потому что он один из наиболее оригинальных и сильных, если не самый оригинальный и сильный противник Толстого [11. С. 2].

Отец Ницше оказывается «польским шляхтичем по происхождению (Nietzki)». Такая родословная значительно приближала фигуру немецкого пророка именно к сибирской публике, заметную часть которой составляли переселенные поляки.

Хотя оценка взглядов Ницше в статье томского критика не является сугубо отрицательной, его вывод возвращает читателя к мысли об иллюзорности его идей, об их чуждости русскому человеку:

Вот в кратких чертах та проповедь, которой теперь так увлекается Европа. Перед нами не моралист в строгом смысле этого слова, потому что он не признает и не дает никакой морали, а скорее мечтатель-эстетик, ненавидящий действительность и приведенный в экстаз созерцанием призрачных своих идеалов [11. С. 2].

¹ Данный вариант транскрипции был распространен в публикациях русских критиков начала XX в.

Завершает свою заметку Черневич разбором историко-культурных предпосылок, породивших феномен популярности философии Ницше. Умозаключение критика о логике движения европейской мысли от традиционных христианских идеалов к философии Шопенгауэра, заразившей общество «безнадежностью и разочарованием» и обернувшейся жадной новой «веры и надежды», которую утолили поиски «счастья в самом себе», представляется довольно зрелым для последнего десятилетия XIX в. Разгадка успеха Ницше, согласно Черневичу, в том, что его «проповедь как раз совпала с толками о великих правах личности, с появлением и развитием культа личности» [11. С. 2].

В следующем году после выхода заметки Черневича на страницах «Сибирского вестника» появляется произведение автора, подписавшегося псевдонимом Рафаил Лем'блан (настоящее имя неизвестно), – «Элегии в прозе» [12. С. 2]. Одна из двух частей этого сочинения «II Философ (по поводу Ницше)» представляет оригинальную вариацию образа рассказавшегося мыслителя и его смерти, которая последовала только в 1900 г. (!). Об авторе многого выяснить не удалось, известно только, что его перу принадлежат публиковавшиеся в сибирской периодике прозаические очерки, содержавшие литературные портреты скандально известных героев европейской культуры и истории, к примеру Джека-потрошителя и Фауста [13. С. 2]. Кроме того, в фондах РГБ сохранилось издание сочинения «Вырождение евреев и Палестина» (Одесса, 1889), принадлежащее, очевидно, его перу, что позволяет заподозрить в нем ссыльного литератора.

Если в изображении Черневича (который не только писал критические отзывы, но и переводил немецкую поэзию, Н. Ленау, например [14]) Ницше предстает «не моралистом», но «мечтателем-эстетиком», то в элегии Лем'блана его образ дан в линейной драматической динамике. В начале произведения перед нами холодный философ, который руководствуется только логикой и рассудком, который «бил и метал предания людей, их веру, Бога, идеалы, их увлечения и ошибки, их горести и радости мгновения», бьется «с безызвестностью, с суровостью нужды». Такой образ Ницше, который «мечтаньям чуждый поклонялся лишь рассудку», совершенно противоположен портрету, созданному Черневичем. Однако этот характер во многом необходим автору элегии для разворачивания контраста во второй части текста, где возникает образ сумасшедшего философа. Если в изображении первой ипостаси лирическое повествование организуют мотивы холодности и твердости, железа и стали, молота и кузнеца, то в создании второй доминируют образы пепла, мрака и мути, смерти, мотивы сомнения и печали: «Какой-то мрак окутал мертвым саваном угрюмые глаза».

В финале элегии Лем'блан вводит фигуру матери Ницше, «измученной горем» и пробудившей сына от безумия своим шепотом: «... очнись, сын мой, очнись хоть на миг!». Возвратившись на этот зов в «мир разумный» лишь на мгновение, Ницше раскаивается и просит мать сжечь созданные им книги, после чего умирает. Эта тема выражается в мотиве света и огня: «осветилось вдруг лицо», «какой-то луч сверкнул», «потух огонь». Возникающий в финальной строке образ звезды («Звезда померкла навсегда»), эхом отзовется в

переводческом восприятии поэтического наследия философа на страницах томской периодики в 1907 г. (см. об этом ниже).

Элегия предоставляет понятный автору и читателю образ Ницше сквозь призму его биографического мифа, элементы которого имелись и в статье Черневича. Лем'блан продолжает заявленную критиком тему безумия, обращая с ее помощью жизненную канву сюжета о Ницше в христианское русло. Страдания, болезнь, осознание ошибок и заблуждений, покаяние перед смертью превращают героя элегии чуть ли не в святого: если Черневич называл Ницше апостолом в абстрактном смысле, то в элегии к безумному философу буквально идут паломники («пилигримы ездили к нему в деревню»). Хотя Лем'блан использует общеизвестные факты из биографии Ницше о последних годах жизни с матерью, среди которых и ложные известия о смерти философа, все же, будучи погруженными в лирическое измерение жанра чувствительной элегии, они создают романтически-трагический образ главного героя, которому читатель может только сочувствовать. Это уже совершенно иной характер рецепции, который может быть назван в рамках теории Антуана Бермана [15] *доместицирующим*, *присваивающим* (в отличие от *преимущественно форенизирующего*, *отчуждающего* в заметках Черневича).

В самой структуре этого своеобразного некролога ощущается сложное взаимодействие разных культурных традиций, начиная от античной эпитафии и заканчивая романтическими кладбищенскими элегиями, жанром, получившим особенное распространение в русской литературе XIX в. (см., например: [16]). Хотя диалогия¹ написана прозой, типологически стихотворение «Философ» совпадает по своей структуре с так называемой аналитической (по классификации М.Л. Гаспарова – «расчленяющей») элегией, имеющей трехчастное строение: «экспозиция, рисующая исходную ситуацию; ложный ход, намечающий возможное разрешение ситуации; отказ от ложного хода и предпочтение другого хода, истинного» [17. С. 363].

Не случайно и то обстоятельство, что именно жанр элегии, особо выделенный самим немецким философом, стал основанием для художественного обобщения томского автора: элегическая печаль о вечной утрате и сама элегия, которая «вне зависимости от способа воплощения, осознается как универсальная лирическая форма, как субститут лирики» [18. С. 5], выдвигаются Лем'бланом в качестве структурообразующего, гармонизирующего начала в рассказе о трагической судьбе философа, усомнившегося в морали и Боге. Именно потому при довольно последовательной метрической реализации канонического для русской элегической поэзии ямбического метра автор упорно избегает упорядоченности ритмических рядов и маркирующих их рифменных созвучий:

Он был философ. (1.1.1) Холодным взором (1.1.1) прорезывал он прошлое людЕй. (1.33.0) Мечтаньям чуждый, (1.1.1) он поклонялся лишь рассудку. (3.11.1) Он презирал любовь, (3.1.0) как бьющую из рудников страстЕй. (1.51.0).

¹ Кроме анализируемой, в состав цикла входит элегия «Я и она».

В ритмической каденции этого зачина проявляются некоторые черты типологического сходства с горьковской «Песней о Соколе», напечатанной в за год до публикации в «Сибирском вестнике» и ставшей своеобразным манифестом демократической печати тех лет. Двухстопный ямб метризованной прозы, восходящий к экспериментам Горького и составляющий в структуре элегии Лем'блана всего лишь около 18%, маркирует собой первую часть текста, разделенного астеризмом, а во второй образует кольцевую структуру за счет повтора знаменательной формулы: «Потух огонь, (3.1.0) поблекли краски (3.1.0)» (ср.: «Потух огонь, (3.1.0) померкли краски (3.1.0)»). При этом большую часть элегии составляют ритмические комплексы, интерпретируемые как четырехстопный (33%), трехстопный (25%) и пятистопный ямб (18%), что заставляет вспомнить о том, что одной из линий развития русской элегии был ямб вольный [19. С. 59].

Определенную урегулированность чередованию ямбических форм разной длины придают амебейные приемы повторов словесных комплексов с принудительно акцентированным личным местоимением 3-го лица единственного числа: «Он был философ <...> Он презирал любовь <...> Он долго бился с безызвестностью <...> Он шел с ума <...> Он с матерью своей ютился» [12. С. 2]. Рассредоточенные по всему тексту, эти конструкции с прономинализацией создают особенный нарративный модус всего повествования, с которым резко контрастирует собственно элегический модус этого во многом уникального произведения, реализуемый с помощью ритмико-стилистических клише, в основном выполненных пятистопными и шести-стопными ямбическими конструкциями: «Какой-то мрак из пепла и печали», «...ютился в комнате в селеньи одиноком», «И книги вещи и дерзкие по мысли / витали в воздухе отравленной струей» [12. С. 2] и т. д.

В год смерти философа в сибирской печати появляются две заметки: тобольский «Сибирский листок» отзывается перепечаткой некролога [20. С. 2], а в Томске выходит обширная статья известного правозащитника, общественного деятеля российского масштаба Р.Л. Вейсмана «Мораль Фридриха Ницше и преступность. Эскиз» [21. С. 2; 22. С. 2]. Из краткого предисловия к этому сочинению становятся очевидны задачи автора, его целевая аудитория и коммуникативная установка:

Критическое отношение в деталях к Ницше могут себе позволить лишь крупные аналитики. Если следует говорить, то полным сочности и красок языком самого философа. Наша задача провинциального обозревателя – дать намек на взгляды Ницше на нравственность и преступность – далеко не единственные темы его философии – в надежде, что интеллигентная публика обратится к его сочинениям, из которых наиболее существенные имеются уже в русском переводе [21. С. 2].

Мотивы выбора темы в общем продиктованы профессиональными интересами разделявшего взгляды областников автора, добивавшегося особых правовых положений для Сибири, а также ее актуальностью для региона, поэтому Ницше «локализуется» в Сибири, как, к примеру, и его оппонент

М. Нордау [23. С. 2], в частности, посредством анализа отношения к феномену преступности.

Вейсман обращается к трем работам Ницше: «Помрачение кумиров» (более известное под заглавием «Сумерки кумиров (идолов), или Как философы стучат молотом», 1888), «По ту сторону добра и зла» (*Jenseits von Gut und Böse*, 1886) и «Так говорил Заратустра» (*Also sprach Zarathustra*, 1883–1885). На основе этих сочинений адвокат раскрывает основные концепты философии права германского мыслителя, как-то: нравственность, «мораль господская» и «мораль рабская», «наказание» и «улучшение», «дисциплина расы», «преступник» и «патология». Вейсман отдает должное энергетике художественного слова Ницше, признавая «удивительную поэтичность и гениальность напоминающей псалмы философской поэмы “Also sprach Zarathustra”», однако, излагая и комментируя тезисы его творений, не всегда с ними соглашается, т.е. «эскиз» обнаруживает и оригинальные аналитико-критические стороны. Так, сибирский автор не соглашается с отрицанием роли религии в оформлении понятия нравственности (*Все средства, с помощью которых человечество должно было сделаться нравственным, были совершенно безнравственными*), говоря о том, что *«резкая критика источника религиозных начал, несомненно, страдает и односторонностью»*, поскольку *«нельзя забывать, что вопросы этики только в последние столетия обособились в отдельные доктрины»*, а *«Библия есть книга не только религии, но и политики и гигиены»*, и *«классовое различие Ману вытекает из мотивов политических»*. Вейсман заканчивает первую часть своего очерка философским утверждением Т. Карлейля о людской и высшей справедливости, которое оттеняет категоричность ницшеанских афоризмов:

Еще Карлейль* (*Томас Карлейль. Загадка Сфинкса. М., 1900 г.) так определяет справедливость. «Мрачное, грозное правосудие, парящее в палатках и судах с их карающими законами, протоколами, уставами и постановлениями – очевидно для всех. Но бесплотная истинная справедливость не так видна, потому что она нисходит с «неба», которого, конечно, не видно...» [21. С. 2].

Вторая часть эскиза посвящена «морали рабов» и «морали господ», при этом Вейсман, следуя логике Ницше, у которого эти два вида морали все же последовательно разделяются, хотя и с целью выявления сложности целого представления о морали, признает, что *на земле существует действительно «двойственная нравственность»*, подменяя таким образом ницшеанскую парадигму собственной. Резюме сибирского обозревателя венчается политически ангажированной критикой правового устройства Европы, содержащей в себе откровенно аболиционистские мотивы:

Народы Европы приветствуют идею братства, стремятся к ослаблению войн. Откуда исходит призыв к кровожадности и мести к расе, хотя угрожающей, быть может, в будущем, но ныне слабой и миролюбивой? Не из очага ли просвещенности и протестантизма? <...> А тут же гордыня своей культурой, своей религией любви и прощения! Топить мирного невооружен-

ного жителя – это противно немножко гаагской конференции, но не противно трубить о такой победе над человеком – домашним животным другой расы.

В некоторых государствах даже Европы тот, кто принадлежит к данному племени, к известному племени, ограничивается и стесняется в праве передвижения, как преступник, лишается прав гражданина, как преступник, будь он честен и безукоризнен, – все равно. «Господа» своей моралью допускают это коренное внутреннее противоречие... [22. С. 2].

Заключительная часть эскиза посвящена определению преступника в учении Ницше. Вейсман принимает при этом скорее оценку проф. Н.С. Таганцева, выставляя германского философа современно мыслящим ученым:

Конечно, Ницше не может смотреть на преступника как нарушителя норм. Это узкая точка зрения уголовного права. Преступник, это, разумеется, лицо, “упорно не подчиняющееся требованиям правового порядка, велениям власти, его охраняющей”* (* Лекции проф. Таганцева, 1887. СПб.) [22. С. 2].

В сущности, упоминая, что Ницше всего лишь «пошел дальше», провозгласив преступником «сильного человека среди неблагоприятных условий», местный правозащитник вновь концентрируется на общем соответствии мысли философа модному психиатрическому взгляду на преступника: «...это проблема, намеченная в гениальном прозрении Ницше, научно обрабатываемая Ломброзо и учениками его»; «над вопросом о «людях, больных современностью» придется работать не одному поколению мыслителей».

Заканчивается работа Вейсмана назидательными фразами гуманистического плана, отдаленно напоминающими афоризмы Ницше только своей формой. В содержании же слышится пафос речи правозащитника, обращенной к судьям, присяжным, подсудимым:

Наша человеческая гордость, уважение к своему людскому племени, колеблется. Мы поражены ужасом в сознании существования громадного класса озверелых, жаждущих чужого добра и крови...

Обезопасить человеческую жизнь – значит стремиться к искоренению преступности.

Облагодотить человечество – смотреть на преступника, как на больного [22. С. 2].

Сугубо личностное понимание и применение тезисов учения немецкого философа было типично для русской интеллигенции начала XX в. От антиницшеанства мыслящие и образованные русские люди пришли к обратному полюсу, к идеализации учения и его автора. «Склонение на наши нравы» и породило «русского Ницше», поэтому и статьи Черневича, и элегия Лемблана, и последующие переводы открывают, прежде всего, особые грани и достаточно высокий уровень субэтнического культурного сознания Сибири, центром формирования которого стал университетский Томск.

Ницшеана на страницах томской периодики 1900-х продолжилась благодаря стараниям, пожалуй, самого видного из сибирских просветителей и еще

одного ссыльного поэта. В 1903 г. П.И. Макушин анонсировал в «Сибирской жизни» издание только что вышедшего труда немецкого профессора Г. Файгингера «Ницше как философ» (*Nietzsche als Philosoph*, 1902, до 1916 г. четырежды переиздавался в Германии). В краткой рецензии на русский перевод говорилось:

В этой небольшой книжке русский читатель, незнакомый с учением столь прогремевшего на весь образованный мир немецкого философа Ницше, найдет краткое, ясное, толковое изложение его учения. Читать самого Ницше человеку, мало упражнявшемуся в чтении философских книг, чрезвычайно затруднительно, и постигнуть сущность его учения, главные основные его мысли тем более трудно для обыкновенного читателя, что Ницше не излагает их систематически, – они разбросаны, они переплетены с массой побочных мыслей, закутаны в необычайно образный язык: образы, афоризмы, приподнятый пророческий тон – просто подавляют мысль, и нужна огромная привычка в умении выделять или, да позволено мне будет так выразиться, выуживать зерно сущности из потока фантазии, воображения, ума и пафоса, чтобы понять главное в философии Ницше. На русском языке до сих пор, по крайней мере, не могли бы указать ничего более ясного по изложению философии Ницше, как изданная г. Сквирмунтом брошюра профессора Г. Файгингера, очень хорошо переданная г. Шутяковым [24. С. 2].

Таким образом, томичам в 1902 г. было представлено аутентичное видение философии Ницше, что свидетельствует о популярности его фигуры, с одной стороны, и с другой – об уровне культурного развития «обыкновенного читателя» в Сибири, которого Макушин не отделяет от «русского читателя» в целом. После его рецензии публикаций о Ницше в местной печати не появляется вплоть до 1907 г. Вероятно, потому, что 1900-е гг. отличаются необыкновенной активностью столичных русских ницшеанцев, работы которых определенно доходили до университетского города. С момента выхода заметки Макушина до следующего и последнего рецептивного прецедента в центральной периодике России вышел цикл работ Вяч. Иванова [25, 26], работы Е. Трубецкого [27]. К 1906 г. русская мысль социалистического толка также находилась под заметным влиянием ницшеанских идей: М. Горький, А. Луначарский, А. Богданов пришли к признанию первостепенной роли искусства в социальной борьбе: в инициированном ими «богостроительстве» без труда идентифицировался ницшеанский код.

Переводы пролегоменов к «Веселой науке», появившиеся на страницах «Сибирских отголосков» в 1907 г., обозначают новый этап творческой рецепции наследия Ницше, усвоившей и столичные интерпретации. Первые русские переводы этого произведения, выполненные А. Николаевым [28] и А.Н. Ачкасовым [29], вышли в 1901 г.

Автор переводов подписался псевдонимом «Вас. Павлоградский», за которым скрывался внук Н.И. Лобачевского, талантливый студент Томского императорского университета Василий Эдуардович Дембовецкий (1883–1944), высланный из Петербурга и исключенный из Санкт-Петербургского университета, где он учился на словесном отделении историко-филологического факультета, за участие в забастовках и стихотворение «Па-

мья павших» (1905). Будущий поэт, автор нескольких книг стихов, знакомец М.И. Цветаевой и М.А. Волошина (подробнее см.: [30]), Дембовецкий естественным образом не мог пройти мимо феномена Ницше: он выбирает отрывки № 14 и № 63 [31] из 64 эпиграмм стихотворного пролога к книге Ницше «Die Fröhliche Wissenschaft» (1881–1882). Композиция книги составлена из 5 частей: всего более 380 прозаических отрывков, а также стихотворных пролога и финала, в которых Ницше рассуждает о природе и искусстве, о логике и сущности зла, впервые в этом сочинении появляется метафорическая максима – «Бог умер». По наблюдениям З.Е. Фоминой, специально обратившейся к изучению метафорического устройства пролога, «особенностью метафорической категоризации тех или иных сущностей, коррелирующих с феноменом “Веселое”, является высокая степень сложности их структурирования», доминантными сущностями «Веселой науки» исследователь считает такие концепты, как «философ», «философия», «познание», «интеллект», «мысль», «жизнь», само понятие «Веселая наука» [32. С. 33]. Необходимо отметить, что категория «веселого» восходит к провансальской литературе XIII–XVI вв., и в частности к Тулузской школе трубадуров, где «веселой наукой» («la gaya scienza») называли не что иное, как искусство поэзии, воспевавшей божественную и куртуазную любовь. Нельзя не обратить внимание и на то, что русский эквивалент «веселый» не совсем удачен или как минимум не в полной мере передает значение ницшевского определения «fröhlich», которое следовало бы перевести русским прилагательным «радостный», т.е. наполненным не «беззаботно-радостным настроением» [33. С. 66], а «ощущением большого душевного удовлетворения» [33. С. 555]. Однако для отрывков, выбранных сибирским корреспондентом, эта категория, судя по всему, не была первостепенной. Мотивы ссыльного поэта были скорее автобиографичными. Первый текст, втрое больший второго, раскрывает образ звезды, символически выражая кредо автора немецкого оригинала. Второй афоризм посвящен дружбе и вражде – теме, актуальной для самого переводчика. Поэзия Ницше предоставляет для него поле, безграничное для самовыражения, так же как его философия – для мыслителя, и оптимальным способом перевода пролегоменов мог бы стать принятый в европейской традиции перевода поэзии подстрочник. Несмотря на то, что непередаваемость блестящих афоризмов Ницше на русский язык неизменно отмечалась в том числе и авторами сибирских заметок, переводы Дембовецкого, думается, в целом можно считать удачными.

Первое стихотворение Ницше устроено характерным для его манеры способом. В центре поэтического фокуса располагается метафора, созданная по законам философской диалектики на основе единства и борьбы противоположностей. Такие метафоры образуют некий «метаязык», помогающий «объективации и образному обоснованию идей» [32. С. 36] «Веселой науки» Ф. Ницше. Сибирским переводчиком выбрана предпоследняя и ключевая с точки зрения этого метаязыка эпиграмма с метафорическим обыгрыванием образа звезды, эмблематически выражающего представление поэтов начала XX в. о самом Ницше. В контексте «Веселой науки» семистишие «Sternen-Moral» (Мораль звезды) являет собой один из «метафорических гештальтов

мысли, жизни и познания» [32. С. 34], выражая главную мысль о том, что жизни суждено быть экспериментом познающего.

В стихотворении находится целый ряд скрытых на уровне стиля и поэтической семантики противопоставлений. В частности, первая и главная линия представлена концептом «Moral» («мораль»), открывающимся в лексемах «selig» («блаженно»), «грех» («Sünde»), «Gebot» («заповедь»). Понятия христианской морали отрицаются содержанием стихотворения, заключающего в себе призыв-вопросание, обращенное к звезде и утверждающее недейственность морали. На этом же контрасте построена вся система образов, ср.: «Dunkel» («мрак») и «Schein» («сияние»); «Elend» («невзгоды, убогость») и «Mitleid» («сострадание»):

F. Nietzsche

63. Sternen-Moral

Vorausbestimmt zur Sternenbahn,
Was geht dich, Stern, das Dunkel an?
Roll' selig hin durch diese Zeit!
Ihr Elend sei dir fremd und weit!
Der fernsten Welt gehört dein Schein:
Mitleid soll Sünde für dich sein!
Nur Ein Gebot gilt dir: sei rein! [34]

Подстрочник

Мораль звезды

Предназначенной для звездного пути,
Тебе, звезда, что этот мрак?
Прокатись блаженно вперед сквозь это время!
Его невзгоды пусть будут для тебя чужими и далекими!
Самому отдаленному миру принадлежит твоё сияние:
Сострадание должно грехом для тебя быть!
Лишь одна заповедь касается тебя: будь чистой!

Как видно, оригинал стихотворения выполнен четырехстопным ямбом с рифмовкой, отдаленно напоминающей септет (ааввссс). Композиция текста основана на реализации структуры вопросно-ответного комплекса, усиленного четырьмя побудительными конструкциями с восклицательными знаками (exclamatio), образующими градационное восхождение к самому главному символическому значению «чистоты» («sei rein!»).

Дембовецкий существенно переструктурирует параметры оригинала не только на уровне содержания, но и формы. Прежде всего, он корректирует название, вводя в него категорию множественного числа, при этом он изменяет и композицию, аннулируя вопросно-ответный комплекс, расширяя фразовый состав строк и увеличивая объем своего перевода: написанное четырехстопным ямбом (эквиметричность), восьмистишие с кольцевой рифмовкой катренов (аВВасDDc) соотносится с претекстом лишь на общеэмфатическом уровне выделения ведущих образов – «звезда», «мрак», «мир», «сиянье».

В.Э. Дембовецкий

Мораль звезд

Назначен путь тебе, звезда,
И нет тебе до мрака дела!
Невозмутимо, до предела,
Горя, свершай его всегда. Здесь точка!
Миров далеких вечный бег
Пускай следит твоё сиянье;
Забудь лишь только состраданье,
И чистоту храни во век [31].

Нарушение принципа эквилинеарности и стремление гармонизировать неравновесную структуру оригинала приводит к некоторой трансформации

смыслово-ассоциативного ряда: вместо трансцендентной неопределенности фразы «Der fernsten Welt gehört dein Schein» в переводе оказывается очень тютчевский образ «вечного движения» – «Миром далеких вечный бег»¹.

Автор новейшего русского перевода «Веселой науки» историк и философ К.А. Свасьян отмечает, что в контексте всего творчества Ницше этой книге «принадлежит, очевидно, исключительное место как самой открытой и вместе с тем самой секретной из всех книг Ницше», в которой «можно встретить самые необыкновенные скрещивания и комбинации – настоящее “искусство трансфигурации”, которое в предисловии к “Весёлой науке” и отождествляется собственно с философией» [35. С. 27]. Свасьян полагает, что дело в окупаемости веселости, которая представляет собой «род адской расплаты за “искусственный рай” сверхчеловечности – расплаты, которая, впрочем, всякий раз оборачивается неожиданной провокацией» [32. С. 29]. Такое понимание книги сквозь призму эволюции философии и судьбы Ницше позволяет переводчику предложить свой перевод «Sternen-Moral», отличающийся повышенным уровнем точности:

Перевод К.А. Свасьяна

63. Звездная мораль

В твоей провиденной судьбе,
Звезда, что этот мрак тебе?
Страхни блаженно цепь времен,
Как чуждый и убогий сон.
Иным мирам горит твой путь,
И ты о жалости забудь!
Твой долг единый: чистой будь! [36].

Второе стихотворение Ницше, переведенное В.Э. Дембовецким, – двустишие, заглавие которого можно было бы передать словом «храбрец». Оно представляет собой парафраз на темы цicerоновского афоризма о хорошей войне и плохом мире, стилистически обыгрываемого с помощью употребления профессионально окрашенной лексики, связанной с обработкой древесины: «Holz» – древесина, ствол; «geleimt» – клеёная древесина, т.е. конструкции из склеенных между собой цельных деревянных деталей. Выполнено рифмованное двустишие неравностопным метром с отчетливой хорейческой каденцией.

F. Nietzsche

14. Der Brave (оригинал)

Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft,
Als eine geleimte Freundschaft! [34].

Подстрочник

Храбрый

Лучше из цельного ствола вражда,
Чем клеёная дружба!

Дембовецкий выбрал для своего перевода очень специфический ритм вольного дактиля (пятистопный + шестистопный), что существенно увеличило слоговой объем строк и отразилось на синтаксической структуре текста. Кроме того, переводчик попытался передать омонимическую игру в рифменном созвучии оригинала, для чего использовал разносоставный и разноудар-

¹ В стихотворении «Звучит, как древле, пред тобою...» (Из «Фауста» Гете. I) у Тютчева упоминается «Земли... быстрый бег», а в черновике еще более сходный образ «вечного бега».

ный профиль русских слов «вражда» и «дружба». Эта каламбурная рифма несколько снижает метафорический контекст оригинала, как и развернутая антитеза строк.

В.Э. Дембовецкий
II. Мужественность

Лучше из целого выточить разом вражду,
Чем из ничтожных частичек томительно склеивать дружбу [31].

В целом же слог этого перевода, напечатанного в томской газете, отсылает к высоким образцам русской поэзии «золотого века» и является оригинальным, характерным решением начинающего русского поэта. Специфика поэтизмов Дембовецкого («томительно», «ничтожных», «частичек») открывается в сопоставлении с современным переводом, в котором передается стилизация «веселости», иронично-игровая тональность, организующая нарративное целое произведения Ницше:

Перевод К.А. Свасьяна
14. Бравый

Лучше враг из цельного куска,
Чем друг, приклеенный слегка! [36].

Переводы Дембовского завершают восприятие Ницше в дореволюционной периодике Сибири, которая в совокупности заключает в себе законченную рецептивную историю, объединяя прецеденты критического, переводческого, эдиционного и творческого усвоения. Его специфика репрезентативна как для расширения представлений о русском Ницше, так и для понимания местной парадигмы культурного сознания. Идеи немецкого философа экстраполируются в сочинениях и заметках Макушина, Черневича, Вейсмана, Лемблана и Дембовского на явления и интересы региона, в результате идеализация высоких образов ницшеанской философии преобладает над отрицанием ее деструктивных интенций. Хотя высказывания этих провинциальных авторов в некоторых моментах полемичны по отношению друг к другу, организующим началом в их ницшеанском дискурсе, его нервом является стремление разобраться самостоятельно в вопросах философии и морали, психологии личности новаторского немецкого учения, ориентируясь на интересы и нужды своего непосредственного адресата (читающей публики). Поэтому Ницше и его труды для публицистов, обозревателей, просветителей, поэтов, сошедшихся в единый журналистский круг сибирских газет 1890–1900-х гг., становятся импульсом для оригинальной, живой дискуссии об обществе и искусстве, праве, литературе и морали, порождая своеобразную русифицированную версию его учения. И если, как утверждает исследовательница русского (анти)ницшеанства 1890–1910-х гг. Э. Клюс, «русские читатели Ницше опередили своих современников в других странах в отношении критики традиционных моральных ценностей и в поиске альтернативных систем» [37. С. 12], то образ Ницше, представленный читателям «Сибирского вестника», «Сибирской жизни» и «Сибирских отголосков», изобличал ориентацию на формирование ментальности, которая являлась специфически сибирской, по убеждениям самих же авторов публикаций.

Центром сибирской рецепции Ницше рубежа XIX–XX вв. выступал Томск. Причиной именно такой локализации и в географическом, и в идейном плане стала высокая концентрация образованной интеллигенции вокруг основанного в 1888 г. первого за Уралом российского университета, как ссыльных, так и тех, кто приехал по своей воле, чтобы служить науке, образованию, развитию русской мысли. Томская периодика выполняла миссию органа просвещения, а также превратилась в площадку для самореализации талантливых, думающих людей. Этим вполне объясняется достаточно высокая для провинции степень зрелости формировавшегося субэтнического культурного сознания. Отсутствие абсолютной зависимости от столичного вектора мысли открывается в том числе и в имагологическом дискурсе газетных публикаций сибиряков, сформировавших к 1900-м гг. собственную программу развития региона. Восприятие инациональной словесности могло служить продуктивным инструментом в устах «областников», и в этом отношении проанализированный комплекс ницшеанских рефлексов в зеркале томской печати в самом широком смысле представляет собой яркий пример развития культурного континуума, которое изменило свое направление в связи с нарастанием давления имперского центра и поворотом к интернациональному диктату.

Литература

1. *Бонецкая Н.К.* Русский Ницше // Вопросы философии [Интернет-ресурс]. Опубликовано 26.08.2013. URL: http://vphil.ru/index.php?id=788&option=com_content&task=view (дата обращения: 20.02.2016).
2. *Смольянинов А.Е.* Мой Ницше: Хроники интерпретирующего пилигрима: (Рецепция Ницше сквозь призму личного восприятия) // Фридрих Ницше [Интернет-ресурс]. URL: <http://www.nietzsche.ru/around/russia/smolianinov/> (дата обращения: 04.02.2016).
3. *Синеокая Ю.В.* Восприятие идей Ницше в России: основные этапы, тенденции, значение // Фридрих Ницше [Интернет-ресурс]. URL: <http://www.nietzsche.ru/around/russia/ideas/> (дата обращения: 04.02.2016).
4. *Преображенский В.П.* Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма // Вопросы философии и психологии. М., 1892. Год 3, кн. 15. С. 115–160.
5. *Ницше Ф.* Собрание сочинений: в 8 т. М., 1900.
6. *Синеокая Ю.В.* Философия Ницше и духовный опыт России (конец XIX – начало XXI в.): дис. ... д-ра филос. наук. М., 2009.
7. *Черневич П.Л.* Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах, 1827–1939. Томск, 2001.
8. [Черневич П.Л.] Очерки заграничной жизни // Сибирский вестник. 1895. № 27.
9. [Черневич П.Л.] Журнальное обозрение // Сибирский вестник. 1895. № 93.
10. *Малашонок М.Г.* Д.С. Мережковский как автор, представитель романтической школы и романтический герой // Аналитика культурологии. 2008. № 12. С. 211–216.
11. [Черневич П.Л.] Проповедь безумца. Будьте радостны и веселы, как я. Фр. Нитче // Сибирский вестник. 1895. № 151. С. 2–3.
12. *Грустная история о том, как был похоронен господин Фауст* // Томский листок. 1896. № 10; *Джек потрошитель* // Томский листок. 1896. № 23.
13. *Элегии в прозе* // Томский листок. 1896. № 27.
14. *Никонова Н.Е., Серягина Ю.С.* Поэзия Н. Ленау на страницах томской периодики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. 2015. № 6 (69). С. 196–200.
15. *Berman A.* La retraduction comme espace de la traduction // Palimpsestes. 1990. № 4. P. 1–8.
16. *Козлов В.И.* Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. М., 2013. С. 33–79.

17. *Гаспаров М.Л.* Три типа русской романтической элегии // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. 2: О стихах. М., 1997.
18. *Толстогузова Е.В.* Элегия: затянувшееся послесловие к истории жанра // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2009. № 3 (7).
19. *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. 2-е изд., доп. М., 2000.
20. *Фридрих-Вильгельм Ницше* (Некролог) // Сибирский листок. 1900. № 70.
21. *Вейсман Р.Л.* Мораль Фридриха Ницше и преступность: Эскиз // Сибирский вестник. 1900. № 216.
22. *Вейсман Р.Л.* Мораль Фридриха Ницше и преступность: Эскиз: (Продолжение) // Сибирский вестник. 1900. № 218.
23. *М. Нордау* о преступности // Сибирский вестник. 1902. № 262.
24. *Макушин П.И.* Файгингер. Ницше как Философ // Сибирская жизнь. 1903. № 41.
25. *Иванов Вяч.* О Дионисе орфическом // Русская мысль. 1903. № 11.
26. *Иванов Вяч.* Ницше и Дионис // Весы. 1904. № 5. С. 17–30.
27. *Трубецкой Е.* Философия Ницше // Вопросы философии и психологии. 1903. № 69.
28. *Ницше Ф.* Веселая наука = (La gaya Scienza): пер. со 2-го нем. изд. А. Николаева // Ницше Ф. Собр. соч. Т. 7. М., 1901.
29. *Ницше Ф.* Веселая наука [пер. А.Н. Ачкасов] // Собр. соч. М., 1901. Т. 9.
30. *Немишлова З.* «Наше счастье – в кочующих звуках...» // Республика. 2013. 26 янв. URL: <http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/56224> (дата обращения: 26.01.2016).
31. [Дембовецкий В.Э.] Из Ницше (Из «Пролога к веселой науке») // Сибирские отголоски. 1907. № 82. С. 2.
32. *Фомина З.Е.* Прологомены «Веселой науки» Фридриха Ницше и специфика их метафорической категоризации // Науч. вестн. Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-та. Сер.: Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2015. № 3 (27). С. 32–49.
33. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. 16-е изд., испр. М., 1984.
34. Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft («la gaya scienza»). URL: <http://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/nietz/nietz1lg.htm> (дата обращения: 26.01.2016).
35. *Свасьян К.А.* Ф. Ницше: мученик познания // Сочинения. в 2 т. Т. 1: Литературные памятники. М., 1990.
36. *Ницше Ф.* Веселая наука («la gaya scienza») // Фридрих Ницше [Интернет-ресурс]. URL: <http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/> (дата обращения: 04.02.2016).
37. *Клюс Э.* Ницше в России: Революция морального сознания / пер.с англ. Л.В. Харченко. СПб.: Академ. проект, 1999.

“AND THE WORD ABOUT HIM, AND THE FAME OF A GLOOMY PHILOSOPHER WAS HEARD FROM EVERYWHERE”: FRIEDRICH NIETZSCHE IN THE MIRROR OF SIBERIAN PREREVOLUTIONARY PERIODICALS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 139–156. DOI: 10.17223/19986645/42/11

Natalya E. Nikonova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: nikonat2002@yandex.ru

Petr A. Kovalev, Oryol State University (Oryol, Russian Federation). E-mail: kavalller@mail.ru

Yulia S. Seryagina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: seriagina@gmail.com

Keywords: Friedrich Nietzsche, reception, literary periodicals, verbal culture in Siberia.

The heritage of Friedrich Nietzsche (1844–1900) still attracts a great interest of humanities and remains largely unexplored, being a blessed field for interpretations and research of philosophers, linguists and literary critics.

Nietzsche’s ideas became the subject of lively discussions in Russia in the 1890s, when the first translations and critical essays were published, being either Nietzschean or anti-Nietzschean. The fast increase of Nietzsche’s popularity in Russia started after his death in 1900. It is associated with the release of the first Russian collected works of him in 9 volumes, and also with appreciating his philosophy that promoted the development of Russian new idealism.

This paper presents the first attempt of determining the perception specifics of Nietzsche by Siberian intelligentsia of the 1890s–1900s echoed in periodicals of that time.

In 1894–1907, Siberian periodicals (*Sibirskiy vestnik*, *Sibirskaya zhizn'*, *Sibirskie otgoloski*) hold a lively discussion about Nietzsche and his ideas. The participants were prominent public figures of Tomsk: Pyotr Ivanovich Makushin; the founder of the Siberian regionalism legal principles Raphael Lvovich Weisman; the great-grandson of N. Lobachevsky, poet and translator Vasily Eduardovich Dembovetsky; the respected literary critic Pyotr Lvovich Chernevich and others.

P. Chernevich, on the one hand, determines the resonance characteristics in the spirit of religious idealism, on the other hand, he consciously does not accept the pessimistic, shocking, nihilist ideas of Nietzsche. This position reflects in Siberian periodicals in his further notes that show the original receptive strategy and eliminate the possibility of the provincial neophytism. Chernevich unfolds the image of a mad philosopher in his subsequent detailed article “Sermon of the Madman” (1895).

A year after Chernevich's article, *Sibirskiy vestnik* publishes a work of an author under the pseudonym of Raphael Lem'blan, “Elegy in Prose”. One of the two parts of this work, “Philosopher II (About Nietzsche)” is an original variation of the image of a repentant thinker. Elegy provides Nietzsche's image, clear to the author and reader, through the prism of his biographical myth, elements of which were in the preceding article by Chernevich. Lem'blan continues the theme of madness that Chernevich stated, directing Nietzsche's life story in the Christian mainstream. Suffering, disease, understanding of errors and misconceptions, repentance before death turn the hero of this elegy into a saint.

In the year of the philosopher's death a voluminous work of R.L. Weisman, a famous human rights activist and a Russian public figure, appears in Siberian periodicals. It reveals the basic concepts of the German thinker's legal philosophy, such as ethics, “morality of the manor” and “morality of a slave”, “punishment” and “improvement”, “race discipline”, “criminal” and “pathology”. The author, however, while presenting and commenting the theses of his works, does not always agree with them, so there is an original analytical and critical side of this work.

Translations of the prolegomena to *The Gay Science*, which appeared on the pages of *Sibirskie otgoloski* in 1907, represent a new stage in the creative reception of Nietzsche's heritage that also assimilated metropolitan interpretations.

References

1. Bonetskaya, N.K. (2013) Russkiy Nitshe [Russian Nietzsche]. *Voprosy filosofii*. August 26. [Online]. Available from: http://vphil.ru/index.php?id=788&option=com_content&task=view. (Accessed: 20th February 2016).
2. Smol'yaninov, A.E. (2003) *Moy Nitshe. Khroniki interpretiruyushchego pilgrima. (Retseptsiya Nitshe skvoz' prizmu lichnogo vospriyatiya)* [My Nietzsche. Chronicles of an interpreting pilgrim. (Reception of Nietzsche through the prism of personal perception)]. [Online]. Available from: <http://www.nietzsche.ru/around/russia/smolianinov/>. (Accessed: 04th February 2016).
3. Sineokaya, Yu.V. (n.d.) *Vospriyatie idey Nitshe v Rossii: osnovnye etapy, tendentsii, znachenie* [Perception of Nietzsche's ideas in Russia: the main stages, trends, meaning]. [Online]. Available from: <http://www.nietzsche.ru/around/russia/ideas/>. (Accessed: 04th February 2016).
4. Preobrazhenskiy, V.P. (1892) Fridrikh Nitshe. Kritika morali al'truizma [Friedrich Nietzsche. Criticism of morality of altruism]. *Voprosy filosofii i psikhologii*. III:15. pp. 115–160.
5. Nietzsche, F. (1900) *Sobranie sochineniy: V 8 t.* [Works: in 8 vols]. Moscow.
6. Sineokaya, Yu.V. (2009) *Filosofiya Nitshe i dukhovnyy opyt Rossii (konets XIX – nachalo XXI v.)* [The philosophy of Nietzsche and the spiritual experience of Russia (the end of the 19th – early 21st centuries)]. Philosophy Dr. Diss. Moscow.
7. Dmitrienko, N.M. (ed.) (2001) Chernevich P.L. In: *Tomskiy nekropol': spiski i nekrologi pogrebennykh na starykh tomских kladbishchakh, 1827–1939* [Tomsk necropolis: lists and obituaries of people buried in the old cemetery of Tomsk, 1827–1939]. Tomsk: Tomsk State University.
8. [Chernevich, P.L.] (1895) Ocherki zagranichnoy zhizni [Essays of life abroad]. *Sibirskiy vestnik*. 27.
9. [Chernevich, P.L.] (1895) Zhurnal'noe obozrenie [The journal review]. *Sibirskiy vestnik*. 93.
10. Malashonok, M.G. (2008) D.S. Merezhkovskiy kak avtor, predstavitel' romanticheskoy shkoly i romanticheskoy geroy [D.S. Merezhkovsky as a writer, a representative of the romantic school and the romantic hero]. *Analitika kul'turologii*. 12. pp. 211–216.
11. [Chernevich, P.L.] (1895) Propoved' bezumtsa. Bud'te radostny i vesely, kak ya. Fr. Nitshe [Preaching of a madman. Be glad and happy as I am. F. Nietzsche]. *Sibirskiy vestnik*. 151. pp. 2–3.
12. Tomskiy listok. (1896) Grustnaya istoriya o tom, kak byl pokhoronen gospodin Faust [A sad story about how Mr. Faust was buried]. *Tomskiy listok*. 10.
13. Tomskiy listok. (1896) Elegii v proze [Elegies in prose]. *Tomskiy listok*. 27.
14. Nikonova, N.E. & Seryagina, Yu.S. (2015) Poeziya N. Lenau na stranitsakh tomskoy periodiki

nachala XX v.: rezonansy perevodcheskogo vospriyatiya [The poetry of N. Lenau in Siberian periodicals in the early of the 20th century: resonances of translational perception]. *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta – Scientific Notes of Orel State University*. 6 (69). pp. 196–200. (In Russian).

15. Berman, A. (1990) La retraduction comme espace de la traduction [Retranslation as a space of translation]. *Palimpsestes*. 4. pp. 1-8.

16. Kozlov, V.I. (2013) *Russkaya elegiya nekanonicheskogo perioda: ocherki tipologii i istorii* [Russian elegy of the noncanonical period: Essays on the typology and history]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

17. Gasparov, M.L. (1997) Tri tipa russkoy romanticheskoy elegii [Three types of Russian romantic elegy]. In: Gasparov, M.L. *Izbrannye trudy* [Selected works]. Vol. 2. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

18. Tolstoguzova, E.V. (2009) Elegiya: zatyauvsheesya posleslovie k istorii zhanra [Elegy: a prolonged epilogue to the history of the genre]. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dal'nem Vostoke*. 3 (7).

19. Gasparov, M.L. (2000) *Ocherk istorii russkogo stikha: Metrika. Ritmika. Rifma. Strofika* [Essay on the history of Russian verse: Metrics. Rhythmic. Rhyme. Strophe]. 2nd ed. Moscow: Fortuna Limited.

20. Sibirskiy listok. (1900) Fridrikh-Vil'gel'm Nitsse (Nekrolog) [Friedrich Wilhelm Nietzsche (Obituary)]. *Sibirskiy listok*. 70.

21. Veysman, R.L. (1900) Moral' Fridrikha Nitsse i prestupnost'. Eskiz [The moral of Friedrich Nietzsche and crime. A sketch]. *Sibirskiy vestnik*. 216.

22. Veysman, R.L. (1900) Moral' Fridrikha Nitsse i prestupnost'. Eskiz (Prodolzhenie) [The moral of Friedrich Nietzsche and crime. A sketch (Continued)]. *Sibirskiy vestnik*. 218.

23. Sibirskiy vestnik. (1902) M. Nordau o prestupnosti [M. Nordau on Crime]. *Sibirskiy vestnik*. 262.

24. Makushin, P.I. (1903) Fayginger. Nitsse kak Filosof [Fayginger. Nietzsche as a philosopher]. *Sibirskaya zhizn'*. 41.

25. Ivanov, Vyach. (1903) O Dionise orficheskom [About Orphic Dionysus]. *Russkaya mysl'*. 11.

26. Ivanov, Vyach. (1904) Nitsse i Dionis [Nietzsche and Dionysus]. *Vesy*. 5. pp. 17–30.

27. Trubetskoy, E. (1903) Filosofiya Nitsse [Nietzsche's philosophy]. *Voprosy filosofii i psikhologii*. 69.

28. Nietzsche, F. (1901) Veselaya nauka = (La gaya Scienza) [The gay science]: Translated from 2nd German ed. by A. Nikolaev. In: Nietzsche, F. *Sobr. Soch.* [Works]. Vol. 7. Moscow.

29. Nietzsche, F. (1901) Veselaya nauka [The gay science]: Translated from German by A.N. Achkasov. In: Nietzsche, F. *Sobr. Soch.* [Works]. Vol. 9. Moscow.

30. Nemshilova, Z. (2013) "Nashe schast'e – v kochuyushchikh zvukakh..." ["Our happiness is in nomadic sounds..."]. *Gazeta Respublika*. 26 January. [Online]. Available from: <http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/56224>. (Accessed: 26th January 2016).

31. [Dembovetskiy, V.E.] (1907) Iz Nitsse (Iz "Prologa k veseloy nauke") [From Nietzsche (From Prologue to The Gay Science)]. *Sibirskie otgoloski*. 82. p. 2.

32. Fomina, Z.E. (2015) Prolegomens of The Gay Science by Friedrich Nietzsche and the specific nature of their metaphorical categorization. *Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Seriya: Sovremennye lingvisticheskie i metodiko-didakticheskie issledovaniya*. 3 (27). pp. 32–49. (In Russian).

33. Ozhegov, S.I. (1984) *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian language]. 16th ed. Moscow: Russkiy yazyk.

34. Nietzsche, F. (n.d.) *Die fröhliche Wissenschaft* [The Gay Science]. [Online] Available from: <http://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/nietz/nietz1lg.htm>. (Accessed: 26th January 2016).

35. Svas'yan, K.A. (1990) F. Nitsse: muchenik poznaniya [F. Nietzsche. A martyr of knowledge]. In: Nietzsche, F. *Sochineniya v 2 t.* [Works in 2 vols]. Vol. 1. Literaturnye pamyatniki. Moscow: Mysl'.

36. Nietzsche, F. (n.d.) *Veselaya nauka ("la gaya scienza")* [The Gay Science]. [Online]. Available from: <http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/>. (Accessed: 04th February 2016).

37. Klyus, E. (1999) *Nitsse v Rossii: Revolyutsiya moral'nogo soznaniya* [Nietzsche in Russian Revolution of moral consciousness]. Translated from English by L.V. Kharchenko. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.

УДК 101:82-1/29

DOI: 10.17223/19986645/42/12

А.В. Радионова

ТЕМЫ «ВСЕЛЕННАЯ», «МИР», «МИРОЗДАНИЕ» В ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЛОСЕВА

В статье рассматривается поэтическое творчество А.Ф. Лосева, взаимосвязь его лирики с философскими работами. Характеризуются темы «мир», «вселенная», «мироздание». Предлагается методика анализа повторяющихся тематических комплексов. Показано, что ряд окружающих тем являются онтологическими символами, раскрывающими разносторонние философские характеристики, свойственные центральным темам «вселенная», «мир», «мироздание». Определена роль тематических оппозиций.

Ключевые слова: А.Ф. Лосев, философия, лирика, тема, контекстуальный семантический комплекс, онтологический символ.

Огромное влияние на философию А.Ф. Лосева оказало учение Владимира Соловьева. А.Ф. Лосев начал свою научную деятельность в семнадцать лет с осмысления трудов Соловьева и закончил ее написанием книги «Владимир Соловьев и его время».

В философии, по мнению Лосева, возможны два метода: рассудочный, аналитический метод, который, например, свойствен философии Канта, второй метод – поэтический. Много поэтических элементов можно обнаружить в философских системах Платона и Владимира Соловьева. Философский стиль, подобный кантовскому, Лосев называл мирозерцанием, а стиль, свойственный Платону и Владимиру Соловьеву, – мироощущением. На примере анализа поэзии Эсхила он показал, как поэтическое «превращает логически выведенное мирозерцание в непосредственно переживаемое, интуитивно данное мироощущение» [1. С. 783]. Часто через поэтические приемы выражалось и мироощущение самого Лосева. По примеру своего учителя Владимира Соловьева он писал не только научные исследования, но и стихи.

Сохранилась тетрадь с двадцатью его стихотворениями, написанными в 1942–1943 гг. Стихотворения, содержащиеся в этой тетради, анализировала в ряде своих работ Е.А. Тахо-Годи. В статье «Поэтический мир А.Ф. Лосева» [2. С. 648–654] она выделила определенную структуру этого сборника. Семь стихотворений условно названы «Кавказским циклом» – это стихотворения, посвященные удивительной природе Кавказа, куда в 1936 г. после тюремного заключения, лагеря и ссылки Лосев с женой Валентиной Михайловной совершили путешествие. Тринадцать стихотворений «Дачного цикла» посвящены дачному быту военной поры Лосева и его жены Валентины Михайловны (Лосевы вынуждены были снимать дачу в Подмосковье, в поселке Кратово, поскольку их дом в Москве был разрушен при бомбежке). Такое разделение, как показала Тахо-Годи, обусловлено не только сменой основной темы, но и резкими стилистическими различиями. В «Кавказском цикле» рифмовка

перекрестная, размеры: четырехстопный ямб и одно стихотворение – четырехстопный хорей, лексика: архаизмы, славянизмы, «неославянизмы», множество сложных прилагательных, а также прилагательных, передающих цветное многообразие, глаголы, выражающие динамику движения. В «Дачном цикле» рифмовка перекрестная и кольцевая, размеры: четырехстопный ямб (9 стихотворений), трехстопный ямб («Благословенна дружба»), чередование четырехстопного хоря с двустопным ямбом («Тревога»), пятистопный дактиль («Страница»), трехстопный анапест («У меня были два обручения»), сдержанная лексика.

Е.А. Тахо-Годи обозначила круг поэтов, оказавших влияние на стихи Лосева: М.Ю. Лермонтов, Тютчев, Вяч. Иванов, Зинаида Гиппиус, Ин. Анненский, Вл. Соловьев [2. С. 448–449]. Так же, как у Владимира Соловьева, стихотворное творчество Лосева многими нитями связано с его философским учением. Определенные черты лирики Лосева указывают на ее философскую направленность и имеют непосредственную связь с философскими трудами автора.

Лосев включал в свой поэтический словарь онтологическую лексику, традиционную для философского дискурса. Рассмотрим поэтическую интерпретацию тем, данных через неоднократно повторяющиеся лексемы «мир», «мироздание» (22 словоупотребления) и «вселенная» (8 словоупотреблений). Лексема «мир»¹ используется в качестве именованного объекта – мира, мироздания; а также в качестве характеристики иного объекта – «мирные стада», «мирная река» и т.п. Мирозданию Лосев дает разностороннюю лирическую характеристику. Оно сотворено Богом, Демиургом: *Взметнул миры, хмельной Теург, / Божьявленнoй истерии* («Касарское ущелье» [2. С. 505]). Мироздание одушевлено. Причем это не только образное одушевление, но признание мировой Души: *Алканья гроз страстных кинжал, / Раздравиши Душу мироздания...* («Касарское ущелье» [2. С. 505]). Когда Лосев раскрывает понятие абсолютного в философии Соловьева, он пишет о силе бытия: абсолютное «есть не бытие, но мощь бытия, бесконечная его потенция» [4. С. 190]. Эта мощь бытия явлена в мотивах и образах «кавказского цикла». Женская ипостась мироздания – «душа миров» – прославлена Лосевым в стихотворении «Казбек» и в «Очерке о музыке». Хотя на первый взгляд основные темы этих текстов различны (горная вершина – в «Казбеке» и «Мать миров» – в «Очерке о музыке»), но лирический текст и текст философский, оформленный как поэтическая проза, многими темами сходны:

«Казбек»

Вершины снежной взлет крутой,
И розоватый, и **огнистый**,
На синеве торжеств немой
Почил в **надвременности** мглистой
Рыданий хаоса дитя,
Премирных **мук** изнеможенье,
Ты, в **грезях** **нежность** обретя,

«Очерк о музыке»

Сонная и вольная, **грезящая** и светлая, вижу очи Твои,
беспокойные, силе Твоей клубящейся поклоняюсь.
Овеянная **радостями** тающими, **скорбью миров** зачатая,
пресветлая Дева, **муку миров** взрастившая, тайную свет-
лость Твою славословлю. <...>
Светлой **Безбрежности**, вечному Восторгу, Деве страст-
ной и **огненной**, пресветлому Лику Ее возмолимся. <...>

¹ «Без имени мир превратился бы в глухую бездну тьмы и хаоса, в которой никто ничего не мог бы ни различить, ни понять и в котором и не было бы *никого* и *ничего*. С именем мир и человек просветляется, осознается и получает самосознание. С именами начинается разумное и светлое понимание, взаимопонимание и исчезает слепая ночь животного самоощущения» («Вещь и имя»).

Царишь как Божие веленье.
В лазури **чистой** ало, нежно,
Под солнца звон колоколов,
В тебе **ликует** белоснежно
И всепобедно **Мать миров**
[2. С. 504].

Вижу в огне **миров** очи Твои ласковые, из **темных** судеб
и **Времени** возносится тело Твое прозрачное.
О, сожги в себе, Сила **мглистая**... <...>
Душу Твою **летающую**, бездонную, овеянность Твою
нежно-капризную, о, Ты, неуловимая, непостоянная,
тающая и **реющая** Невеста моя, тело вечности пресвет-
лое, **девочка** милая... <...>
...Вечно тающая и живая, всезнающая и всемерная, **мать**
миров и душа **Времени**, **Чистая!**
Память веков, красота существенная, милая и родная,
младенец чистоплотный, **Девочка-Царица**, Невеста-
Мать, зоркая и **высокая**... [5. С. 665–666].

При сравнении двух текстов обнаруживаются точные или контекстуально синонимичные тематические соположения:

«Казбек»	«Очерк о музыке»
вершины	высокая
взлет	Летающая, реющая
огнистый	огненный
почил	сонная
надвременность	Время
Мглистая	Мглистая, темных
рыдания	скорбь
дитя	Девочка, младенец
муки	мука
грезы	грезящая
нежность	нежно
чистая	Чистая
ликует	радости
Мать миров	Мать миров

Используя разные формы речи, но в обоих случаях с помощью художественных приемов автор излагает свое понимание Души Мира. В прозаическом тексте философского эссе, написанного в 1920 г., автор раскрыл подробно качества Матери Миров. А затем более чем через двадцать лет переложил этот текст в стихах, избрав поэтическим символом Матери Миров горную вершину во всей ее первозданной красоте. Оба эти символа связаны с духовным восхождением, с приобщением к высшей мудрости. И в лирике Владимира Соловьева горная вершина являлась символом духовного восхождения к заветному храму: *И до полуночи неробкими шагами / Все буду я идти к желанным берегам, / Туда, где на горе, под новыми звездами, / Весь пламенеющий победными огнями, / Меня дождется мой заветный храм* («В тумане утреннем неверными шагами...») [6. С. 72], см. также стихотворение «Был труден долгий путь. Хоть восхищала взоры...» [6. С. 85]).

Темы стихотворения Лосева «Казбек» перекликаются с темами еще одного стихотворения, раскрывающего тему софийности, стихотворения «Страница». В нем автор дает портрет женщины, посвятившей себя духовной жизни, принесшей ради этого в жертву плотскую красоту, мирские нужды. Это делает обычную женщину воплощением Души Мира: *Верная ты и единая, мать благодатная, / Ты и невеста моя и дочурка любимая*. «Страница», в свою очередь, имеет свои прозаические аналоги. Это, кроме упомянутого фрагмента «Очерка о музыке», еще и фрагмент «Диалектики мифа», в кото-

ром Лосев оппонирует Розанову в его понимании философии женской природы¹. При сравнении параллельных тем стихотворения и прозы мы видим почти дословное совпадение портретного описания:

«Страница»

*О, родная ты...
Подвиг суровый в пустыне веков твои странствия.
Ношу видений своих берегла ты нетронуто
О, бедная ты и несмелая, незащищенная!
Тельце твое исхудало, родная, истаяло.
Сердцу не в мочь бремена. Твоя грудька измучилась.
Скорбная, хрупкая, с телом худым и истонченным.
Очи, родная, твои узнаю, истомленные...*

«Диалектика мифа» [7. С. 78]

«милое, родное, вечное»
«кающаяся подвижница»
«чудные и дивные знания»
«сухие и несмелые косточки»
«исхудалое и тонкое тело»
«впалая грудь»
«слабое и хрупкое тело»
«усталые глаза»

Образ Матери Миров парадигматически раскрыт в стихотворениях «Казбек», «Страница» и в прозаических фрагментах «Диалектики мира», «Очерка о музыке» совершенно в духе соловьевского учения о Вечной Женственности, «которая одинаково представлена и как небесная лазурь, и как лик любимой женщины одновременно» [4. С. 209]. Стихотворение «Страница» отсылает нас и к стихотворениям Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (*Бедный друг, истомил тебя путь, / Темен взор, и венки твой измят. / Ты войди же ко мне отдохнуть. / Потускнел, догорая, закат...* [6. С. 79]) и «На смерть Я.П. Полонского» (*Света бледно-нежного / Догоревший луч, / Ветра вздох прибрежного, / Край далеких туч... / Подвиг сердца женского, / Тень мужского зла, / Солнца блеск вселенского / И земная мгла...* [6. С. 132]).

В поэтических текстах Лосева мирозданию свойственны такие качества, как холод, стужа, снежность: *И леденящий мира глад...* («Койшаурская долина» [2. С. 501]); *Здесь снеговерхий бурелом / И лед премирного заклатья* («У снегов Эльбруса» [2. С. 507]); *Льдом тревоги сине-злых / Миров раздранность* («Тревога» [2. С. 514]). Семантика холода отражает представление о статичном, вечном, чистом мире. В философских работах понятие «холод» имеет концептуальное значение. По определению автора, диалектика как «логическое конструирование» жизни имеет «холодное», т.е. абстрактное, отношение к этой жизни [8. С. 68–69]. Водной стихии Лосев дал поэтическую характеристику: «Там холод и покой. Там вечно спится и не трепещет никакой страстью вечная успокоенность бытия...» [8. С. 295]. Еще ближе к описанию мира в стихах та характеристика, которой наделена воздушная стихия: «Изменой и тоской непостоянства окутывает он; сама с собой играющая вечность, холодно-прекрасная красота стихийного безразличия» [8. С. 296].

¹ «Он не был в строгих женских монастырях и не простаивал ночей в Великом Посту за богослужением, не слышал покаянного хора девственниц, не видел слез умиления, телесного и душевного содрогания кающейся подвижницы во время молитвы, не встречал в храме, после многих часов ночного молитвенного подвига, восходящее солнце и не ощутил чудных и дивных знаний, которые дает многодневное неядение и сухоядение, не узнал милого, родного, вечного в этом исхудалом и тонком теле, в этих сухих и несмелых косточках, не почувствовал близкого, светлого, чистого, родного-родного, простого, глубокого, ясного, вселенского, умного, подвижнического, благоуханного, наивного, материнского – в этой впалой груди, в усталых глазах, в слабом и хрупком теле, в черном и длинном одеянии, которое уже одно, само по себе, вливает в оглушенную и оцепеневшую душу умиление и утешение...» [7. С. 78].

В «Очерках античного символизма и мифологии» повторяется образ воздуха-Вечности, наделенной «холодно-прекрасной» красотой стихии [9. С. 125]. Там же дана цитата из Шеллинга, в которой использован образ: поэт «холоден и нечувственен при своем объекте, как сама природа» [9. С. 23]. Похожие характеристики свойственны восприятию тела в античном мироощущении¹. Лосев определяет понятие вечности эпитетом «холодная» [9. С. 755], все идеальное также «холодно» [9. С. 811, 868]. О «холодных интуициях бытия» он говорит в работе «Самое Само» [10. С. 407]. В «Философском комментарии к драмам Рихарда Вагнера» эпитетом «вечно холодная» наделяется понятие Бездны, идущее в комплексе с понятиями «жизнь», «мир», «Судьба» [11. С. 683]. Космическому бытию свойственны качества: «холодные и черные» «безумные и ни с чем не сравнимые пространства и времена», «безумные, потому что познаваемые едва-едва» («Эстетика Возрождения. Разложение эстетики Ренессанса» [12. С. 561]).

С семантикой холода связана семантика голубого и синего цветов. Синий и голубой для Лосева так же важны, как и для Соловьева, в стихах которого неоднократно встречаются синие и голубые туманы, волны, море, горы. В «Дополнениях к “Диалектике мифа”» Лосев характеризует синий цвет, признавая за ним способность появляться при падении света на материю, когда свет уходит вглубь телесности, пропадает в туманности, в пустоте². Отголоски этого поэтического фрагмента философской работы, в котором дано пространственное описание холодной энергии бытия, отзвучит эхом в стихотворениях, посвященных горным перевалам, тому пространству, где особенно остро ощущается близость бездны:

В синь зарыться хочет ум,
В синеве безбрежной скрыться.
В голубых хрусталях дум
Сердце ищет отрезвиться.
Здесь распалось бытие,
Даль разымчивая зрится:
Тело Вечности сине
Если в даль от Света мчится.
«Зекарский перевал» [2. С. 503].

Ум льдиной стал, душа немеет,
И дух кристаллился до дна,
И тонкий хлад беззвучно реет,
И тишина, и тишина...
Клухорский перевал» [2. С. 502].

Знак явления высшей энергии в «сине-голубых безднах» («Зекарский перевал») отразился в целом ряде других стихотворений, в образах: «немая синева торжеств» («Казбек»), «немая синь жил», «злобно-синяя тьма», «синее зиянье» («У снегов Эльбруса»), «синяя мгла» («Зимняя дача в Кратове»), «сине-злые миры» («Тревога»).

¹ «На темном фоне, в результате игры и борьбы света и тени, вырастает бесцветное, безглазое, холодное, мраморное и божественно-прекрасное, гордое и величавое тело – статуя. И мир есть такая статуя, и божества суть такие статуи. <...> Разумеется, античность и холоднее и неподвижнее нового западного мироощущения. В этом неумолимая диалектика: в экстазах плоти и в ее безраздельном господстве всегда есть нечто холодное и отвлеченное... <...> Под ней кроется своя ожигающая мгла и экстаз, свое оргийно рождающее лоно, свое безумие и преодоление тела» [9. С. 68–69].

² «Таков именно голубой или синий цвет. В синем цвете есть уходящая и уводящая вдаль энергия, но это – холодная энергия; она ничего не дает реального и сама теряется в пустоте, в глубинах пустоты» [13. С. 506].

В стихотворениях мир предстает погруженным в сон: *Застыл пучинный вихрь миров, / Одетый в схиму усыпления, / Приявший сумеречный зов / Седых вериг самозабвения. / Развалин мира вечный сон / И усыпленная прозрачность...* «Клухорский перевал»; *Задушенных вселенных сон / И трудный сон уединений* («Постник» [2. С. 511]). В работе «Самое Само» Лосев связывает состояние сна с процессом сотворения мира, ссылаясь на учение Упанишад [10. С. 359]. В ведантическом индуизме «мышление толкуется как волшебная погруженность в сон», как «путь к Бrame» [10. С. 85].

Семантика сна поддерживает представление о статичном состоянии. Состояние покоя – наиболее соответствующее миру: *И пропастей безмолвны зовы. / И в талом озере покой...* «Клухорский перевал». *Над темно-бронзовую мглою / Манит твой сумрачный покой / <...> / О, здесь торжественный покой / Всемирственного благородства...* «У снегов Эльбруса» [2. С. 505]. Такой же тематический комплекс, выстраивающий образ вселенной, созданной из хаоса, пребывающей в сонном состоянии, в снежном покое мы обнаруживаем у Владимира Соловьева в стихотворении «На Сайме зимой»: *Вся ты закуталась шубой пушистой, / В сне безмятежном, затихнув, лежишь. / Веет не смертью здесь воздух лучистый, Эта прозрачная, белая тишь. // <...> // Ты непорочна, как снег за горами, / Ты многодумна, как зимняя ночь, / Вся ты в лучах, как полярное пламя, / – Темного хаоса светлая дочь!* [6. С. 107]. Лосев анализирует это стихотворение в своей книге о Соловьеве [4. С. 487, 570].

Лосев разграничивал Сущее и Иное, относя категорию покоя к Сущему, а Иное определяя как непокой [8. С. 116]. Но «сущее есть также и движение» [8. С. 117], поскольку оно постоянно изменяется под влиянием окружающего подвижного иного. Если в стихотворениях мы видим движение, то оно связано с процессом становления: *Полн тревоги старой лад / Миров растущих.* «Тревога» [2. С. 514]. Движение мира вызывает тревогу, а тревога создает движение в мире: *Тревогой вечно движем мир, / Гадает жизнь слепыми снами...* «Тревог предвечных шум и стон...» [2. С. 515].

В контекстуальном окружении тем «мир», «мироздание», «пространство» мы обнаруживаем лексику семантического поля «органы чувств». Зрение: *В туманах зол **страстные очи** / И леденящий мира глад / В грехах седой вселенской Ночи / Являют зрящей грезе лик / Верховных таинств мироздания: / Сего **рушенья зрак велик*** («Койшаурская долина» [2. С. 501]); *Страстных видений тайный шум / И сказку юных сновидений / Простосердечно, наобум / Ты вьешь в ажуре умозрений. / <...> / Но и в премирности ночей / Твой лик мерцал **улыбкой зрящей**...* («Страстных видений тайный шум...» [2. С. 518]); *О, отри слезу в очах, / Зелень, Синь и Алость мира!* («Зекарский перевал» [2. С. 503]); *Гудит пустая **муть очей** / Коричнево-глубинной дали; Очей тут мнится муть и хлад, / Оргийно издавна сверкавший, – / Горгоны иступленный взгляд...; Немотно-зlobствующий срыв / Юно-весенне-зрящей боли...; И – только **хладное серебро** / **Очам испуганным открыто**; Мрачатся бурями во мгле / При вьюге очи истукана...* («У снегов Эльбруса» [2. С. 506–509]); ***Снегов пустующие очи**...* («Зимняя дача в Кратове» [2. С. 510]). Слух: *Прильнувши страстно-вещим ухом / Артерий мира чуют звон, / Рыданье мира чуют духом* «Постник» [2. С. 511].

Мир сотворен для познания, для восприятия его субъектом. В философии Лосева значимы понятия «умно-видящий глаз»¹ и «умное видение»², объединяющие представления о процессе физического познания и умственного самопознания. Зрящее пространство в поэзии – это явление бытия, в себе самом содержащего абсолютную истину. В античных статуях Лосев подчеркивал безглазость [9. С. 68]. Но подчеркивал, что отсутствие глаз, по сути, является признаком всевидения³. Муть, хлад, мрачение, пустота очей, свойственные пространству, не дают возможности постичь идеальную истину бытия непосредственно, но только через «умное видение». Однако Лосев не останавливается на этом, и уже все органы чувств делает символами умственного познания⁴.

В стихотворениях описанию мироздания сопутствует множество оппозиций, объединенных в комплекс. Это явление можно наблюдать на разных структурных уровнях. У Владимира Соловьева есть стихотворение «Я был велик. Толпа земная...», в котором первая строфа – ситуация «лирический субъект на вершине горы», вторая строфа – ситуация «лирический субъект в долине»: *Я был велик. Толпа земная / Кишела где-то там в пыли, / Один я наверху стоял, / Был с Богом неба и земли. // И где же горные вершины? / Где лучезарный свет и гром? / Лежу я здесь, на дне долины, / В томленьи скорбном и немом* [6. С. 87]. Также на уровне структуры целого стихотворения мы видим пример контрастной композиции в стихотворении Лосева «Койшаурская долина» [2. С. 501]. Два смысловых блока оппозиционны друг к другу. Первый блок – описание гор, представляющих космогонию идеального вечного бытия, дерзнувшего к земному воплощению. Смысловой слом происходит после двенадцатой строки. С тринадцатого до двадцатого стиха – второй блок – описание наполненной жизнью равнины. Горы и равнина противоположны:

1-й блок 'Горы'

Грехопаденья **злой набат**,
 В туманах **зол** страстные очи
 И **леденящий** мира глад
 В грехах седой вселенской Ночи
 Являют зрящей грезе лик
 Верховных таинств мироздания:
 Сего **рушенья** зрак велик
 И солнцезрачен **огнь рыданья**;
 Сих **злоб** полетных **дыба круч**
Взвихрит истомно **глубь** свидений;
Громоразрывен и могуч
 Сей **омрак** горних риновений.

2-й блок 'Равнина'

Но лава понятийных бед
 Зеленой **тишью** зацветает,
 И **водопадных** слав завет
 Рекою **мирной** серебро тает.
 Пасутся **мирные** стада
 В долине **тихой, благодатной**,
 И **мягко** стелятся года
Счастливой жизни, беззакатной.

¹ «Поэтому необходимо предположить, что от зримой вещи несутся умные потоки и лучи, приносящие с собою умный зрак вещи умно-видящему глазу» [8. С. 295].

² «Ум дан сам себе непосредственно: он видит себя так, как мы видим своими живыми глазами реальную вещь. Это есть зрение, созерцание, видение, точнее, увиденность, узренность, самопрозрачность. <...> ...В сумме мы обязаны говорить об умном видении, – единственно допустимой форме проявления интеллигенции. Ум видит, но он видит изнутри все смысловые связи, из которых он сам состоит» [13. С. 399].

³ «...Я осязаю здесь умом некую статую, – может быть, безглазую, которая смотрит не глазами, но всем своим существом, как бы всеглазую...» [14. С. 599].

⁴ «...Существуют не только физические глаза, уши, осязание и т.д., но и чисто умные. Ум – так же выразителен, как и восприятия, и даже бесконечно более выразителен, чем восприятия. Существует умное зрение, умный слух, умное обоняние, умное осязание» [13. С. 508].

Так идеальное вечное бытие через катаклизмы первотворения переходит в бытие теплой земной жизни. Эта жизнь обозначена с помощью традиционного идиллического комплекса: 'зеленая тишь – мирная река – мирные стада – тихие долины – счастливая жизнь'. Последние восемь строк стихотворения – третий смысловой блок – рассуждение о бытийном круговороте в форме вопросительных конструкций:

Ты спросишь, тайно осяян,
Зовомый гулом откровений,
Под Млетским спуском обуян
Бытийных заревом томлений:
Не заново ль вся красота,
Горений девственных первина?
Не заново ль твоя мечта,
О, Кайшаурская долина?

Стихотворение выстроено по классической модели: «тезис – антитезис – синтез». Рассуждение, содержащее вопросительные конструкции, стало обобщающим компонентом, подводящим читателя к выводу о диалектике мирового бытия.

Нередко в стихотворениях Лосева противоположности или взаимоисключающие понятия сливаются в одном мотиве: 'вихрь миров застыл', 'зовы пропастей безмолвны' («Клухорский перевал» [2. С. 502]), 'алеет синева' («Зекарский перевал» [2. С. 503]); в описании одного явления: *О трудных снов и бунт, и дурь, / И пыл, и скука, и тревога* («Терек в Дарьяле» [2. С. 504]), «растущие пропасти и бездны», *И страсть, и хлад, и тошнота, / И взрыв, и ник, и иступление...*, бури «светло-темные», ключья «тускло-буйные» («У снегов Эльбруса» [2. С. 505]); в одном образе: 'Дарьял → риза Бога в хмельном раздранье' («Терек в Дарьяле» [2. С. 504]), 'хребет гор → некто одет в недвижность судорог' («У снегов Эльбруса» [2. С. 506]). Ранее в философских работах Лосев, указывая на отличие диалектики от логики и от других наук, отмечал то, что диалектика располагает «законом совпадения противоположностей»¹. Развитие бытия одновременно дифференцируется и интегрируется, в реальной жизни разума и бытия постоянно происходит различение и отождествление («Самое Само» [10. С. 408]). Сущностное свойство вещи, отражающее закон совпадения противоположностей, наделяется значением символа: «отождествление различий, или совпадение противоположностей, есть символ» [10. С. 347]. Смысл вещи Лосев трактует через понятие «единораздельности», когда тождество не становится абсолютным единством, но всегда сохраняется и какая-то различность [10. С. 490].

Понятие «вселенная» относится к тому же семантическому полю, что и «мироздание», и сохраняет весь комплекс контекстуальных значений. Холод и покой связаны с семантикой смерти, что подтверждается прямым контекстом: *Стезя над бледностью морен / Зовет на этот склеп вселенной. / Шагаю по снегу, и – тлен / Впиваю смерти сокровенной* («Клухорский перевал» [2. С. 502]); *Седых хребтов немой кортеж / Бездумно-сребренные льдины. /*

¹ «...В цельном лике мы находим слияние противоречивых признаков, органически претворенных в жизненно-бытийственный организм вещи» [8. С. 69].

Здесь траур мировых держав, / Вселенских пасмурность курганов... («У снегов Эльбруса» [2. С. 506–507]). Но смерть не имеет отрицательных коннотаций, она не является абсолютным злом. Смерть – это выход в вечность, она – венец аскетического служения, отсюда смерть – ‘сокровенная’, усыпление – ‘схима’, самозабвение – ‘вериги’, а сон вселенных – ‘духовный пост’: *Но здесь, в пустыне, глад и стон, / Духовный пост изнеможений, / Задушенных вселенных сон...* «Постник» ([2. С. 511]). И в философских работах Лосев отождествлял смерть и некое идеальное пространство¹.

«Вселенское» представлено через концептуальные образы и мотивы: ‘вселенная → плоть в язвах’, ‘глыбы космоса → висит распятие’ («Терек в Дарьяле» [2. С. 504]), ‘дух распят на древе мира’, ‘мир → древо (креста)’ («Тревог предвечных шум и стон...» [2. С. 515]). Эти образы и мотивы имплицитно указывают на тему Христа. Связь между вселенной и Христом двойственна. Христос – это облик Бога, вошедшего в тварную природу. В монографии «Владимир Соловьев и его время» Лосев так характеризовал сущность вселенной: «...вселенная не есть просто хаотическая, никак не оформленная материя, пассивно принимающая свой законченный облик, но именно этот облик, законченный в результате воздействия божественных энергий на пустоту и бесформенность» [4. С. 211]. С другой стороны, проводится параллель между миром космоса и жертвенной, страдающей плотью Христа в момент, когда эта плоть вбирает весь грех мира и находится в разрыве с Богом Отцом. В работах «Музыка как предмет логики» и «Очерк о музыке» Лосев дал поэтические определения механизму материального мира. И в этом определении он раскрыл смысл темы распятия в связи с темой мира². Так же, как хаотичный космос, распята душа человеческая между миром и Богом³.

Мы видим, что Лосев воплощает свое учение в двух взаимно дополняющих формах речи, оформляя поэзию как философские тексты, а философские тексты – как художественные. Повторяющиеся тематические комплексы в лирике отражают магистральные направления философской теории. Окружающие темы являются онтологическими символами, раскрывающими разносторонние философские характеристики, свойственные центральным темам «вселенная», «мир», «мироздание». Такой онтологический символизм выражен не только через определенные лексемы, но и через прием сталкивания противоположных или взаимоисключающих значений в композиционных и тематических оппозициях. Тематические, мотивные, образные парал-

¹ «Точность и определенность понятия есть послушание смерти и пространству с его абсолютным нулем» [14. С. 471]. См. также: [7. С. 124–125].

² «Мир, растерзанный и распятый, разбитый на куски; всеобщая и абсолютная раздельность одного предмета от другого, когда А только А и ничего больше; полная покинутость каждого А и вечное его одиночество; отсутствие каких бы то ни было родственных связей, вечная вражда и разъединение...» [14. С. 438–439], см. также: [14. С. 451, 474]; о «Пятой симфонии» Бетховена: «К стали и гнетущей силе обычных в первой части ударов присоединяется здесь тоска страшнейших размеров о распятом мире. Раззятая на части вселенная висит на кресте. Не к кому молиться и вздыхать. Скорбный взор пронзает вселенную насквозь и созерцает недвижно ее светлое тело, помраченное муками распятия» [14. С. 660–661].

³ «Еще остается кроме этого сурово-объективного, холодно-безличного мира Судьбы мир личности человеческой. И она ведь трагически распята, ведь и в ней те же Законы Воли-Хаоскосмоса» [14. С. 659], см. также: [14. С. 479].

лели между поэзией Лосева и его философскими текстами не только показывают их единство в рамках творческой системы автора, но являются еще одним свидетельством неразрывной генетической связи русской философии с миром поэзии.

Литература

1. Лосев А.Ф. О мироощущении Эсхила // Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность. М., 1994. С. 781–880.
2. Лосев Л.Ф. «Я сослан в XX век...»: в 2 т. Т. 2. М.: Время, 2002. С. 648–654.
3. Тахо-Годи Е.А. «Зелень рая на земле...» (Поэтический мир Алексея Федоровича Лосева) // Новый журнал: Нью-Йорк. 1995. № 196. С. 291–299.
4. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время М.: Молодая гвардия, 2009. 617 с.
5. Лосев А.Ф. Очерк о музыке // Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995. С. 837–666.
6. Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л.: Сов. писатель, 1974. 351 с.
7. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность. М., 1994. С. 6–216.
8. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. М., 1993. С. 61–612.
9. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. 959 с.
10. Лосев А.Ф. Самое Само // Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность. М., 1994. С. 299–526.
11. Лосев А.Ф. Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера // Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995. С. 667–732.
12. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Разложение эстетики Ренессанса // Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. 750 с.
13. Лосев А.Ф. Фрагменты дополнений к “Диалектике мифа” // Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. М., 1999. С. 377–514.
14. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А.Ф. Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера // Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995. С. 405–602.

THEMES “UNIVERSE” AND “WORLD” IN THE POETRY AND PHILOSOPHY OF ALEKSEI FEDOROVICH LOSEV

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 157–167. DOI: 10.17223/19986645/42/12

Alla V. Radionova, Smolensk State University (Smolensk, Russian Federation). E-mail: al-larad1@rambler.ru

Keywords: A.F. Losev, philosophy, lyrics, theme, contextual semantic complex, ontological symbol.

Aleksei Fedorovich Losev often expressed his worldview in poetic techniques. A notebook was preserved with twenty of his poems (1942–1943). These poems have ontological vocabulary of the traditional philosophical discourse, including words “world” and “universe”.

The universe is created by the Demiurge and is animate. Losev glorifies the feminine principle of the universe – “the Soul of the Worlds” – in his poems and philosophical prose.

In Losev’s poetic texts the universe has such inherent qualities as cold, snow. The semantics of cold reflects the idea of a static, eternal, pure world. “Cold” has a conceptual meaning, determining a kind of an ideal, original space, a cosmic being, eternity. Cold and calm are associated with the semantics of death. But death has no negative connotations; it is not an absolute evil. Death is a way to eternity, the crown of ascetic life. Losev identifies death and some ideal space.

The description of the universe is accompanied by a lot of oppositions combined in a complex. Often, mutually exclusive concepts merge into one motive, image. Thus the concept of being is shown that is both differentiated and integrated. In the real life of mind and existence there is constant discernment and identification. An essential property of things that reflects the law of the coincidence of opposites is given the value of a symbol.

In the poems the world is presented as immersed in a dream. The universe is created out of chaos, it is in a sleepy state, in the snowy calm. If there is movement, it is associated with the process of for-

mation. Movement of the world is alarming, and, reversely, anxiety creates movement in the world. Anxiety is not just an emotion, but the ontological symbol of creation.

The contextual environment of the themes “world”, “universe” and “space” has words of the semantic field “senses”. The world was created to be cognized and perceived by the subject. The terms “smart-seeing eye” and “smart vision” combine processes of physical cognition and mental self-discovery. Seeing space in poetry is a phenomenon of existence, containing the absolute truth in itself. All the senses are the symbols of mental experience: “smart smell”, “smart touch”.

Losev interprets “universal” through conceptual images and motifs associated with the theme of crucifixion, implicitly pointing to Christ. Christ is the image of God in the creaturely nature. On the other hand, there is a parallel between the world of space and the sacrificial, suffering flesh of Christ at the moment when this flesh absorbs all the sin of the world and is in the rupture with God the Father.

Losev verbalizes his teaching in two mutually complementary forms: prose and poetry. Thematic, motivic, and figurative parallels between Losev’s poetry and his philosophical texts not only show their unity within the creative system of the author, but are yet another Testament to the inextricable genetic relationship of Russian philosophy with the world of poetry.

References

1. Losev, A.F. (1994) O mirooshchushchenii Eshkila [On the outlook of Aeschylus]. In: Losev, A.F. *Mif – Chislo – Sushchnost’* [Myth – Number – Essence]. Moscow: Mysl’.
2. Losev, A.F. (2002) “Ya soslan v XX vek...”: V 2 t. [“I was exiled to the 20th century . . .”: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Vremya.
3. Takho-Godi, E.A. (1995) “Zelen’ raya na zemle...” (Poeticheskiy mir Aleksey Fedorovicha Loseva) [“The Green of Paradise on earth . . .” (poetic world of Aleksei Fedorovich Losev)]. *Novyy zhurnal*. 196. pp. 291–299.
4. Losev, A.F. (2009) *Vladimir Solov’ev i ego vremya* [Vladimir Soloviev and his time]. Moscow: Molodaya gvardiya.
5. Losev, A.F. (1995) Ocherk o muzyke [Essay on music]. In: Losev, A.F. *Forma – Stil’ – Vyrazhenie* [Form – Style – expression]. Moscow: Mysl’.
6. Solov’ev, V.S. (1974) *Stikhotvoreniya i shutochnye p’esy* [Poetry and comic plays]. Leningrad: Sovetskiy pisatel’.
7. Losev, A.F. (1994) Dialektika mifa [Dialectics of the myth]. In: Losev, A.F. *Mif – Chislo – Sushchnost’* [Myth – Number – Essence]. Moscow: Mysl’.
8. Losev, A.F. (1993) Antichnyy kosmos i sovremennaya nauka [Ancient Cosmos and Modern Science]. In: Losev, A.F. *Bytie – imya – kosmos* [Genesis – name – space]. Moscow: Mysl’.
9. Losev, A.F. (1993) *Ocherki antichnogo simvolizma i mifologii* [Essays on Ancient Symbolism and Mythology]. Moscow: Mysl’.
10. Losev, A.F. (1994) Samoe Samo [The very it]. In: Losev, A.F. *Mif – Chislo – Sushchnost’* [Myth – Number – Essence]. Moscow: Mysl’.
11. Losev, A.F. (1995) Filosofskiy kommentariy k dramam Rikharda Vagnera [The philosophical commentary on the dramas of Richard Wagner]. In: Losev, A.F. *Forma – Stil’ – Vyrazhenie* [Form – Style – expression]. Moscow: Mysl’.
12. Losev, A.F. (1996) Estetika Vozrozhdeniya. Razlozhenie estetiki Renessansa [Renaissance aesthetics. The decay of the Renaissance aesthetics]. In: Losev, A.F. *Mifologiya grekov i rimlyan* [The mythology of the Greeks and Romans]. Moscow: Mysl’.
13. Losev, A.F. (1999) Fragmenty dopolneniy k “Dialektike mifa” [Fragments of the additions to the Dialectics of the Myth]. In: Losev, A.F. *Lichnost’ i Absolyut* [Personality and the Absolut]. Moscow: Mysl’.
14. Losev, A.F. (1995) Muzyka kak predmet logiki [Music as a subject of logic]. In: Losev, A.F. *Forma – Stil’ – Vyrazhenie* [Form – style – expression]. Moscow: Mysl’.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 070.11

DOI: 10.17223/19986645/42/13

В.Е. Ершова

ОБРАЗ ЖИТЕЛЯ СИБИРИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ ТОМСКА И СЕВЕРСКА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВЫПУСКОВ И РАДИОСООБЩЕНИЙ)

Статья посвящена образу сибиряка и связанному с ним образу Сибири в локальном информационном потоке. Эти образы анализируются на фоне противопоставления «своих» и «чужих». Выделяются также основные автостереотипы, являющиеся составной частью данных образов. В публикации прослеживается связь между «медийным портретом» сибиряков, автостереотипами, фигурирующими в региональном медиапространстве, и формированием социокультурной идентичности жителей Сибири в целом.

Ключевые слова: *медийный образ, местные СМИ, сибиряк, Сибирь, стереотип, идентичность.*

Постановка задачи

Средства массовой информации играют важную роль в формировании социокультурной идентичности, создавая в сознании реципиентов образы жителей того или иного региона. Если в определенных случаях такие образы создаются намеренно (например, в сообщениях, которые непосредственно посвящены описанию представителей различных регионов или национальным вопросам), то в повседневном информационном потоке они почти неуловимы и нередко размыты.

Цель данного исследования – анализ проблемы формирования образа сибиряка в телерадиопространстве Томска и Северска. Предполагается, что в локальном новостном дискурсе четкий образ жителя Сибири не вырисовывается, что, на наш взгляд, является проблемой, так как этот образ играет особую роль в формировании социокультурной (в некоторых случаях и этнической) идентичности определенной группы людей, населяющих то или иное пространство.

Сибирь является объектом изучения многих научных направлений. Пристальное внимание исследователей из разных гуманитарных областей привлекают темы, фигурирующие в следующих контекстах:

– Политический контекст. Исследование Сибири в рамках этого дискурса, нередко во взаимосвязи с экономическими темами, охватывает проблемы сепаратизма и взаимоотношения Сибири и центра, Сибири и других регионов, изучается политико-экономическая жизнь региона и т.д. (см., например: [1, 2].

– Массмедийный контекст. В границах этой сферы анализируется образ Сибири в СМИ, влияние традиционных и новых медиа на его формирование и т.д. (см., например: [3].

– Контекст, охватывающий исторический, этнографический, этнологический аспекты, которые нередко связаны с культурологическим аспектом изучения Сибири. Рассматриваются вопросы полиэтничности, сохранения исторического наследия малых народов, а также проблема архаизации и проявления неотрадиционализма (см., например: [4–6]).

Перечисленные контексты (не претендуем на полный перечень – мы отметили лишь основные) имеют точки соприкосновения. Например, в границах отмеченных дискурсов изучаются проблемы культурной, научной и социально-бытовой жизни региона, глобализации и его межкультурных связей. Рассматриваются принципы построения привлекательного имиджа Сибири, мифологизации ее образа. Понятие сепаратизма анализируется как с позиции политического дискурса, так и в аспекте социально-культурных отношений. Особое место в научных дискуссиях занимают социально-психологические проблемы, связанные с региональной и этнической ментальностью, формированием идентичности сибиряков, их мироощущением, функционированием стереотипов о жителях Сибири.

Значимые результаты получены в ходе проведения экспериментов, экспертных опросов, интервью в этой области, причем в границах изучения не только «сибирской идентичности», автостереотипов и гетеростереотипов о сибиряках, но и ценностных ориентиров людей, идентифицирующих себя в качестве русских. Так, Л.И. Ермоленкина и Е.А. Костяшина провели психолингвистический эксперимент, направленный на актуализацию рефлексий этнокультурного характера. Исследователи пришли к выводу, что сейчас актуальна проблема дефицита ценностей, значимых для этнокультурной самоидентификации [7]. Вероятно, выделенная авторами проблема имеет всеобъемлющий характер, что может отражаться и на трансформации стереотипов о русских, изменении образа русского в современной культуре. Возможно, эта проблема может быть обозначена и в отношении «сибирского мироощущения». Непосредственно о сибирской идентичности см. также: [8–10].

Настоящее исследование сосредоточено на проблеме формирования образа сибиряка в телерадиoprостранстве Томска и Северска. На материале томских СМИ проводятся различные исследования, посвященные проблемам идентичности и построения образа не только Томска и его жителей, но и региона в целом. Например, было проведено исследование идентичности сибиряков на материале томских СМИ с помощью контент-анализа и интент-анализа. Его автор заключил, что «сибирская региональная идентичность в целом независимо от тональности ее проявлений в качестве главного существенного признака Сибири, отличающего ее от всех стран и регионов, позиционируется как колоссальный, но пока не востребованный потенциал развития» [11. С. 90] (см. также: [12]). З.И. Резанова, проведя исследование на материале текстов официальных сайтов администрации, национально-культурных автономий, общественно-политических организаций, социальных сетей, посвященных проблемам идентификации и презентации национально-культурных автономий Томска, выявила способы национально-культурной самоидентификации жителей Томска в системе городских институциональных дискурсов, репрезентированных в информационном пространстве Интернета [13]. В рамках медийного дискурса изучаются не только проблемы

формирования идентичности сибиряков, но и вопросы построения медиаобраза региона. Этой теме посвящена, например, монография, М.В. Терских и Е.Д. Маленовой, которые основной акцент сделали на лингвокогнитивном моделировании медийного образа Сибири [3].

Тема настоящей публикации, таким образом, находится на пересечении многих направлений. В то же время автор акцентирует внимание на образе сибиряка в новостном дискурсе местных СМИ, что вносит вклад в уже разработанные темы и вписывается в общий контекст дискуссий.

Заявленная тема актуальна, так как сегодня активно обсуждаются границы этнической и культурной идентичности сибиряков: «...этническая идентичность современного русского населения Сибири может быть охарактеризована как кризисная, поскольку отличается сложностью и противоречивостью, множественностью и многомерностью определений» [14. С. 326].

В результате этносоциологических исследований среди вариантов этнической самоидентификации появились такие, как «сибиряк» и «русский сибиряк», что свидетельствует о росте регионального самосознания, превращении топонима «сибиряк» в этноним [6. С. 316]. В связи с тем, что понятие «сибиряки» многозначно, исследователь М.А. Жигунова выделила пять основных подходов к его определению:

- все люди, живущие на территории Сибири;
- люди, родившиеся и долго живущие в Сибири;
- коренные, местные жители Сибири (аборигены);
- особый тип живущих в Сибири людей с характерными чертами (крепкие, здоровые, выносливые, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и др.);
- «смешанный этнос», «винегрет народов», сложившийся на основе русских с вкраплениями казахских, татарских, украинских и других черт [6. С. 316].

Кроме того, сибирская идентичность не является сугубо этнической категорией, но не является она и сугубо территориальной [10. С. 28]. Сибирскую идентичность можно рассматривать «в контексте формирования (пусть и в зачаточной стадии) гражданской, политической нации, основанной на все большем осознании жителями Сибирского региона общности интересов и проблем» [10. С. 28].

«Медийный портрет», описываемый в настоящей работе, охватывает все характеристики сибиряков, представленные выше, так как он является собирательным образом жителей Сибири, который включает в себя различные аспекты понятия сибиряка и сибирской идентичности.

По причине того, что «журналист, оператор, телережиссер выступают носителями определенного национально-культурного стереотипа, обусловленного спецификой региона, в котором они живут» [15. С. 88], образ сибиряка в местных СМИ приобрел специфические характеристики. Региональный медийный дискурс, с одной стороны, органично вписывается в более масштабный дискурс федеральных медиа, с другой – отражает местную специфику. Соответственно, локальные СМИ влияют на формирование социокультурной и этнической идентичности жителей определенного региона, которая, с од-

ной стороны, коррелирует с образом этих жителей, создаваемым федеральными каналами, с другой – имеет свои специфические черты.

Материал и методы исследования

Практическим материалом исследования послужили информационные и информационно-развлекательные (например, сюжеты утреннего эфира) теле- и радиосообщения томских и северских СМИ. Материал охватывает период с 9 января 2014 г. по 8 февраля 2015 г.¹ Сюда же включены поздравления, сделанные официальными лицами. В итоге было проанализировано 2 247 сообщений: 1 262 теле- и 985 радиосообщений. Не рассматривались письменные сообщения в газетах, журналах, в частности в интернет-версиях, так как в поле научного интереса входила звучащая речь. Кроме того, телевизионные и радиосообщения ближе друг к другу по жанровым признакам.

В центре внимания оказался материал, напрямую не имеющий отношения к вопросам формирования сибирской идентичности и сходным национальным вопросам, так как он отражает скрытые тенденции, связанные с мироощущением сибиряков.

Выборка материала осуществлялась следующим образом. Были проанализированы сообщения, содержащие слова с морфемой «сибир» (были исключены аббревиатуры, например учитывалось имя собственное Сибирский химический комбинат, но была исключена аббревиатура СХК, не рассматривалось также название города – Новосибирск). Таким образом, мы проанализировали 3 028 фрагментов текстов. В качестве основного метода исследования был выбран контент-анализ.

В процессе работы большое внимание уделялось тому, фигурирует ли в тексте упоминание Сибири (в центре повествования находится не человек) или сибиряка (в центре – человек). В исследовательских целях для удобства обозначим первый параметр как «Сибирь», второй – как «сибиряк». Параметр «Сибирь» рассматривается в различных аспектах и в то же время в обобщенном виде. Здесь под «Сибирью» подразумевается не только территориальный объект, экономическая зона и т.п., но также то, что имеет отношение к Сибири, характерно для нее, то, что создано или выведено в Сибири, и т.п. (например, «сибирский кедр», «сибирский отборочный этап» и т.д.). Параметр «сибиряк» характерен для текстов, в центре которых находится человек, т.е. это параметр, базирующийся на принципе антропоцентризма. В рассматриваемых текстах не всегда фигурирует упоминание именно сибиряка: в эту группу включены также «житель Сибири», «сибирская молодежь» и т.п. Кроме того, в эту категорию входит и собирательный образ, реализуемый в тексте имплицитно (например, «я удовлетворен тем, как выступила Сибирь», т.е. сибирские спортсмены). Итак, упоминания, связанные с параметром «Сибирь», встретились в 2 621 фрагменте, «сибиряк» – в 203. В 204 фрагментах упоминались как «Сибирь», так и «сибиряк». Таким образом, можно предположить, что образ Сибири имеет более явные очертания, нежели образ человека-сибиряка.

¹ Мониторинг сообщений предоставлен Информационным агентством «Время Томска».

Образ и стереотипы

Медийный образ того или иного сообщества отчасти строится на стереотипах: как на автостереотипах (выражаются в приписывании определенных стереотипных черт своей группе), так и на гетеростереотипах (стереотипы о чужой группе)¹.

Стереотипные представления о Сибири в целом сводятся к следующим темам: природно-климатические особенности Сибири; географические размеры; географическая отдаленность, в некоторых сообщениях эта тема связывается с экономической и социальной неразвитостью; противоположный предыдущему стереотип о том, что Сибирь *«способна накормить половину страны»*.

Стереотипы о сибиряке неразнообразны. В сообщениях подчеркивалась выносливость жителей Сибири, закаленность, сибиряки характеризовались как могучие люди с хорошим здоровьем. В результате анализа текстов был сделан вывод о том, что в новостном дискурсе сибиряк характеризуется как человек отзывчивый, гостеприимный, терпимый к другим людям (по какому признаку – не отмечалось). Кроме того, житель Сибири неприспособлен в бытовом плане и умеет жить в гармонии с природой (эти два стереотипа, как правило, встречались в одних и тех же контекстах).

Далее образы Сибири и сибиряка будут описываться с учетом выделенных стереотипов.

Образ Сибири и сибиряка в локальном информационном потоке

Показателем самочувствия группы может служить то, каким образом каждый ее член соотносит представления о себе и своем пространстве. Если он чувствует, что живет в гармонии с пространством, то формируется позитивная социокультурная идентичность, если в дисгармонии – негативная.

Предполагается, что образ жителя той или иной территории непосредственно связан с ее образом, образом пространства. По этой причине «медийный портрет» Сибири был воссоздан прежде чем образ сибиряка.

Пространство Сибири в новостном дискурсе имеет следующие черты. Перед зрителями и слушателями Сибирь предстает как географическое пространство: актуализируются как реальные географические характеристики,

¹ Социальный стереотип – это «стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно определенный образ, представление о социальном объекте» [16. С. 502]; в его основе находится «реальный психологический феномен генерализации, обобщения, схематизации данных своего и чужого опыта» [16. С. 502–503]. Например, этнические стереотипы играют важную роль в формировании этнического образа, так как позволяют выделить наиболее типичные и важные характеристики этноса.

Публикация посвящена именно медийному образу, а не системе стереотипов по нескольким причинам. Во-первых, выделение стереотипов – сложный процесс с методологической точки зрения, по этой причине сложно определить, что является стереотипом, а что нет. В данном случае автор, идентифицируя себя в качестве сибирячки, выделяла стереотипы интуитивно, опираясь на основные характеристики стереотипов в целом и на различные методики определения стереотипов в частности ([17–21]). Таким образом, при исследовании стереотипов частично использовался метод интроспекции. Во-вторых, в этой статье «образ» – более широкое понятие, нежели «образ», используемый в определении стереотипа. Здесь «образ» включает в себя и нестереотипные характеристики объекта. Итак, в рамках заявленной темы выделение отдельной классификации стереотипов не является важным. Однако рассматривать медийный образ той или иной группы вне стереотипов невозможно. По этой причине в публикации представлен не претендующий на полноту список стереотипов, которые встретились в массиве рассматриваемых текстов.

так и образные, субъективные (например, *просторы Сибири, на огромных пространствах Сибири*). В текстах этой категории акцентируется внимание и на географической отдаленности, которая иногда связывается с экономической и социальной неразвитостью (*техническую отсталость сибирской глухомани*). Кроме того, в сообщениях очерчивается и экономическое пространство Сибири в целом. В текстах отмечается и агропромышленный потенциал Сибири, связанный со стереотипом о том, что она *способна накормить половину страны* («Вести-Томск. События недели», «Вести 24»). Необходимо отметить, что иногда в сообщениях затрагивается вопрос об экономической, социальной отсталости региона (*оживить экономику Сибири*). Стоит подчеркнуть, однако, что «чужой», по отношению к которому Сибирь является «отсталой» или «неразвитой», не эксплицируется. Особое место в новостной картине занимает природно-климатическое пространство Сибири (*сибирские морозы*), в частности, в текстах упоминаются природные ресурсы и богатства Сибири. В рассматриваемых сообщениях, однако, образ суровой природы не гипертрофируется. Отдельно можно выделить пространство науки, новых идей, инноваций. Вероятно, проявление этой характеристики на фоне иных черт исследуемого объекта связано с тем, что Томск является одним из крупнейших научно-образовательных центров страны. Сибирь описывается журналистами также в качестве культурного пространства. Этот образ, однако, однобокий: в текстах на эту тему не раскрывается идея сосуществования или, наоборот, столкновения культур, не описывается «своя» и «иная» культура. Таким образом, это пространство нельзя назвать мультикультурным. В целом пространство Сибири не характеризуется как экзотическое, «особая» жизнь в Сибири не противопоставляется «нормальной» жизни за ее пределами.

В местном информационном потоке вырисовываются некоторые сферы жизни сибиряка: экономическая, культурная, научная, а также особенности жизни в определенных природно-климатических условиях. Проявляются психологические и физиологические черты сибиряка. В рассматриваемых текстах актуализируется стереотип о физических качествах сибиряка: крепкое здоровье, выносливость, закаленность, могучесть. Стереотипы, связанные с психологией сибиряка, а также с социальным поведением, затрагивают темы терпимости, гостеприимства, отзывчивости. В текстах подчеркиваются неприхотливость сибиряков и умение жить в гармонии с природой (*жители Сибири лучше многих умеют получать удовольствие от холодного времени года*, «Вести-Сибирь», «Россия 1», 15 янв.2014). В информационном потоке, однако, не высвечиваются характеристики сибиряка, которые отражали бы гендерные различия. Не встречаются упоминания, имеющие отношение к внешнему облику сибиряка. Не прослеживаются также темы об интеллекте сибиряков (хотя образ Сибири включает в себя идеи инноваций, открытий), житейской смекалке, нет упоминаний и об эстетических предпочтениях сибиряков, плохо вырисовываются бытовые черты, не затрагивается отношение к труду, не встречаются темы, стереотипы, посвященные семейной сфере.

В местных СМИ сибиряк, как правило, собирательный образ. Об этом свидетельствуют собирательные имена существительные, существительные со значением совокупности (например, *молодежь Сибири, сибирское казаче-*

ство, народы Сибири и т.д.). Итак, образ сибиряка нечеткий, имеющий ограниченное количество граней.

В рассматриваемых сообщениях образы Сибири и сибиряка перекликаются нечасто. Так, существует связь только между природными и климатическими особенностями Сибири и психофизиологическими качествами сибиряков (*жители Сибири лучше многих умеют получать удовольствие от холодного времени года*). Например, не встречаются параллели между стереотипами о пространственных характеристиках Сибири и стереотипами о психологических и социальных чертах ее жителей (например, широта души, стремление быть свободным и т.п.).

«Свои» и «чужие» как основа построения медийного образа

Образ группы, на основе которого человек идентифицирует себя в качестве ее представителя, выстраивается с учетом принципа противопоставления «своих» и «чужих». Эта культурная дихотомия занимает особое место в картине мире любой группы жителей той или иной территории. Сравнение с *другим* позволяет идентифицировать себя в качестве представителя *своей* группы, другими словами, ощущение принадлежности к любой группе возникает при сравнении «своего» и «чужого». По замечанию Ю.С. Степанова, «это противопоставление, в разных видах, пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения» [22. С. 126]. Более того, образ определенной группы имеет более явные очертания на фоне образов других групп. По этой причине при проведении контент-анализа особое внимание уделялось поиску маркеров «своих – чужих». Такого рода маркеры встретились в 536 фрагментах (17,7% от общего объема упоминаний): показатели «своих» и «чужих» эксплицировались в 173 случаях, в остальных текстах (363 упоминания) выражались неявно.

Языковыми коррелятами переменной «свои», как правило, выступали личное и притяжательное местоимения «мы», «наш» в различных формах, определительные местоимения со значением совокупности (*со всей Сибири, вся Сибирь*), существительные, прилагательные, причастия со значением цельности (*сплоченность, силу сибирского характера* и т.п.) и т.д. Языковые корреляты переменной «чужой» разнообразны: личные и притяжательные местоимения третьего лица множественного числа (*они, их*), местоимение «другой», различные формы степеней сравнения прилагательных и наречий, сравнительные обороты, стилистические приемы, построенные на контрасте (*горячие финские парни – холодная Сибирь*) и т.д.

«Чужой», как правило, проявлялся в следующих параллелях: Сибирь – Россия (в частности, Сибирь – Урал), Сибирь – Украина, Сибирь – центр (Москва, Санкт-Петербург), Сибирь – Европа, Сибирь – США, сибиряки – иностранцы, сибиряки – мигранты, сибиряки – беженцы. В некоторых сообщениях «чужой» вовсе не эксплицировался, например: *результаты доклинических испытаний уже показывают преимущества сибирской разработки перед аналогами*, «Вести-Томск. Утро», «Россия 1».

Наивные представления о «своих» и «чужих» лежат и в основе стереотипов. Важным результатом анализа медиатекстов явилось то, что маркеры «своих» и «чужих» практически не проявились в контексте упоминания сте-

реотипов о Сибири и сибиряках. К таким случаям, т.е. к случаям проявления «своих» и «чужих», можно отнести лишь 31 упоминание, что составляет 1% от общего количества упоминаний.

Стереотипы, построенные на основе сопоставления «нас» и «их», затрагивали следующие темы:

– Погода и особенности климата, природные ресурсы Сибири (например: *горячие финские парни в холодную Сибирь своих элитных буренок ссылали с явной неохотой – санкции*, «Вести-Томск. События недели», «Вести 24», 17 ноября. 2014).

Географическая отдаленность (например, скрытое сравнение города и провинции в Сибири: *ретивость комитета по развитию муниципальной службы разбивается о техническую отсталость сибирской глухомани*, «Час Пик», «ТВ-2», 14 апреля. 2014). Уровень «чужого», однако, здесь иной: в этом примере «чужим» становится один из «своих»; здесь образ Сибири построен на сравнении разных точек одного пространства: центра (города) и периферии («глухомани»). Эта амбивалентность свидетельствует о сращении «продвинутой», «современной» Сибири с чужим несибирским миром.

– Психофизиологические особенности человека, живущего в Сибири (например, сравнение с «чужим», который не конкретизируется в тексте: *жители Сибири лучше многих умеют получать удовольствие от холодного времени года*, «Вести-Сибирь», «Россия 1», 15 января. 2014).

Таким образом, тематическое разнообразие стереотипов, для которых характерно деление на «своих» и «чужих», невелико.

«Стертые» стереотипы: перспективы исследования

В ходе работы была отмечена еще одна особенность. Автостереотипы, как правило, эмоциональные, образные, оценочные, однако в рассматриваемом случае эмоционально окрашенные, выразительные стереотипы встречались достаточно редко. Хотя стереотипам и свойственна стабильность, постоянное использование одних и тех же стереотипов, без вариаций, дополнительных смысловых оттенков, в сходных синтаксических конструкциях может привести к их ригидности. Большая часть рассмотренных стереотипов использовалась в слабой связи с основной мыслью того или иного текста, без дополнительных пояснений, в качестве клише. Таким образом, можно провести параллель со стертыми метафорами: эти стереотипы, потенциал которых используется в текстах не в полной мере (например, не в целях стилистического оформления текста), частично теряют свой эмоционально-оценочный характер. Встречались упоминания другого плана: эмоционально окрашенные и образные. Так, в некоторых текстах встретилась информация с указанием на стереотипы, на их бытование в сознании зрителей и слушателей. Таким образом, здесь речь идет о мотивах, восходящих к каким-либо стереотипам. (Например, *уже давно сложился стереотип, что особенно в Сибири заниматься фермерским хозяйством могут только люди самоотверженные*, «Дежурный по городу», «Губернское ТВ», 10 декабря. 2014). Иногда эта информация сопровождалась развенчанием устоявшихся представлений о Сибири или сибиряках. В отличие от текстов с упоминаниями стереотипов о Сибири и сибиряках, тексты, содержащие отсылку к стереотипам, более эмоциональные, нередко экспрессивные, они имеют большую

прагматическую ценность, так как строятся на контрасте «стереотип – реальность» и, как правило, дополняются стилистическим обрамлением (например, такие упоминания стереотипов нередко сопровождаются стилистическими фигурами и тропами).

Такие фрагменты текстов встречались очень редко (11 упоминаний, примерно 0,5% от общего количества), поэтому не заслужили более детального рассмотрения. Данное направление представляется перспективным в ракурсе научного исследования рассматриваемого объекта.

Выводы

Рассуждения, предложенные в статье, ведут к следующим выводам.

Во-первых, образ сибиряка в информационном потоке местных СМИ проявляется не так явно, нежели образ Сибири. Более того, мотивы, связанные с образом Сибири, не всегда соотносятся с мотивами, которые имеют отношение к образу сибиряка. Упоминание стереотипов в новостном дискурсе ограничено малым количеством тем, что также не позволяет обрисовать портрет сибиряка: в отражении томских и северских медиа образ сибиряка становится нечетким и с трудом уловимым. Кроме того, образ сибиряка и Сибири в целом базируется на «стертых» (по аналогии с метафорами) стереотипах. Здесь подразумевается и шаблонная лексика, и однотипный выбор синтаксических конструкций (например, *в суровых сибирских условиях*). Отсутствие новых ассоциаций может привести к тому, что эти стереотипы перестанут восприниматься эмоционально. Противоположная тенденция была отмечена в процессе анализа фрагментов, содержащих указание на стереотипы. Из-за усиленного прагматического эффекта этих текстов, отсылающих к стереотипам, упоминания Сибири и сибиряка расцениваются нами как более эмоциональные и выразительные.

Во-вторых, в текстовых фрагментах, в которых встречаются характеристики сибиряка, практически отсутствуют показатели «свой – чужой». Эта тенденция свидетельствует не только о размывании образа сибиряка, «затирании» стереотипных представлений о нем, но отчасти и об утрате уникальности и неповторимости жителя Сибири в зеркале местных СМИ, что, на наш взгляд, негативно влияет на формирование социокультурной идентичности. Иными словами, теряется представление о группе, с которой сибиряк может себя идентифицировать, и о группах, с которыми сибиряк может себя сравнить.

Таким образом, подтверждена идея о том, что в местном информационном потоке вырисовывается нечеткий, размытый образ жителя Сибири. Вероятно, выявленная тенденция отчасти связана с этнологической и речевой культурой журналистов, в арсенале которых множество *клише*, которые нередко используются необдуманно и в отрыве от контекста. Например, работники местных СМИ не всегда используют языковой потенциал стереотипов с целью эффективного воздействия на аудиторию. Отмеченная тенденция, однако, может иметь и иные причинно-следственные связи. Например, полное или частичное исчезновение тех или иных реалий могло привести к тому, что некоторые черты сибиряка, фигурирующие в обыденной картине мира жителя Сибири, перестали восприниматься эмоционально. Кроме того, дефицит ценностей, значимых для социокультурной и этнической самоидентифика-

ции, мог стать причиной описанной нами проблемы. Таким образом, источники возникновения этого явления необходимо выявлять в рамках отдельного социологического исследования.

Итак, мы наметили взаимосвязь между медийным образом сибиряка, который отчасти базируется на автостереотипах, и социокультурной и этнической самоидентификацией жителей Сибири. Проведенное исследование подтверждает идею о том, что этот образ многоплановый и в то же время аморфный. Выше мы говорили, что восприятие такого образа сибиряками негативно влияет на формирование их социокультурной идентичности. Появление такого образа в СМИ может быть следствием того, что «сибирская идентичность» – многоплановое и сложное явление, имеющее несколько аспектов интерпретации (этническая, гражданская, региональная и т.д.) [10]. Более того, результаты нашего исследования подтверждают мысль о том, что модель «русского сибирячества» теряет свою актуальность для жителей региона [9]. Согласимся с тем, что для того, чтобы эта модель вновь стала востребованной, «наряду с экономическими и социальными программами развития региона должен возникнуть отвечающий современным реалиям вариант «сибирского мифа»» [9. С. 127].

Таким образом, рассмотрев образ сибиряка в местном информационно-новостном потоке, мы внесли вклад в более масштабное изучение «сибирской идентичности».

Литература

1. Шмат В.В. Мифы региональной политики: сибирский «сепаратизм» // Регион: экономика и социология. 2014. № 2. С. 52–66.
2. Растов Ю.Е., Щербинина Д.И. Сибирский сепаратизм: социологическая экспертиза современных проявлений. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. 168 с.
3. Терских М.В., Маленова Е.Д. Медиаобраз сибирского региона: лингвокогнитивное моделирование. Омск: ЛИТЕРА, 2015. 160 с.
4. Сибирский федеральный округ [Электронный ресурс]: Научно-исследовательская база данных «Российские модели архаизации и неотрадиционализма». URL: <http://www.neoregion.ru/sfo.html?PHPSESSID=bc5ffb0b8762006245c8da6a718a2397>
5. Демешкина Т.А. Славянский компонент в самоидентификации жителя Сибири // Русин. 2015. № 3 (41). С. 90–107.
6. Жигунова М.А. Этническая самоидентификация русского населения Западной Сибири в начале XXI века // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2008. Т. 14, № 1. С. 314–317.
7. Ермоленкина Л.И., Костяшина Е.А. Аксиологические параметры этнокультурной идентификации: опыт экспериментального исследования // Вестн.Том. гос. ун-та. 2014. № 379. С. 10–16.
8. Фельде О.В. Свои и чужие в языковом сознании сибиряков // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 3 (15). С. 59–64.
9. Дутчак Е.Е., Капустин В.В. «Русский сибиряк», или Парадоксы региональной идентификации // Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 116–129.
10. Анисимова А.А., Ечевская О.Г. «Сибиряк»: общность, национальность или «состояние души»? // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2012. № 3. С. 11–41.
11. Бочаров А.В. Методологические и эмпирические аспекты изучения региональной сибирской идентичности в информационном поле региональных СМИ // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2012. № 2(18). С. 81–91.
12. Бочаров А.В. Сибирская региональная идентичность в контексте исторического сознания (по результатам контент-анализа томских СМИ) // Вестн. РУДН. Сер. Социология. 2011. № 4. С. 93–100.

13. Резанова З.И. Дискурсивные стратегии презентации национально-культурной идентичности // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2012. № 4(8). С. 40–54.
14. Васеха М.В. Кто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность? // Вестн. российской нации. 2014. Т. 6, № 6–6. С. 316–327.
15. Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины мира и ее содержания / науч. ред. А.А. Стриженко. Барнаул: Изд-во АГТУ, 2003. С. 87–91.
16. Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М.: Норма: Инфра-М., 2010. С. 502–503.
17. Некрасова А.Е. Этнические стереотипы в медийном дискурсе: механизмы интерпретации и попытка классификации // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2009. №2. С. 141–147.
18. Бергельсон М.Б., Некрасова А.Е. Лингвистический анализ стереотипов: баланс между текстом и смыслом // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: материалы ежегодной Междунар. конф. «Диалог». Вып. 9 (16). М., 2010. С. 30–34.
19. Вилинбахова Е.Л. Модели репрезентации стереотипов в русском языке: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2011. С. 60–132.
20. Березович Е.Л. Этнические стереотипы в разных культурных кодах // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре: сб. ст. М., 2009. С. 22–31.
21. Бартмицкий Е. Базовые стереотипы и их профилирование (на материале польского языка) // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре: сб. ст. М., 2009. С. 11–21.
22. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Академ. проект, 2001. С. 126–143.

THE IMAGE OF SIBERIANS IN THE MEDIA OF TOMSK AND SEVERSK (TELEVISION AND RADIO BROADCASTS)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 4(42), 168–180. DOI: 10.17223/19986645/42/13

Valentina E. Ershova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ervalen@yandex.ru

Keywords: media image, local mass media, Siberian, Siberia, stereotype, identity.

The article studies the problem of formation of the image of a Siberian in the television and radio space of Tomsk and Seversk.

2,247 TV and radio broadcasts of the Tomsk and Seversk mass media were analyzed. The content analysis was chosen as the main method of the research.

There is described not only the “media portrait” of a Siberian, but also the image of Siberia in general. The score is that the image of Siberians in the local data flow is not as obvious as the image of Siberia is. Besides, these images are quite poorly connected with each other.

The media image of an object is based on various characteristics, including stereotypes about it. Thus, the images of Siberians and Siberia were analyzed with due account taken of autostereotypes (stereotypes about an in-group) picked out from the texts. However, in general these “portraits” included non-stereotypical characteristics of the examined objects, too.

One more result obtained from the research is connected with autostereotypes about Siberians and Siberia. Not many autostereotypes were found in the news discourse, and this factor affected their media images: in the Tomsk and Seversk mass media they are indistinct and hardly identified. Besides, these images are built on “dead” stereotypes (by analogy with dead metaphors, which are commonly used in speech). For example, clichés and sentences of the same type indicate these stereotypes.

Another aspect of the work is text search of markers of the opposition “own – alien”. This aspect of the research is connected with a statement that the image of an in-group is built with due account taken of the principle of opposition “us” and “them”. In other words, the sense of belonging to any group arises from comparison of “one’s own” and “another’s”. There are practically no linguistic indicators of the opposition “own – alien” in the texts with characteristics of Siberians. This tendency shows that the image of Siberians became unclear, and it shows partly that Siberia inhabitants lost their uniqueness and originality in the mirror of the local mass media. It is supposed that this factor has a negative influence on the formation of the sociocultural identity of inhabitants of the region. In other

words, the general idea about the in-group, with which Siberians can identify themselves, and about the out-group, with which Siberians can compare themselves, is lost.

Thus, the clear image of an inhabitant of Siberia does not appear in the local data flow. This tendency has a negative character as this image has an impact on the sociocultural identity of Siberians.

References

1. Shmat, V.V. (2014) Mify regional'noy politiki: sibirskiy "separatizm" [Myths of regional policy: Siberian "separatism"]. *Region: ekonomika i sotsiologiya*. 2. pp. 52–66.
2. Rastov, Yu.E. & Shcherbinina, D.I. (2010) *Sibirskiy separatizm: sotsiologicheskaya ekspertiza sovremennykh proyavleniy* [Siberian separatism: a sociological examination of contemporary manifestations]. Barnaul: Altai State University.
3. Terskikh, M.V. & Malenova, E.D. (2015) *Mediaobraz sibirskogo regiona: lingvokognitivnoe modelirovanie* [Media image of the Siberian region: Linguo-cognitive modeling]. Omsk: LITERA.
4. Rossiyskie modeli arkhazitsii i neotraditsionalizma. (n.d.) *Sibirskiy federal'nyy okrug* [Siberian Federal District]. [Online] Available at: <http://www.neoregion.ru/sfo.html?PHPSESSID=bc5ffb0b8762006245c8da6a718a2397>.
5. Demeshkina, T.A. (2015) Traits of the Slavic Identity in the Self-Identification of a Siberian Native. *Rusin*. 3 (41). pp. 90–107. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/41/7
6. Zhigunova, M.A. (2008) Etnicheskaya samoidentifikatsiya russkogo naseleniya Zapadnoy Sibiri v nachale XXI veka [Ethnic identity of the Russian population of Western Siberia in the early twenty-first century]. In: *Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of archeology, ethnography, anthropology of Siberia and adjacent territories]. XIV:1. pp. 314–317.
7. Ermolenkina, L.I. & Kostyashina, E.A. (2014) Axiological parameters of ethnocultural identification: experimental research data. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 379. pp. 10–16. (In Russian).
8. Fel'de, O.V. (2011) The native and the foreign in the linguistic consciousness of the Siberians. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 3 (15). pp. 59–64. (In Russian).
9. Dutchak, E.E. & Kashpur, V.V. (2013) "Russkiy sibiryak", ili Paradoksy regional'noy identifikatsii ["Russian Siberian", or Paradoxes of regional identification]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 4. pp. 116–129.
10. Anisimova, A.A. & Echevskaya, O.G. (2012) "Sibiriak": Community, Nationality, or "State of Mind"? *Laboratorium. Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy – Laboratorium. Social research journal*. 3. pp. 11–41.
11. Bocharov, A.V. (2012) Methodological and empirical aspects of studying of regional Siberian identity in information field of regional mass-media. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 2(18). pp. 81–91. (In Russian).
12. Bocharov, A.V. (2011) Siberian Regional Identity in the Context of Historical Consciousness (Content Analysis of Tomsk Regional Media). *Vestnik RUDN, seriya Sotsiologiya – Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Sociology series*. 4. pp. 93–100. (In Russian).
13. Rezanova, Z.I. (2012) Discourse strategies of presentation of national cultural identity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 4(8). pp. 40–54. (In Russian).
14. Vasekha, M.V. (2014) Kto takoy "sibiryak": chto takoe sibirskaya identichnost'? [Who is a "Siberian": what is a Siberian identity?]. *Vestnik Rossiyskoy natsii*. 6:6-6. pp. 316–327.
15. Strizhenko, A.A. (ed.) (2003) *Zarubezhnaya i rossiyskaya zhurnalistika: transformatsiya kartiny mira i ee sodержaniya* [International and Russian journalism: the transformation of world view and of its content]. Barnaul: Altai State Technical University.
16. Osipov, G.V. & Moskvichev, L.N. (eds) (2010) *Sotsiologicheskii slovar'* [Sociological Dictionary]. Moscow: Norma: Infra-M.
17. Nekrasova, A.E. (2009) Etnicheskie stereotipy v mediynom diskurse: mekhanizmy interpretatsii i popytka klassifikatsii [Ethnic stereotypes in the media discourse: the mechanisms of interpretation and a classification attempt]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya*. 2. pp. 141–147.
18. Bergel'son, M.B. & Nekrasova, A.E. (2010) [Linguistic analysis of stereotypes: the balance between text and meaning]. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii* [Computational

Linguistics and intelligent technology]. Proceedings of the annual international conference “Dialogue”. Vol. 9 (16). Moscow: RSHU. pp. 30–34. (In Russian).

19. Vilinbakhova, E.L. (2011) *Modeli reprezentatsii stereotipov v russkom yazyke* [Models of stereotypes representation in the Russian language]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.

20. Berezovich, E.L. (2009) *Etnicheskie stereotipy v raznykh kul'turnykh kodakh* [Ethnic stereotypes in different cultural codes]. In: Fyodorova, L.L. (ed.) *Stereotipy v yazyke, kommunikatsii i kul'ture* [Stereotypes in language, communication and culture]. Moscow: RSUH.

21. Bartmin'skiy, E. (2009) *Bazovye stereotipy i ikh profilirovanie (na materiale pol'skogo yazyka)* [Basic stereotypes and their profiling (based on the Polish language)]. In: Fyodorova, L.L. (ed.) *Stereotipy v yazyke, kommunikatsii i kul'ture* [Stereotypes in language, communication and culture]. Moscow: RSUH.

22. Stepanov, Yu.S. (2001) *Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury* [Constants: Dictionary of Russian culture]. 2nd ed. Moscow: Akademicheskii Proekt.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БАЛЬ Вера Юрьевна – канд. филол. наук, ст. преподаватель, кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.
E-mail: ver_bal@sibmail.com

ГОВОРУХИНА Юлия Анатольевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
E-mail: yuliya_govoruhina@list.ru

ДОЛГУШИНА Людмила Васильевна – канд. филол. наук, доцент кафедры древних языков Новосибирского государственного университета.
E-mail: l.v.dolgushina@mail.ru

ДОМОСИЛЕЦКАЯ Марина Валентиновна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований Института лингвистических исследований Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).
E-mail: marinaling@mail.ru

ЕРШОВА Валентина Евгеньевна – канд. филол. наук, ассистент кафедры телерадиожурналистики Томского государственного университета.
E-mail: ervalen@yandex.ru

КАЛИТКИНА Галина Васильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: dasty2@yandex.ru

КОВАЛЕВ Петр Александрович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской литературы XX – XXI вв. и истории зарубежной литературы Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева.
E-mail: kavalller@mail.ru

КОЗЛОВ Алексей Евгеньевич – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета.
E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru

НАУГОЛЬНЫХ Евгения Андреевна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Пермской государственной фармацевтической академии.
E-mail: Pulina_jane@mail.ru

НЕСТЕРОВА Наталья Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода Пермского политехнического университета.
E-mail: nest-nat@yandex.ru

НИКОНОВА Наталья Егоровна – д-р филол. наук, зав. кафедрой романо-германской филологии Томского государственного университета.
E-mail: nikonat2002@yandex.ru

ПОЗДЕЕВА Екатерина Владимировна – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

E-mail: epozdeeva@hse.ru

ПОПОВА Татьяна Георгиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры литературы и русского языка Северодвинского филиала Северного (Арктического) федерального университета.

E-mail: lestvic@mail.ru

РАДИОНОВА Алла Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Смоленского государственного университета.

E-mail: allarad1@rambler.ru

РОССИХИНА Мария Юрьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: rosmira@yandex.ru

СЕРЯГИНА Юлия Сергеевна – аспирант кафедры романо-германской филологии Томского государственного университета.

E-mail: seriagina@gmail.com

СУЛЯК Сергей Георгиевич – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. лаборатории междисциплинарных исследований Томского государственного университета.

E-mail: sergei_suleak@rambler.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами переписку по методике написания и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2016. № 4(42)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Каптур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 26.08.2016 г. Формат 70x100¹/₁₆.
Печ. л. 11,75; усл. печ. л. 16,45; уч.-изд. л. 16,25.
Тираж 500 экз. Заказ 2036

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru